

ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ

Философия. Культурология. Литературоведение

ВЫПУСК 15



Альманах

- **В поисках компаса**
- **Литературный фарватер**
- **Памяти живого человека**

Выпуск 15

Харьков
Издательство «Права людини»
2018

УДК 87.66я24
Н15

Оформление альманаха Л. Сигал

В оформлении обложки использована картина Ирины Сергеевны
«Противостояние».

Редколлегия благодарит доктора Ханса Оверслоота
за помощь в издании альманаха.

Н15 Вторая Навигация. Альманах / составит. М. А. Блюменкранц. — Харьков: ООО «Издательство „Права человека“», 2018. — 304 с.

ISBN 978-617-7391-40-0.

Пятнадцатый выпуск альманаха Вторая Навигация состоит из трех разделов.

Первый раздел представлен статьями, тематически связанными со столетним юбилеем революции 1917 года. В нем содержатся тексты, посвященные анализу тех далеких событий, размышления о психологии революционного сознания и последствиях революционного взрыва в дальнейших судьбах страны. Среди материалов раздела перевод с немецкого двух малоизвестных статей С.Л. Франка.

Во втором разделе собраны статьи и эссе литературоведческой и культурологической тематики.

В третьем — статьи и воспоминания о замечательных людях, внесших значительный вклад как в отечественную, так и в мировую культуру. Это тексты, посвященные памяти Г.С. Померанца, Вяч. Вс. Иванова и Витторио Страды.

Альманах предназначен как для специалистов, так и для широкого круга читателей, интересующихся проблемами истории, философии и культуры.

УДК 87.66я24

ISBN 978-617-7391-40-0.

© М.А. Блюменкранц, составление, 2018
© Л. Сигал, разработка оформления, 2018

Содержание

В поисках компаса

<u>Витторио Страда.</u> Революция продолжительностью в три четверти века	6
<u>Витторио Страда.</u> От мавзолея к музею	17
Леонид Люкс. «Последний революционный романтик»? — Лев Троцкий против Гитлера и Сталина	25
Михаил Блюменкранц. Испытание революцией. Заметки о природе массовых движений.	33
Владимир Кантор. Революция, или Безумие в облике истины.	39
Оксана Назарова. Предисловие к публикации.	62
Семен Франк. Большевизм. (Перевод Оксаны Назаровой)	64
Семен Франк. «Красная» Россия и «Святая» Русь. (Перевод Оксаны Назаровой)	70
Лешек Колаковский. Тоталитаризм, или величие лжи. (Перевод Бориса Хазанова)	76
Ханс Оверслоот. Государство отступает, возвращается семья. (Перевод Михаила Александрова)	89

Литературный фарватер

Борис Хазанов. Эрнст Юнгер	121
Владимир Порус. Тайна Клима Самгина.	147
Инга Матвеева, Игорь Евлампиев. Лев Толстой и русская революция: современный взгляд	163
Ольга Сливницкая. Всеединство как основа близости Бунина и Толстого.	186
Эмилия Обухова. «Жить как бегущая вода...».	202
Юрий Колкер. Минимы, или Письмо к философу	212

Памяти живого человека

Михаил Блюменкранц. Памяти друга	227
Адриано Дель Аста. «Жизнь прожить — не поле перейти». Воспоминания о живом человеке. (Перевод Анны Ямпольской)	230
Андрей Zubov. Витторио.	238
<u>Зинаида Миркина.</u> Жизнь под взглядом.	241
Римма Запесоцкая. Мой учитель жизни Григорий Померанц	253
Марк Харитонов. Годы с Комой Ивановым	259

Об авторах	298
----------------------	-----

Contents

In search of a compass

<u>Vittorio Strada.</u> Revolution Lasting Three Quarters of a Century . . . 6
<u>Vittorio Strada.</u> From the Mausoleum to the Museum 17
<i>Leonid Luks.</i> «Last Revolutionary Romantic?» – Leon Trotsky Against Hitler and Stalin 25
<i>Mikhail Blumenkrants.</i> Temptation of Revolution. <i>Notes on the Nature of Mass Movements</i> 33
<i>Vladimir Kantor.</i> Revolution, or Madness in the guise of truth 39
<i>Oksana Nazarova.</i> Preface to Publication 62
<i>Semyon Frank.</i> Bolshevism. (<i>Translated by Oksana Nazarova</i>) 64
<i>Semyon Frank.</i> «Red» Russia and «Holy» Ruthenia. (<i>Translated by Oksana Nazarova</i>) 70
<i>Leszek Kolakowsky.</i> Totalitarianism, or the Grandeur of lies. (<i>Translated by Boris Khazanov</i>) 76
<i>Hans Oversloot.</i> The Retreat of the State, or: Bringing the Family Back In. (<i>Translated by Mikhail Alexandrov</i>) 89

Literary fairway

<i>Boris Khasanov.</i> Ernst Junger 121
<i>Vladimir Porus.</i> The Mystery of Klim Samgin 147
<i>Inga Matveeva, Igor Evlampiev.</i> Leo Tolstoy and the Russian Revolution: Modern Look 163
<i>Olga Slivitskaya.</i> Unity as the Basis of the Closeness of Bunin and Tolstoy. 186
<i>Emilia Obukhova.</i> «To Live Like Running Water...» 202
<i>Yuri Kolker.</i> Minimas, or Letter to Philosopher 212

Remember the living person

<i>Mikhail Blumenkrants.</i> In Memory of a Friend 227
<i>Adriano Del Asta.</i> «To Live a Life is not to Cross a Field». Memories of a Living Person. (<i>Translated by Anna Yampolskaya</i>). . 230
<i>Andrey Zubov.</i> Vittorio 238
<u>Zinaida Mirkina.</u> Life under the Sight 241
<i>Rimma Zapesotskaya.</i> My Teacher of Life Grigory Pomerants . 253
<i>Mark Kharitonov.</i> Years with Coma Ivanov 259

About authors 298

В ПОИСКАХ КОМПАСА

Витторио Страда

Революция продолжительностью в три четверти века¹

*Если бы отмечаемая в наши дни годовщина относилась только к 7 ноября 2017, можно было бы говорить не о *Великой октябрьской революции*, как одно время официально именовался захват большевиками власти в Петрограде, а всего лишь об удавшемся путче, путче из ряда вон выходящем, мастерски осуществленном и беспримерном, без повторений в дальнейшем: он был не результатом заговора или авантюры, а опирался на мощную интеллектуальную доктрину — марксизм-ленинизм — и был выношен в предшествующие годы в голове гениального революционера — Ленина. И тем не менее, этот путч оказался началом подлинной революции, не имевшей себе равных по интенсивности и длительности, не идущей в сравнение даже с французской революцией, к которой октябрьская возводила свою родословную.*

Петроградский октябрьский революционный путч происходил в лоне другой российской революции — февральской, будучи одновременно и ее завершением, и ее отрицанием. Оба эти события, подорвавшие основы существующего строя, означали конец Российской империи в трагическом контексте войны, ознаменовавшей радикальный кризис европейской цивилизации. Поразительно, что военная бойня еще продолжалась, а из столицы агонизирующей царской империи был брошен такой грандиозный вызов, как объявление новой войны всему цивилизованному миру — гегемону и колонизатору всего земного шара. Это была гражданская и отчасти традиционная война, невиданная по своему универсальному предназначению.

Как могла сложиться такая исторически и политически небывалая ситуация? Ответом может быть, что она порождена встречей-столкновением двух исторических векторов, приведшей к чудовищному взрыву. Первый — русская история, история Российской империи, самой крупной в Европе, этакого мастодонта, раздавленного собственной тяжестью, империи,

¹ Доклад, прочитанный в Комиссии по иностранным делам итальянского Парламента 7 ноября 2017.

управлявшейся анахронистической, по сравнению с западным миром, властью, уже утратившей сакральную харизму, ореолом которой она была окружена в прошлом, экономически отсталой по сравнению с современно развитыми странами, и, в довершение ко всему, не готовой к войне, той, что началась в 1914 году. Вековая история этой империи, подвергнутая глубокому анализу и пониманию, объясняет, как она пришла к своему катастрофическому финалу. Недальновидное отречение последнего царя, Николая II, только ускорило крах. Другой вектор — европейского происхождения, возникший на Западе и созревший в результате длительного исторического процесса: его можно определить как революционный, достигший кульминации в великих французских событиях 1789 года и их дальнейших последствиях. Александр Пушкин, говоря о крестьянских восстаниях, крупнейшее из которых связано с именем Пугачева, метко определил русский бунт как «бессмысленный и беспощадный». Традиционная Россия знала бунты, но не революцию, которая пришла к ней с Запада, на волне французской, и в течение всего XIX века она, на свой лад, вынашивала революционную идею, приведшую к 1917 году. Не стоит забывать, что именно в России, где вышел первый перевод *Капитала*, марксовы идеи глубоко и своеобразно повлияли на прогрессивную политическую мысль.

Пересечение этих двух векторов полыхнуло петроградским взрывом, захватившим всю Российскую империю и весь мир. Это была революция, в известном смысле слившаяся с «бессмысленным» бунтом, о котором говорил Пушкин, и еще более «беспощадная», революция, замысленная и осуществленная Лениным, мастером разжигать хаос и одновременно обуздывать его, чтобы, в конце концов, установить свой железный коммунистический порядок, символически именуемый «диктатурой пролетариата», на самом же деле диктатуру партии.

Дело в том, что после завоевания абсолютной власти посредством путча 7 ноября (25-го окт.), большевики положили начало растянутому на семь десятилетий перманентному революционизированию сверху Российской империи, помимо всех предполагавшихся поначалу схем. На этой истории, более известной своими драматическими событиями, чем внутренней логикой, здесь не место останавливаться: ей посвящены, например, мои работы, последняя из которых — *Империя*

иреволуция. Для наблюдения за этим процессом мы последуем необычным путем, который приведет нас от 1917 года к нынешней ситуации: т. е. мы проследим эволюцию советской власти от национал-большевизма к империал-коммунизму.

В 1916 году, накануне краха Российской империи, в журнале внешней политики и права «Проблемы Великой России» между молодым историком Николаем Устряловым, которому суждено было стать одной из центральных фигур в политической жизни постреволюционной эмиграции, и сотрудником журнала А.М. Ладыженским возникла любопытная полемика на тему империализма. Статья Устрялова *К вопросу о русском империализме* не только восхваляла русский империализм, в ней утверждалось, что соперничество между национальными империализмами составляет естественную динамику современной истории, если судить вне всякого сентиментального идеализма. Устрялов утверждал в этом контексте, что «международная политика Великой России должна быть великодержавной политикой, политикой империализма»² в борьбе за собственное утверждение. Он считал, что взгляд на идущую войну, как «войну за европейскую свободу», «войну за попранные права малых наций», «войну против германского милитаризма» и т. д. — не что иное, как пустопорожня идеология и высокопарное фразерство, маскирующее обыкновенное столкновение милитаризмов, из которого Великая Россия должна выйти более великой и сильной.

Ладыженский, защищая либеральное понимание государства в противовес устряловской апологии государства всемогущего, стоящего над обществом и подчиняющего его себе, отвергал идею агрессивного и захватнического русского империализма: «Нам нужно не растягиваться все далее и далее, расти не в ширь, а вверх, богатеть и становиться более культурными»³.

Этот спор показывает, что уже в 1916 году Устрялов придерживался идей, которые позже вдохновили движение сменовеховцев, поименованное так по названию вышедшего в 1921 году в Праге сборника статей, иначе известного как

² Н.В. Устрялов. *К вопросу о русском империализме* в: «Проблемы Великой России», 1916, № 15, с. 3.

³ А.М. Ладыженский. *Идея Великой России и агрессивный империализм* в: «Проблемы Великой России», 1916, № 16, с. 3.

национал-большевизм. Истории этого движения посвящены монографии Михаила Агурского и Хильде Хардеман, а также Давида Брандербергера касательно советской части этого движения⁴. Мы здесь остановимся только на ядре идей Устрялова, незаурядного мыслителя и политического аналитика, наиболее важной репрезентативной фигуры сменовеховства.

Национал-большевизм Устрялова, участника «белого» сопротивления во время гражданской войны, возник из реалистического осознания того, что прежняя Россия потерпела окончательное поражение и вооруженная борьба с победившими бесполезна, если не вредна. Новую революционную власть следовало признать не за ее идеологию, отвергаемую Устряловым, а потому, что это единственная сила, способная удержать Россию от распада. Несмотря на идеологию, неизбежно обреченную на постепенную утрату своего революционного интернационалистского потенциала, советское государство, считал Устрялов, представляло собой национальную силу, которой предстояло восстановить Великую Россию и ее «великодержавную политику, политику империализма», согласно тому, что он писал в 1916 году. Не один Устрялов интерпретировал большевистскую революцию как глубоко национальное событие, вопреки провозглашавшемуся интернационализму. Еще до выхода в Праге манифеста сменовеховства, поэт Максимилиан Волошин в статье *Россия распятая* разгадал подлинный смысл случившегося: «Советская власть, утвердившись в Кремле, сразу стала государственной и строительной (...) наметились исконные пути московских царей-собирателей земли Русской, причем принципы Интернационала и воззвания к объединению пролетариата всех стран начали служить только более легкому объединению расслоившихся областей Русской империи (...) Большевики принимают от добровольцев лозунг *За единую Россию* и, в случае своей победы, поведут ее к единодержавию»⁵.

Многим казалось, что большевистская революция противоречила основополагающим принципам марксизма, поскольку в России капиталистическая экономика была слабо развитой,

⁴ М. Агурский. *Идеология национал-большевизма*. Paris, 1980; Hilde Hardeman. *Coming to Terms with the Soviet Regime*. DeKalb, 1994; David Brandenberger. *National Bolshevism*. Cambridge, 2002.

⁵ М. Волошин. *Россия распятая*. Москва, 1992, с. 75, 76 и 81.

а население в основном составляло крестьянство, и, следовательно, в отличие от крупных западноевропейских стран, отсутствовали объективные условия для перехода к социализму. На самом же деле октябрьский переворот замысливался как начало мировой революции, в первую очередь европейской, без которой, считалось, русская революция не могла бы удержаться. Понятие мировой революции имело первостепенное значение для большевистской идеологии, которая в целом являлась органичным фундаментом новой власти. Устряловский национал-большевизм недооценивал всего этого, т. к. интересовала его главным образом Великая Россия, для которой при большевиках действительно возникла возможность выживания, хотя и ценой радикальной трансформации, и при этом в новой господствующей идеологии национализму, начиная с 30-х годов, отводилось новое, хотя и подчиненное место.

Среди многочисленных большевистских высказываний о мировой революции приведем одно, очень экспрессивное, принадлежащее Сталину и относящееся к 1918 году: «С Востока свет! Запад с его империалистическими людоедами превратился в очаг тьмы и рабства. Задача состоит в том, чтобы разбить этот очаг на радость и утешение трудящихся всех стран»⁶. Но революции на Западе не произошло, несмотря на все усилия большевиков разжечь ее и военным путем, вплоть до последней провалившейся попытки в Польше (1920 год). Вместо ожидавшейся мировой революции, отодвигавшейся в непредсказуемое будущее, в одной части Запада, в качестве реакции на большевистскую революцию в России, имело место непредусмотренное марксизмом новое явление: фашизм и национал-социализм, «очаг тьмы и рабства», против которого выступил не «освободительный свет с Востока», поскольку пробужденные октябрьским переворотом надежды скоро угасли, в том числе благодаря тому, что в борьбе за наследство Ленина победил Сталин. Мировая революция остановилась в пределах царской Империи, которая, к удовольствию Устрялова, восстановилась территориально, но уже в совершенно новом обличи.

В 1920 году Ленин утверждал, что «большевиками было сделано все человечески возможное для ускорения революции в Германии и в иных странах»⁷, но уже в 1918 году, еще раз под-

⁶ И.В. Сталин. *Сочинения*. Т. 4, Москва, 1947, с. 182.

⁷ В.И. Ленин. *Полное собрание сочинений*. Т. 41, Москва, 1963, с. 21.

черкнув «необходимость вызвать международную революцию, проделать этот переход от нашей революции, как узконациональной, к мировой»⁸, заявлял: «Да, мы увидим международную мировую революцию, но пока это очень хорошая сказка, — я вполне понимаю, что детям свойственно любить красивые сказки. Но я спрашиваю: серьезному революционеру свойственно ли верить сказкам?»⁹. В критический момент мировая революция могла казаться «сказкой», но оставалась непоколебимо в перспективе советской политики и коммунистического идеологического репертуара. Еще не утихли отзвуки нашумевшей угрозы Хрущева когда-нибудь «похоронить» прогнившую капиталистическую систему, и эту миссию коммунистический лидер приписывал своей партии. Мировая революция была не «сказкой», а неустрашимым мифом коммунизма, хотя по сравнению с первоначальной формулой он поневоле радикально трансформировался, потому что, если, с одной стороны, он был существенной частью коммунистической идеологии и объектом такой организации, как Интернационал, то с другой являл собою не менее существенный момент глобальной политики советского государства, ставшей, говоря словами Устрялова, «великодержавной».

Как произошла эта трансформация? Она соответствовала ожиданиям национал-большевизма или следовала другой исторической логике, которую Устрялов, при всем своем уме, не уловил, а потому спрашивается, корректно ли пользоваться при определении этой логики термином «национал-большевизм»?

В 1923 году Ленин пишет важную статью по поводу книги Николая Суханова *Записки о революции*, в которой рассматривает марксистский аргумент меньшевизма, считавшего, что в России отсутствовали «объективные экономические предпосылки» социалистической революции. Свой полемический ответ Ленин заключает вопросом, который на деле есть политическая программа коммунистов после победы в гражданской войне и констатации, что революция на Западе или где-либо пока не предвидится, хотя она и остается по-прежнему целью в будущем. Ленин пишет: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо он

⁸ Там же, т. 36, с. 8.

⁹ Там же, с. 19.

различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, *а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы?»*¹⁰. Завоевав «революционным путем» власть в такой «отсталой» стране, как Россия, и оказавшись без поддержки других революций, коммунистическая партия должна создать парадоксальным образом объективные условия (экономические и «культурные») для возможности собственного существования, чтобы догнать «другие страны». Этот переход от «детерминистского» (меньшевистского) марксизма к марксизму «волюнтаристскому» (большевистскому) напоминает ситуацию барона Мюнхгаузена, который, оказавшись в болоте, выбрался из него, потянув себя изо всех сил за волосы. Дело, осуществить которое, и далеко не комическим способом сказочного барона, взялся Сталин, проводя преступно жестокую политику, приведшую к миллионам жертв, разрушив все то, что еще оставалось от прежней России и построив на ее месте новую империю и новую культуру.

Устрялов полагал, что советская коммунистическая власть, стабилизировавшись в плане внутренней политики и на пути стабилизации в плане политики внешней, перейдет от начальной бурной «якобинской» фазы к умеренной «термидорианской», ослабив свой революционный идеологический заряд и все более приобретая национальный, а вернее, русский имперский характер. Подтверждение этому он видел в НЭПе (Новая экономическая политика), который должен был вылиться, по его мнению, в новую общую политику в духе национал-большевизма. Но весьма распространенная в то время аналогия русской революции с французской¹¹ была иллюзорной, и сам Устрялов ограничивал ее действенность, когда реалистически отмечал, что «большевистский орден несравненно сплоченнее, дисциплинированнее, иерархичнее якобинцев. Вместе с тем, Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер»¹². Однако он

¹⁰ Там же, т. 45, с. 381.

¹¹ См. V. Strada. *Francia e Russia: analogie rivoluzionarie* in: F. Furet (a cura di), *L'eredità della rivoluzione francese*, Roma-Bari, 1989 // V. Strada. *France et Russie: analogies révolutionnaires* in: F. Furet (sous la direction de), *L'héritage de la Révolution française*, Paris, 1989.

¹² Смена вех. Praha, 1921, с. 7.

упускал из виду, что большевистская революция вся была по-своему «якобинская», обладая жестким историческим самосознанием и строгим доктринальным самоконтролем, вытекавшими из марксизма в его ленинской трактовке, чего были лишены французские революционеры, руководствовавшиеся менее догматической идеологией и сформировавшиеся в более свободной культуре. НЭП был своего рода тактическим «автотермидором», к которому «гибкий» Ленин прибегнул под давлением провала «военного коммунизма», а не началом, как думал Устрялов, «молчаливого отступления» от «Великой утопии». Вскоре начался новый, более жестокий и насильственный революционный период под руководством «азиатского» или «кавказского» якобинца — Сталина.

Революционная аналогия между Францией и Россией сменилась другими, взятыми из русской истории, и куда более обоснованными: сначала сопоставлялось ускоренное культурно-экономическое развитие России, намеченное Лениным в процитированной выше статье, с преобразованиями, тоже по-своему революционными, проведенными Петром Великим. Позднее к этому царю, которого в советской литературе и кино восхваляли как «предтечу» Ленина и Сталина, был присоединен и еще один царь — Иван Грозный, образец непоколебимого и неограниченного самодержца. В 1947 году на встрече в Кремле с режиссером фильма *Иван Грозный* Сергеем Эйзенштейном и актером Николаем Черкасовым, исполнителем роли царя, Сталин, в компании со Ждановым и Молотовым, продемонстрировал органическую преемственность между русским самодержцем и советским диктатором, и шире — между российской империей прошлого и советской империей, достигшей в то время апогея после военной победы в Отечественной войне. Устрялов ликовал бы по поводу этого кажущегося триумфа идей, с которыми он выступил в далеком 1916 году, а в дальнейшем развивал после революции, если бы не был расстрелян в 1937 году, после того как, замороженный сталинской политикой, возвратился в Москву из эмиграции. Он поплатился жизнью за свою ошибку, посчитав Сталина национал-большевиком.

Начиная с 30-х годов Сталин совершил настоящую «культурную революцию» во всех областях, от литературы до историографии, умело внеся в советскую идеологию национальный

элемент, а именно русский, но в качестве дополнительного ингредиента, предварительно просеяв его и переработав таким образом, чтобы он был совместим с господствующей революционной идеологией. Многочисленны высказывания Сталина о заслугах России и русского народа — первого среди равных относительно других национальных компонентов СССР. Сталин со своими соратниками сумел создать русско-советскую идеологическую смесь, в которой гегемония, разумеется, принадлежала интернационалистско-коммунистической идее (превращенной, по сравнению с изначальной формулой, в элемент его внешней политики), в то время как национальная русская идея, искаженная и подтасованная, оставалась подчиненной и второстепенной.

Сталинская «культурная революция» не меняла роли, которую Россия, как национальная сущность, играла внутри нового режима, роли, по существу не слишком отличной от той, которую она играла при старом режиме: Россия продолжала вносить в империю преобладающий материальный вклад в пользу менее развитых регионов, получая взамен признание морально-культурного первенства, оплаченного дорогой ценой: традиционная русская культура была лишена свободы, отрезана от тех ее частей, которые режим считал враждебными ему, отравлена марксизмом-ленинизмом, уязвлена в своей религиозной душе, обманута миражом социализма и даже лишена собственного имени, замененного акронимом СССР, с присовокуплением прилагательного «советская». И в материальном плане Россия подвергалась жесточайшим притеснениям, из которых самое главное — несомненно, уничтожение крестьянского мира с миллионами жертв. Гегемоном в СССР Сталина и его преемников была не Россия, несмотря на кажущийся национал-большевизм, а абсолютная (тоталитарная) коммунистическая власть, скорее, власть партийной верхушки. Это чудо, что благодаря стойкости русского духа, несмотря на катастрофу, русская культура сохранила свою жизнеспособность не только в эмиграции, но и в самом Советском Союзе, от чем свидетельствуют имена Пастернака, Шостаковича, Булгакова, Гроссмана, Бахтина и многих других.

Не говоря уже о титанической борьбе русского народа против нацистских захватчиков, увенчавшейся победой, погранной коммунистическим режимом.

Национал-большевиком был профессор Устрялов, но, отбросив уже исторически устарелый термин «большевизм», применительно к Сталину, фигуре, несоизмеримой с теоретиком сменовеховства, следует говорить о национал- и империал-коммунизме, особенно после победы в войне против нацизма. Сталин был не русским националистом, а коммунистом, который мог говорить и писать не иначе, как на марксистско-ленинском жаргоне, используя Россию, как по-своему делал и Ленин, для основания коммунистической и, в частности, личной власти, проводя свою преступную политику с реминисценциями от Петра Великого до Ивана Грозного. Формально Сталин продолжил царское самодержавие, заменив династию партией: в обоих случаях власть стоит над обществом, несмотря на риторику единения с народом или массами. Нельзя не признать успехов Сталина в «культурной революции»: создание того, что именуется «советской культурой», — дело его рук, как его рук дело создание советской империи. Его наследие еще живо в постсоветской России, в ее ментальности и политике. Россия несет бремя дважды имперского прошлого и как современная гражданская нация, возможно, только формируется. Перед Россией, европейской по культуре, но изолированной и советизированной ленинско-сталинской революцией, лежит непростое будущее, как не просто ее прошлое¹³.

Послекоммунистическая Россия, уже избавившаяся от потрясшей мир идеологии — смеси надежд, иллюзий и обманов, после переходного периода и упорядочения, позволившего ей переработать грандиозный опыт сталинских и послесталинских советских десятилетий, громко вернулась на международную арену. Как обновленная держава, одновременно региональная и мировая, Россия демонстрирует возрожденное стремление быть на первых ролях, в первую очередь в пограничном европейском ареале (симптоматична интервенция в Украину) и средиземноморском (ближневосточном), а также, в более широком плане, в конфронтации с американской сверхдержавой. Таким образом, Россия принимает на себя роль наследницы вековой царистской и коммунистической традиций, слившихся в определенной идеологии в унитарном взгляде на собственную историю как на единый поток. Может показаться, что это возврат к борьбе империализмов за гегемонию, о чем говорил

¹³ См.: V. Strada. *Impero e rivoluzione*. Venezia, 2017.

Устрялов. В действительности ситуация радикально изменилась: в мире глобализованном и одновременно раздробленном действующие исторические субъекты уже не ограничиваются европейскими державами, их число выросло на разных континентах, приводя к бесконечно усложнившейся, а при наличии ядерных вооружений — опасной ситуации. В новой международной игре сил Россия проявляет свое имперское призвание во взаимоотношениях с другими своего рода империями, от американской до китайской, не говоря уже, если можно так выразиться, об исламской туманности, в перспективе, сопряженной с многими рисками.

Россия со своими амбициями, возможно несоизмеримыми с ее внутренним социально-экономическим потенциалом, являясь, столетие спустя после революции, одним из первых актеров на мировой сцене, ведет непредсказуемую авантюрную политику.

От мавзолея к музею

Когда в России в 1873 г. вышел перевод *Капитала*, объявление о его издании поместили в официальном «Правительственном вестнике», и ссылки на него можно было встретить у авторов, печатавшихся в журнале Министерства внутренних дел. Это объясняется не только либеральностью атмосферы царствования Александра II, но и тем, что *Капитал* как сочинение, по мнению цензуры, «чисто научное», был «тяжел и малодоступен», и одолеть его, а тем более понять было под силу совсем немногим. Некоторые цензоры вообще считали, что эта книга могла стать теоретическим противоядием против революционного народничества, поскольку, согласно Марксу, ответственность за экономические отношения не лежит на отдельных капиталистах, и только объективное историческое развитие, а не террор против представителей власти, позволит преодолеть социальное зло. В 1880 году в журнале «Православное обозрение» публицист М. Воздвиженский заклеил немецкий социализм как врага христианства, но актуальной опасности в нем не усматривал, сравнивая ситуацию с толчками Везувия, извержение которого не должно заботить далекую Московию.

Вскоре идеи Маркса найдут себе благодатную почву именно в России и вызовут здесь тот революционный взрыв, который, как считалось, угрожал одному Западу. В этом были уверены не только тогдашние цензоры, но и представители тенденций консервативного толка, полагавшие, что коммунистическая революция нависла только над Западом, а Россию она не затронет. Впрочем, и западные революционеры были убеждены, что коммунистическая революция, как она обоснована у Маркса, вызревает там, где капитализм достиг наибольшего развития, то есть в Западной Европе, а не в такой отсталой стране, как царская империя.

История опровергла такие ожидания, а это порождает коренные вопросы, касающиеся природы теории, получившей наиболее строгое выражение в *Капитале*, и характера российской ситуации, позволившей этой теории проявить заложенные

в ней революционные потенции. На этих вопросах, составляющих тему многочисленных историко-теоретических исследований, стоит остановиться, прежде чем переходить к теме марксизма, как центрального момента советской культуры.

Банальным стало утверждать, что марксизм должен был неминуемо осуществиться только или в первую очередь на Западе. Лишь соответствующий исторический анализ позволил бы увидеть вещи во всей их сложности и объяснить неожиданное перемещение центра революции в Россию. Впрочем, именно в России идеи Маркса с самого начала были встречены с вниманием и оригинально восприняты, одновременно критически и положительно, что поставило самого Маркса и Энгельса перед проблемами, затрагивавшими центральные моменты их теории. Поэтому следует отбросить упрощенческий тезис, разделяемый нынешними русскими «патриотами», согласно которому чистая и непорочная Россия была развращена и загублена растленным и коварным Западом и, в частности, марксизмом, который-де был ей совершенно чужд.

Не менее примитивно, чем русские «патриоты», горой вставшие на защиту мифа об исконной непорочности России, рассуждают те, кто, желая снять с Маркса ответственность за катастрофический исход российского революционного эксперимента, противопоставляют изначально подлинный марксизм искаженному марксизму Ленина и, главным образом, Сталина. Собственно, мы имеем дело с попыткой опрокинуть претензию ленинско-сталинского марксизма выдавать себя за настоящий «ортодоксальный» марксизм в противоположность переродившемуся и ложному марксизму их противников. Но для историка все толки марксизма — законные дети Маркса, плод его сложной и поливалентной доктрины, а задача в том, чтобы подвергнуть анализу взаимоотношения и конфликты между разными видами марксизма, не приписывая ни одному из них мнимой нормативной «ортодоксии». Однако с исторической точки зрения следует признать, что превалирующим марксизмом, характеризовавшим историю нашего столетия и вернувшим марксовской доктрине утраченный ею изначальный революционный заряд, был марксизм Ленина и его учеников.

Любой теоретический или исторический анализ марксизма, от Маркса до всех его порождений, должен опираться

на определение и описание того, что коренным образом отличает марксизм от всех других философских, политических, экономических, социологических идей. Чтобы понять решающую роль марксизма для России в XX столетии, а на основании его воплощения в этой стране — и для всего мира, необходимо учитывать уникальность не столько его содержания, сколько его структуры. Именно эта уникальность обеспечила успех марксизму, а в наши дни она же, на почве российского эксперимента, похоже, обусловила окончательный его закат.

Первая структурная особенность марксизма — единство теории и практики, глобальный подход к историческому развитию, который органически перерастает в программу действия: анализ настоящего как финишной точки прошлого открывает перспективу на будущее, которое предусматривается теорией и подготавливается действием, опирающимся на эту теорию. Вторая структурная особенность марксизма относится к природе теории, которая мнит себя «научной» и частично действительно входит в сферу научного знания, но при этом содержит в себе значительный элемент утопического проектирования, несмотря на уверения, что такое забегающее вперед конструирование будущего полностью опирается на науку. Отсюда исключительная устойчивость марксистской утопии, которая, в отличие от всех других утопий, не только уверена в том, что опирается на науку, но и на самом деле некоторым образом связана с научно-рациональной частью доктрины.

С другой стороны, марксистская доктрина у самого Маркса и во всех ее последующих вариантах предстает как наука, превосходящая все остальное научное знание, как особое и единственное, подлинно универсальное знание, являющееся, в отличие от других форм социально-исторического знания, выражением пролетариата — универсального и, так сказать, окончательного общественного класса, объективно предназначенного положить конец предыдущему историческому развитию и начать новую фазу, в которой объединенное человечество заново овладеет собственной сущностью. Изречение «марксизм не догма, а руководство к действию» великолепно выражает уникальную особенность марксизма, если его слегка подправить: «марксизм и догма, и руководство к действию».

Если марксизм — догма, то догма особенная. Разумеется, не религиозная, поскольку он неукоснительно антирелигиозен,

мало того, критика религии в марксизме стала отправной точкой тотальной критики исторической реальности. Мы имеем здесь дело с догмой рациональной и рационалистической и, одновременно, практической и деятельной, которая исходит из мнимонаучного знания механизмов движения истории, становится во главе этого движения и стремится завладеть инструментами управления им, т. е. властью. Первая и предварительная ступень овладения властью касается знания, т. е. самой доктрины, разработки и развития научной догмы, находящейся под полным контролем того, кто ее формирует, а затем его наследников, борющихся за ортодоксию. Вторая ступень касается организации, подготавливающей, при опоре на доктрину, великое революционное преобразование, то есть той самой коммунистической партии, для которой Маркс и Энгельс написали основополагающий манифест. Третья ступень касается управления той частью мира, где пролетарская революция утверждается на первых порах, чтобы затем одержать повсеместную победу.

Такая структура марксизма объясняет успех, достигнутый им особенно в России, поскольку он отвечал двум разным требованиям: во-первых, марксизм предлагал тотальный взгляд на прошлое, настоящее и будущее исторической реальности, в которой развитие России, постоянный и центральный мотив размышлений интеллигенции, составляло момент глобального развития человечества; во-вторых, марксизм открывал перспективу торжества справедливости, являвшейся идеалом всех утопических тенденций социалистического и народнического толка, светских и религиозных, которые в России были намного сильнее, чем в Европе, в связи с особой отсталостью страны, в том числе, в социальном плане. Одним словом, марксизм сулил России развитие, аналогичное западноевропейскому, и в то же самое время преодоление такого развития в царстве свободы и равенства и для нее самой, и для всего человечества.

Вере в такое «чудо» способствовали разные элементы. Конечно, глобальной предпосылкой была та основополагающая черта русской культуры, которую я определил бы как «аномальную секуляризацию». Я подразумеваю под этим специфическую религиозность, которая, в отличие от западных стран, не пережила секуляризации в собственном смысле, означающем утверждение форм рационально-критической мысли, вытеснив-

шей религию с ее традиционной центральной позиции, и при этом не только ее не разрушившей, но и способствовавшей ее развитию в соответствии с требованиями современного общества. В России же секуляризация, насильно начатая Петром и принявшая обостренные формы под влиянием наиболее радикально настроенной интеллигенции, приобрела характер антирелигии в парадоксальных полу- и псевдорелигиозных формах и толкнула светскую ментальность в сторону догматической абсолютизации естественных наук и экстремистской социальной активности, создав определенную нигилистически-тоталитарную ментальность, впоследствии легко выродившуюся в советский коммунистический атеизм.

Если это было духовной предпосылкой утверждения революционного марксизма, то непосредственным условием этого утверждения стала катастрофа, порожденная мировой войной и последовавшей за ней смутой. Творцом победы был Ленин, марксизм которого не только оживил революционный дух марксизма, погашенный западным реформизмом и ревизионизмом, но и наметил две гигантские операции. Первой была мировая революция, в которой русская революция была лишь начальным моментом. Как известно, мировой революции не произошло, но она продолжала оставаться идеологической перспективой коммунистического государства и поддерживавшего его международного движения. Это была исключительно важная перспектива: она оправдывала существование коммунистического государства в одной стране, причем государства очень особого типа, потому что в теории ему надлежало распространиться по всему миру. Другой операцией Ленина была инверсия марксизма: когда стало ясно, что расчеты на скорую мировую революцию не оправдались, Ленин выдвинул идею, на основании которой отношение между экономическим базисом и политической надстройкой в Советской России можно было перевернуть, вследствие чего государство, руководимое коммунистической партией, а вернее, отождествленное с нею, может и должно взять на себя задачу развития отсталой экономики страны и вывести ее на уровень экономики наиболее развитых капиталистических стран Запада, создав таким образом базу для социалистической революции, которая, согласно исходному варианту марксистской догмы, должна была вызвать революцию именно в развитых капиталистических странах.

Развить подобным образом марксистскую догму позволила Ленину тотальная власть, захваченная им в октябре 1917 г. и уже принадлежавшая ему внутри революционной партии, которую он создал в 1903 г. и, основываясь на марксистской теории, готовил к тому, чтобы она направляла будущие процессы, встав у руля истории.

Таков сложный механизм, лежащий в основе той роли, которую марксизм сыграл в Советском Союзе, а впоследствии и в других странах того же типа, в том числе в международном коммунистическом движении, включая высшие достижения западного ленинизма в лице Грамши и Лукача и ту часть мировой культуры, которая поддерживала эту политику. Без понимания этого механизма господство ленинского марксизма в России и мире становится непостижимым и превращается в чистое насилие и абсурдную иррациональность. Наоборот, это была рациональность, доведенная до крайности, так что обернулась бредом; воля к тотальной власти, мнившая, что застрахована всеобъемлющей теорией, превосходящей любое другое знание, и имеющая право на физическое и психическое насилие во имя научно обоснованного светлого будущего. История коммунизма — не история «иллюзии», как недавно было сказано, это история «научной» ошибки, скоро превратившейся в обман и самообман, это создание чудовищно громадной машины лжи и насилия, с целью прикрыть изначальную ошибку и сохранить возникшую на ней власть. Коммунизм, как он развивался в нашем столетии начиная с октября 1917 г., был попыткой выпрыгнуть из истории и совершить «скачок из царства необходимости в царство свободы», свободы коммунистической, которую Маркс теоретизировал как возможную только в бесклассовом мире, в мире без рынка, без религии, без неравенства, в мире, который в советской или китайской реальности обрел свою карикатуру, но уже в теоретическом замысле нес в себе зародыши вырождения и саморазрушения и мог воплотиться не иначе как в виде трагической карикатуры на самого себя.

История советской культуры — зеркало этой параболы от теории к политике. Конечно, в марксизме есть элементы, вошедшие в историю социальных наук, в методологию истории. Но речь не об этом, а о гегемонии марксизма как тотальной и тоталитарной гегемонии Государства и Партии, с целым набором догм и ритуалов, имевших кажимость религии, но являв-

шихся в самом полном смысле слова антирелигией, и не только потому, что они стремились разрушить подлинную религию, но и потому, что зиждились на сакрализации и мистификации будущего, которое было в полной власти Партии-Государства, как в этой власти было и историческое прошлое, контролирующееся государственными чиновниками.

Формулу марксизма у власти можно резюмировать в триаде «идейность-партийность-коллективизм», заменяющей демократическую западную триаду «свобода-равенство-братство» и очень похожую на реакционную триаду «православие-самодержавие-народность». Марксистская триада пронизывала всю советскую культуру, лишала ее жизни, превращая в искусственную и призрачную, несмотря на пережитки старой дореволюционной русской культуры (от Бахтина до Пастернака) и сопротивлявшиеся ростки новой послереволюционной культуры (от Лотмана до Солженицына). Но в целом была возведена громадная машина советской культуры, машина, требующая очень внимательного исследования ее внутреннего устройства, позволившего ей долго и успешно функционировать.

Символический ее образ, место, где, похоже, самый дух этой безжизненной культуры, — мавзолей Ленина, авангардистская постройка, превозносящая культ смерти, псевдорелигиозно проецируемой в мнимую вечность. Символическая центральная дата советской культуры — год самоубийства Маяковского, поэта религиозного нигилизма и не менее революционной веры в будущую утопию. Эта дата знаменует собой переход от авангарда к социалистическому реализму, переход, так сказать, от мавзолея, символа смерти, выдаваемой за жизнь, к музею, символу угасшей и мумифицированной жизни — в том смысле, что выставленная в нем культура прошлого сохраняется выборочно и истолковывается тенденциозно, так, чтобы обеспечить коммунизму благородную, но ложную генеалогию, представляющую марксизм и коммунизм венцом всего развития человечества. В частности, социалистический реализм предстает здесь как наследник всего здорового и прогрессивного художественного творчества прошлого. В запасниках этого музея похоронены останки «реакционной» культуры и «выродившегося» искусства, которые считаются дьявольски враждебными и опасными для революционной идеологии. В последнее время в России музеефикация культуры заменилась постмодернистской

культурной карнавализацией — хаотическим признаком конца марксистско-ленинской гегемонии и ее притязаний на создание новой органической культуры.

Парадоксом марксизма у власти было то, что в его синтезе, официально состоявшем только из марксистско-ленинских элементов, подспудно присутствовала компонента, восходящая к Ницше, приземленному и опошленному Ницше начала века, повлиявшего на часть большевистского марксизма, на так называемое богостроительство Горького и Луначарского. Это весьма непростая страница истории идей, потому что ницшеанский марксизм, принятый Лениным в штыки, не исчез и слился с ленинским наследием, если иметь в виду огромное значение Горького в становлении социалистического реализма и вообще советской культуры. В мифе «нового человека» — рода коллективного сверхчеловека, титанически основывающего метачеловечество, — слышны отзвуки этих отдаленных, но стойких влияний. С концом марксистской идеологии исчез и этот синтез: с одной стороны Маркс и марксизм разных толков послемарксова периода, в первую очередь марксизм ленинско-сталинский, разумеется, далеко не исчез и не должен исчезнуть с горизонта внимания, но его статус субъекта мнимого единственного и абсолютного значения должен быть заменен на статус объекта исторического и теоретического анализа с применением разного инструментария критики; с другой стороны, Ницше, избавленный от деформирующего синтеза с Марксом, приобретает и свою свободу в России и становится частью новых интеллектуальных поисков как одна из компонент.

Над развалинами советской культуры, на далеком фоне русской культуры, парит призрак, но не призрак коммунизма, когда-то бродивший по Европе, а призрак Маркса и, может быть, Ленина, мумия которого находится в мавзолее — в этом сюрреальном и зловещем символе безжизненной культуры.

Леонид Люкс

«Последний революционный романтик»? – Лев Троцкий против Гитлера и Сталина¹

Физическое уничтожение старой большевистской гвардии, которая после 1917 года диктаторски властвовала в России, – одно из самых поразительных явлений новейшей истории. Внешне эта трагедия отчасти напоминает события во Франции времен якобинского террора. Но во Франции 9 термидора 1794 года режим Робеспьера, просуществовавший не более двух лет, рухнул. В Советском Союзе, напротив, «термидора» никогда не было, вопреки утверждениям некоторых авторов. Не могло быть и речи о сколько-нибудь последовательном сопротивлении тирану со стороны ленинской гвардии, за немногими редкими исключениями – такими как Мартемьян Рютин и некоторые другие. Вот что пишет в этой связи биограф Сталина, А. Антонов-Овсеенко: «Часто спрашивают, неужели на Сталина не было ни одного покушения? Да, ни одного... Да их не было у нас, заговорщиков, ибо уже к началу 30-х годов с именем Сталина связывали все победы социалистического строительства. И разгром «троцкизма». И укрепление единства коммунистических рядов»².

Упорная борьба Троцкого против Сталина, которую бывший соратник Ленина вел начиная с 1929 года вплоть до своей гибели в 1940 году, нетипична для тогдашнего большевизма. Высылка из СССР, которую так тяжело пережил Троцкий, в конечном итоге оказалась подарком судьбы, так как эффективная борьба с новой деспотией была возможна только из-за границы.

¹ Немецкая версия этой статьи была опубликована в журнале *Kommune* (10/1990), первоначальная русская версия этого текста появилась в моем сборнике статей *Третий Рим? Третий Рейх? Третий путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе*. М., 2002, актуализированная версия этой статьи была опубликована в журнале «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры» 2/2017. С. 229-234.

² Антонов-Овсеенко А. Сталин и его время // Вопросы истории. 1989. № 10. С. 84.

Но не только внутреннюю политику Сталина, но и его губительную для страны и для европейского рабочего движения внешнюю политику можно было после 1929 года в сущности критиковать лишь из эмиграции. Это особенно касается абсурдной концепции «социал-фашизма», восторжествовавшей в Коминтерне окончательно в 1929 году, чуть ли не накануне захвата власти нацистами. Сталинское руководство Коминтерна беспощадно пресекало любую попытку немецких коммунистов объединиться с социал-демократами в борьбе против фашизма, клеймило этих коммунистов как беспринципных оппортунистов³. Это о них сказал Эрнст Тельман в декабре 1931 года, что они не видят из-за нацистских деревьев социал-демократического леса⁴. О возможности единого фронта с социал-демократами стали говорить в Коминтерне лишь в середине 1934 года, когда рабочее движение в Германии было уже уничтожено Гитлером.

К числу немногих коммунистов, которые открыто боролись против отождествления социал-демократии с фашизмом и предостерегали от катастрофических последствий подобной тактики, в первую очередь принадлежал Троцкий. Можно обвинять Троцкого в чем угодно, но только не в том, что он недооценивал нацистской угрозы. Его полемика с официальной линией Коминтерна в начале тридцатых годов – это блестящая и уничтожающая критика сталинского упрощательства.

Но близорукими с точки зрения Троцкого оказались и другие противники национал-социализма. Сыгравший в 1917 году важнейшую роль в уничтожении русской демократии, он в начале тридцатых годов с бессильным раздражением наблюдал, как немецкие демократы совершают почти те же ошибки, какие в свое время допускали демократические противники большевиков в России⁵. Нацисты сумели использовать

³ См. Luks L. Entstehung der kommunistischen Faschismustheorie. Die Auseinandersetzung der Komintern mit Faschismus und Nationalsozialismus 1921-1935. Stuttgart, 1935.

⁴ Die Kommunistische Internationale. 10.12.1931. P. 1906.

⁵ См. Deutscher I. Der verstoßene Prophet, Stuttgart, 1963, P. 263; Brahm H. Trockijs Aufrufe gegen Hitler 1930-1933 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 1963. P. 521-542; Wistrich R.S. Leon Trotsky's Theory of Fascism // Journal of Contemporary History. 1976. P. 157-184; Trotzki L. Schriften über Deutschland / Ed. H. Dahmer. Frankfurt/Main, 1971. Vol. 1. P. 184, 345; idem. Diary in Exile 1935. Cambridge/Mass., 1968. P. 3.

слабость парламентарного государства и близорукость своих конкурентов несколько не хуже большевиков.

Одним из элементов этой тактики, особенно сближавшим большевиков с нацистами, было специфическое сочетание легальных и нелегальных средств в борьбе за власть. Этот факт особенно беспокоил Троцкого. Противники НСДАП (Национал-Социалистической Рабочей Партии) слишком односторонне ориентировались на легальную, парламентскую борьбу. Не только СДПГ (социал-демократы), но и КПГ по сути дела полагалась на конституционный порядок и верила, что Гитлер будет соблюдать правила парламентской игры⁶. Троцкий же понимал, что рано или поздно нацисты перейдут к внепарламентским действиям. В декабре 1931 года он писал, что национал-социалисты никогда не получают абсолютного большинства на выборах⁷. Иными словами, Троцкий был уверен, что демократическим путем нацизм не придет к власти. Но господствующие группировки в Германии могут передать нацистам власть добровольно; такую возможность Троцкий тоже учитывал. В этом случае государственный переворот был бы естественным следствием передачи власти⁸.

Задолго до победы Гитлера Троцкий не уставал повторять: без уничтожения парламента, многопартийной системы и прежде всего организаций рабочего класса господство нацистов немислимо⁹.

Единственное, что может предотвратить нацистский переворот – это единый фронт коммунистов и социал-демократов. Сталинское же руководство, продолжает Троцкий, признает лишь один вид единого фронта – когда все другие партии безоговорочно подчиняются приказам Коминтерна. Сталинскую теорию «социал-фашизма» Троцкий называет бессмысленной конструкцией, у которой есть лишь одно преимущество: никто из членов Коминтерна не смеет против нее протестовать¹⁰.

Такой же безжалостной критике Троцкий подвергал так-

⁶ L. Trotzki. Schriften über Deutschland. Vol. 1. P. 164-165, 310, 391-392.

⁷ Ibid. P. 164-165.

⁸ Ibid. P. 391-392.

⁹ Троцкий Л. Что есть Социал-фашизм // Бюллетень оппозиции. № 15-16. Май 1930. С. 29.

¹⁰ L. Trotzki. Schriften über Deutschland. Vol. 1. P. 193-194.

тику немецких социал-демократов. СДПГ, пишет Троцкий, не верит, что фашисты перейдут от слов к делу. Социал-демократы судят по себе о поведении нацистов. Для этой партии всегда был характерен страх перед решительными действиями. Таковую же нерешительность она невольно приписывает и НСДАП. А когда вырисовывается реальная опасность, СДПГ уповает на прусскую полицию, на армию, на верность президента конституции. СДПГ, миллионная партия, хотела бы, чтобы государственные чиновники защитили ее от другой миллионной партии¹¹.

Все эти черты, подмеченные Троцким, были присущи и русским социал-демократам и социал-революционерам, что, конечно, облегчило большевикам захват власти в 1917 году. Непосредственно после большевистского переворота Троцкий в одной из своих речей, обращенной к социал-демократическим противникам, презрительно указал им дорогу на свалку истории¹². Тринадцать лет спустя он видит в союзе с движением, которое он когда-то с таким высокомерием изгнал с политической сцены в России, чуть ли не единственную возможность преградить национал-социализму дорогу к власти.

Между прочим, Гитлер после своей победы почти дословно повторил давнее высказывание Троцкого о крахе социал-демократии. Однако он распространил это утверждение на всех марксистов, т. е. и на коммунистов¹³.

Очень рано Троцкий предсказывал смертельную угрозу, какую нацистская Германия представит для Советского Союза. Лишь фашистская Германия может решиться на войну с Советским Союзом, чтобы отвлечь внимание народа от неразрешимых внутренних проблем, – писал Троцкий еще в 1932 году, до победы нацистов¹⁴.

Троцкий даже советовал советскому руководству провести частичную мобилизацию, как только нацисты захватят власть в Германии¹⁵. Сталинское руководство Коминтерна квалифици-

¹¹ Ibid. P. 187-188.

¹² Trotzki L. Geschichte der russischen Revolution. Vol. 1-3. Frankfurt/Main, 1973. P. 951.

¹³ Ed. M. Domarus. Hitler, Reden und Proklamationen. 1932-1945. München, 1965. Vol. 1. 1932-1934. P. 232.

¹⁴ Trotzki. Schriften über Deutschland. Vol. 1. P. 157-158, 313-315. Vol. 2. P. 559.

¹⁵ Ibid. Vol. 1. P. 315.

ровало эти советы как провокацию. Сталинист Отто Куусинен утверждал в сентябре 1932 года, будто Троцкий добивается, чтобы Советский Союз без всякой необходимости ввязался во внешнеполитическую авантюру и тем самым поставил на карту свою безопасность¹⁶.

Когда национал-социалисты действительно пришли к власти, Троцкий заявил, что их стремление к неограниченной экспансии можно подавить лишь силой. Пытаться вести с ними мирные переговоры бесполезно. На западные державы он, однако, в этой борьбе не слишком надеялся. Троцкий достаточно рано распознал политическую близорукость тогдашних западных руководителей. Западные державы, писал он в 1933 году, лелеют надежду, что национал-социалистическая экспансия устремится на Восток. Поэтому они и не возражают против вооружения Германии. В действительности же национал-социализм стремится не только к завоеванию Востока, но и к мировому господству. Поэтому его война с западными странами тоже рано или поздно неизбежна¹⁷.

Ясное понимание того, что гитлеризм представляет собой небывалую опасность для европейской цивилизации, совмещалось у Троцкого, как ни странно, с определенной недооценкой Гитлера, не говоря уже о его презрении к личности нацистского вождя и к его «абсурдному», «сумбурному» и «ненаучному» мировоззрению (как выражался Троцкий). Подобно другим высокообразованным интеллектуалам он недооценивал Гитлера – примитивного и полуобразованного самоучку. Но также отнеслись к Гитлеру и Курцио Малапарте, и Освальд Шпенглер, и многие другие, видевшие в Гитлере лишь карикатуру на Муссолини¹⁸.

Впрочем, в недооценке Троцким Гитлера сыграло роль еще одно обстоятельство. Троцкий – герой и вдохновитель русской революции, полководец гражданской войны и признанный лидер мирового коммунистического движения – долгое время был

¹⁶ XII Пленум ИККИ. 27.VIII.-15.IX.1932. Стенографический отчет. М., 1932.

¹⁷ Trotzki. Schriften über Deutschland. Vol. 2. P. 555-566.

¹⁸ Trotzki. Schriften über Deutschland. Vol. 2. P. 573-574; Malaparte C. Technik des Staatsreiches. Leipzig, 1932. P. 219-232; Spengler O. Jahre der Entscheidung. Deutschland und die weltgeschichtliche Entwicklung. München, 1953. P. 146-148.

кумиром масс, объектом безмерного восхищения. Его судьба сложилась, однако, так, что сначала его изгнал за пределы страны один примитивный самоучка – Сталин, а затем ему пришлось пассивно наблюдать, как другой такой же самоучка – Гитлер – достиг абсолютной власти в Германии, в стране, которую Троцкий считал ключевой в мировой политике и в мировой революции. Троцкий не мог примириться с тем, что многие объясняли удивительные успехи Сталина и Гитлера их личными качествами и способностями. Ему казалось, что триумф этих жалких деятелей объясняется действием анонимных исторических сил, которые, так сказать, «воспользовались» Сталиным и Гитлером¹⁹. Когда Троцкий это писал, Сталин завершил коллективизацию – беспрецедентную по своим преступным масштабам революцию сверху, а Гитлер стал единоличным властителем крупнейшей индустриальной державы Европы.

И все же Троцкий ставил Гитлера в определенном смысле выше Сталина. Троцкому до некоторой степени импонировал демагогический талант нацистского вождя. У Сталина же, по его мнению, не было никаких сколько-нибудь выдающихся политических способностей. Как политик, Сталин, по мнению Троцкого, не идет ни в какое сравнение ни с Гитлером, ни, тем более, с Муссолини²⁰.

Троцкий называет Сталина «термидорианцем»²¹. Тем самым он показывает полнейшее непонимание сути сталинской революции сверху. Ведь когда мы говорим о сталинизме, речь отнюдь не идет о попытке покончить с утопически-террористической фазой революции. Наоборот, Сталин довел эту линию развития русской революции до логического предела. Троцкий же считал верность идее мировой революции неотъемлемой частью всякой «истинно-революционной» политики. Отсюда и его недооценка беспрецедентной динамики сталинской «революции сверху».

¹⁹ Trotzki L. Stalin. Eine Biographie. Reinbek b. Hamburg, 1971. Vol. 1. P. 13, vol. 2. P. 233-234; idem. Schriften über Deutschland. Vol. 2. P. 233-234; см. также Brahm. Trockijs Aufrufe P. 526-527.

²⁰ Trotzki. Stalin. Vol. 1. P. 12-13, vol. 2. P. 260; см. также Trotzki L. Stalin als Theoretiker // idem. Schriften 1. Sowjetgesellschaft und stalinistische Diktatur. Band 1.1 (1929-1936) / Ed. H. Dahmer, R. Segall, R. Tosstorff. Frankfurt/Main, 1988. P. 192-223.

²¹ Trotzki. Schriften 1. Sowjetgesellschaft Vol. 1.1. P. 47, 227, 403, 581.

Не все поклонники Троцкого разделяли его взгляды на этот счет. Исаак Дейчер – автор одной из самых основательных биографий Троцкого – хотя и повторяет слова Троцкого о «термидорианском» характере сталинского режима, но одновременно выдвигает противоположную концепцию, которая несомненно гораздо точнее отражает суть сталинской эпохи. По мнению Дейчера, сталинский переворот по своим последствиям был еще значительнее, чем октябрьская революция. Ибо Сталин, и только он, создал ситуацию, которая полностью исключала возврат к дореволюционным порядкам²².

Работы Троцкого, написанные в изгнании, изобилуют разного рода ошибочными оценками, но вместе с тем представляют собой блестящий вклад в развитие марксистского политического мышления. В особенности касается это предложенного Троцким анализа фашизма.

В Советском Союзе эти работы долгие годы оставались практически неизвестными. Перестройка поначалу мало что изменила в этом отношении. Она лишь продолжила начатую еще в 1923/24 годах «демонизацию» Троцкого. В глазах многих приверженцев перестройки Лев Троцкий был вдохновителем красного террора во время гражданской войны (впрочем, тут он мало чем отличался от других большевистских лидеров) и критиком НЭПа – т. е. был предтечей Сталина. Характерно в этой связи, например, заявление литературоведа Юрия Карякина: «Я всегда Троцкого терпеть не мог. Троцкий – это Сталин вчера, а Сталин – это Троцкий сегодня»²³.

Сотрудник журнала *Коммунист* Отто Лацис вообще отказывал Троцкому в праве называться большевиком. Лацис считал, что большевистская партия всегда оставалась чуждой Троцкому²⁴.

Между тем именно Троцкий тяготел к непомерному возвеличиванию партии и в высочайшей степени отождествлял себя с ней. В 1924 году, уже после того как началась партийная кампания против Троцкого, архитектор переворота 7 ноября 1917 года говорил: «Никто из нас не хочет и не может быть правым против партии. Партия в последнем счете всегда права»²⁵.

²² Deutscher I. Russia after Stalin with a postscript on the Beria affair. L., 1953. P. 97-98.

²³ Огонек. 1988. № 12. С. 18.

²⁴ Лацис О. Перелом // Знамя. 1988. № 6. С. 124-178.

²⁵ Тринадцатый съезд РКП(б) 1924. Стенографический отчет. М., 1963.

Как бы то ни было, ссылки на верность Троцкого Ленину и большевизму не являлись лучшим способом поправить его репутацию в эпоху перестройки. В стране происходил тогда радикальный демонтаж культа Ленина, да и всех большевистских святых. Причем это наступление велось главным образом с двух флангов: либерально-демократического и шовинистически-антисемитского. Для обоих лагерей Троцкий был абсолютно неприемлем.

И все же, как это ни удивительно, начиная с 1987 года происходило «возвращение» Троцкого на родину²⁶. Интерес к Троцкому был вызван, как правило, не идеологическими или партийными соображениями, а скорее любопытством к этому деятелю, некогда преданному анафеме.

Идеи Троцкого вот уже в течение ряда десятилетий стимулируют многие идеологические и политические дискуссии на Западе. Во время перестройки к этим дискуссиям начали прибегать и некоторые российские исследователи. Пробив окно в Европу, российские авторы нашли там, к своему удивлению, не только приверженцев рыночной экономики, но и поклонников Троцкого. Однако в этом и состоит принцип выработанного многими поколениями западного плюрализма: там могут уживаться совершенно противоположные идеи, которые в других условиях стремились бы к взаимоуничтожению.

О рецепции идей Троцкого в постсоветской России я здесь говорить не буду. Эта тема выходит за рамки данной статьи.

²⁶ См. Клямкин И. Какая улица ведет к храму? // Новый мир. 11/1987. С. 150-188; Данилов В. Мы начинаем познавать Троцкого // ЭКО. 1990. № 1. С. 47-62; Подщеколдин А. Новый курс. Пролог Трагедии // Молодой Коммунист. 1989. № 8. С. 45-50; Старцев В. Вопросы истории. 1989. № 7. С. 135-137; Гусейнов А. Мораль и насиле // Вопросы философии. 1990. № 5. С. 127-136; Панцов А. Лев Давидович Троцкий // Вопросы истории. 1990. № 5. С. 65-87.

Михаил Блюменкранц

Искушение революцией

Заметки о природе массовых движений

*П*оводом к размышлениям, легшим в основу данной статьи, послужила не только и не столько столетняя годовщина октябрьской революции, сколько недавние события на Украине, о которых можно спорить, были ли они революцией в привычном смысле этого слова, но которые продемонстрировали бурный революционный подъем, охвативший различные слои населения. Примечателен был сам феномен внезапной трансформации обыденного, погруженного в повседневность сознания, в сознание пламенно революционное. Подобную метаморфозу я мог наблюдать у моих старинных приятелей, многие из которых до того отличались полной аполитичностью и не проявляли ни малейшего интереса к событиям общественной жизни. Так что попытки теоретических выводов неизбежно будут иметь некоторый привкус экзистенциального опыта.

Большинство революций или революционных переворотов, известных еще со времен Древнего Египта, происходили как изменения внутри определенной социокультурной парадигмы и являлись либо простой сменой властных элит – «кто был ничем, тот станет всем» – либо смена власти приводила и к известной корректировке всей системы государственного управления.

Гораздо реже случались революции, разрушающие прежнюю социокультурную парадигму и провозглашающие новую шкалу ценностей, свидетельствующие о победе нового мировоззрения. Одной из таких революций явилась Великая французская. Пожалуй, это была первая европейская революция, в которой идеология получила характер новой религиозной веры. Эта революция существенным образом повлияла на весь ход европейского развития и закрепила новую ценностную ориентацию для последующих поколений.

Революция эта, в отличие от многих ей предшествующих, претендовала не только на изменение окружающей действительности, но и на то, чтобы пересоздать самого человека. По сути,

это была заявка на пересотворение мира. Эстафету французов позднее подхватили русские большевики. Дух богоборчества и титанизма, охвативший революционные массы, создал мощнейшее энергетическое поле, постоянно подпитывающее сознание людей неиссякаемым энтузиазмом и непримиримой ненавистью к врагам. Если неудачное восстание ангелов оканчивается адом только для них, то удачное восстание людей обычно оборачивается адом для всех. Революции возникают как внезапная аритмия исторического движения. Однако, сама эта аритмия — органический момент такого движения.

Какая же стихия подхватывает людей, сплачивая их ненадолго в охваченные единым порывом массы? Сами участники этих движений, в ответ на подобный вопрос, скорее всего, назовут вполне конкретные требования и вполне рациональные причины, которые вывели их на улицы. И в этом они не лукавят. Но трудно отделаться от впечатления, что за этими вполне разумными и часто благородными побуждениями скрывается нечто глубинное, иррациональное, непроявленное для сознания захваченных накалом революционных страстей людей. Что-то, что коренится в каких-то древних пластах нашего бессознательного, в архетипах, присущих еще нашим далеким предкам.

В своей книге «Истинноверующий» — этом пронзительном взгляде на человеческое общество со стороны, Эрнх Хоффер отмечал, что массовые движения имманентно содержат в себе все формы своей возможной реализации. Возникнув как социальные, они могут перейти в националистические или религиозные. Подобные превращения способны происходить в любой последовательности. Поскольку суть массовых движений заключается в них самих, а формы, в которых они происходят, являются лишь ответом на вызовы времени. Внешний фактор становится только спусковым крючком, приводящим в действие некие природные механизмы.

Одной из важных тенденций исторического развития человечества, особо проявившейся в европейской традиции, представляется постепенно происходивший переход от осознания человеком себя как частицы коллективного «мы» к суверенному и автономному «я». Таков был долгий путь от племенной культуры через эпохи Возрождения и Просвещения к современной постиндустриальной цивилизации. Однако, по замечанию Г.С. Померанца, вероятно, основанному на

работах К. Леви-Стросса, результат нашего развития — это не только сумма наших ценных приобретений, но и горечь от невозможных утрат. Одной из таких утрат стала потеря человеческой общности, а вместе с ней и универсальных смыслов существования, породившая то чувство «заброшенности человека в бытии», о котором писал Мартин Хайдеггер. В результате возникает невольное искушение бежать из холода своего космического одиночества, своей вселенской заброшенности, в «теплоту кагала». У человека, захваченного массовым движением, появляется чувство цельности и высокого надличностного смысла собственного существования. Его уязвимое, одолеваемое сомнениями «я» сливается в едином дыхании с мощным, убежденным в святой правоте своего дела, «мы». Теперь он уже не одинок и не беспомощен. Он составляет одно неделимое целое с племенем, нацией, партией или классом. Мир оказывается предельно прост. В своей основе он делится на своих и чужих, на черное и белое. Свобода личного выбора перестает быть проблемой. Ведь ответ добра лежит лишь на его знамени. Оптика изменилась, и хотя горизонт в результате оказывается сильно сужен, зато благодаря этому вещи и события приобретают большую контрастность. Полутона исчезают, зато рельефнее выступают контуры. Подобно электрическому свету, собранному в пучок прожектором, цепко выхватывающим скрытые в темноте предметы, революционное сознание предельно концентрируется только на необходимом ему. Все остальное теряет всякую значимость, включая и собственное «я». Сузившееся сознание обеспечивает постоянный напор волевого императива. Так происходит идеологизация мышления.

Расхожая революционная максима гласит, что «нравственно все то, что хорошо для революции». На смену христианской морали приходит мораль революционная: убей, укради, солги — но только делай все это во благо революции. Легкий флер легенды — и вот уже ореол святости. И эффективный менеджер заплечных дел, ударившись оземь, оборачивается не серым волком, а национальным героем.

Тех, кто не являются единоверцами, революционное сознание выносит за рамки этики, они вне ее, ведь «кто не с нами — тот против нас», все они — закоренелые грешники уже в силу самой своей непринадлежности к истинной церкви. Впрочем, если в ходе борьбы происходит озверение масс, то уже совер-

шенно неважно, под каким знаменем и во имя торжества каких идеалов они выступали. Ведь убитый дракон вновь оживает в победившем змееборце. Такова этика идеологизированного сознания, вне зависимости от того, какую форму оно обретает — религиозную, большевистскую или националистическую.

Для того, чтобы попытаться понять механизмы работы идеологизированного сознания, стоит обратиться к идеям, высказанным Эдмундом Гуссерлем. Рассматривая феномен человеческого сознания, Гуссерль задается вопросом: что представляют собой структуры сознания, эксплуатирующие значения как идеальные единства? В ходе исследования философ приходит к понятию интенциональности, т. е. первичной смыслообразующей устремленности сознания к миру, подразумевающей как смыслообразующее отношение сознания к предметам, так и предметную интерпретацию ощущений. При этом речь идет уже не о самих предметах, а об их эйдосах.

Идеология умело имплантирует в сознание собственный проект преобразования предметов в эйдосы, в результате которого формируется матрица заданных интенциональных форм, фильтрующих сознание и фокусирующих его в своей смысловой оптике восприятия окружающей действительности, определяющей горизонт сознания. А поскольку структура переживания не зависит от того, реален или нереален предмет, ставший целью объективирующего акта, то скорректированное сознание, тщательно настроенное по идеологическому камертону, конструирует картину мира и ценностные ориентиры в нем, уже запрограммированные изначально самой идеологией, вне зависимости от того, до какой степени эта картина совпадает или не совпадает с объективной реальностью.

Каким же образом идеи, вернее, не идеи, а идеологии, «выходят на улицу и овладевают массами»?

Алексис де Токвиль, анализируя причины Французской революции, утверждает, что не ухудшение экономических и социальных условий жизни народа привело к восстанию, наоборот, по его мнению, эти условия при Людовике XVI даже улучшились. По логике революций, они происходят не тогда, когда «низы не хотят», а «верхи не могут», не тогда, когда тотальная нищета и власти не дали, а тогда, когда возникает убежденность, что они не додали. Именно в этих ситуациях в массах пробуждаются чувства обиды и попранной справед-

ливости. Могучие стимулы к переустройству мира, эти чувства сплачивают восставших общей ненавистью к врагам и любовью к единомышленникам. И хотя ненависть и любовь часто сопутствуют друг другу, однако любовь к ближнему, рожденная из ненависти к дальнему, хоть и греет душу, но греет ее адским пламенем. Может быть по этой причине постреволюционная ситуация обычно напоминает больного, которому выдавили гнойник и получили общее заражение крови.

Один из моих знакомых, принимавших активное участие в Майдане, признавался, что в то время его жизнь приобрела удивительную полноту и интенсивность. Этот более высокий градус эмоционального переживания действительности разрушал рутинность привычного существования. Подобное интенсивное переживание жизни антропологи отмечали в культуре «племен вечной зари». Люди архаической культуры, в силу присущего им восприятия мира, жили в *сильном времени* и в *сильном пространстве*. Это время, несущее сакральные смыслы, и пространство, наделенное магическими свойствами. И коллективное «мы» племени органично соединяло каждого из своих членов с этой хорошо известной и в то же время совершенно неведомой реальностью.

Революционный подъем возвращает массам утерянную связь с трансцендентными основами мироздания. Но возвращает, в действительности, не саму связь, а ее симулякр. Симулякр возникает вследствие духовной подмены, когда относительные исторические ценности и цели движения абсолютизируются, и временное получает статус вечного. Это процесс «религофикации» исторических событий хорошо известен еще со времен все той же Французской революции, с ее попыткой провозглашения культа великих умов человечества и последующей мифологизацией своих героев.

Притягательность массовых движений состоит не только в возможности бегства индивида от собственной неприкаянности и тяжелой ноши свободного выбора в теплую утробу анонимного «мы», не только в стремлении к вечному возвращению в отчий дом утраченного им детства, но и в спасительной иллюзии обретения потерянных универсальных смыслов, дарующих ему чувство укорененности в бытии.

В заключение рискну предположить, что массовые движения как таковые, скорее всего появляются в эпоху смены

племенной культуры ранними государственными образованиями. И, видимо, связаны с тем историческим процессом, который Макс Вебер определил как «расколдование мира», т. е. рационализацию отношений человека с действительностью. Не исключено, что среди прочих многочисленных факторов возникновения массовых движений, лежит и глубокая родовая травма перехода человека из мира племенной культуры, более органично связанного с природой, к созданию ноосферы, в частности появлению города как нового проекта организации общества и его взаимодействия с окружающей средой.

Владимир Кантор

Революция, или Безумие в облике истины

Хорошо образованные люди, как правило, принимают то положение, что мир дуален, что он двойствен, что есть добро и зло, свет и тьма, Ормузд и Ариман. Бог и Сатана, Христос и антихрист, святые и злые духи, необходимость и случайность, Восток и Запад, право и лево и т. д. Но почему-то все уверены со времен Гегеля, а может, и Декарта, что мировая история имеет разумный план, что существует только тот человек, который мыслит и что Мировой Разум господствует в истории и то, что нам кажется злом, есть лишь преходящий исторический момент. Однако безумие как антитезу Разума не рассматривает практически никто, хотя о безумии написано немало работ. Но везде безумие трактуется как некая флуктуация, некая случайность. Но если учесть, что по диалектическому закону случайность равноправна необходимости, нельзя ли и Безумие вставить в этот диалектический ряд как полноценную антитезу Разума?

Я постараюсь показать роль безумия на историческом примере русской революции 1917 года. Начну с очевидного для всех факта безумия — войны, которая всегда пытается найти себе оправдание, начиная с Гераклита, говорившего, что война отец всего. Но, добавлял он, одних она поднимает, других превращает в рабов. Но положение раба вряд ли можно одобрить, не говоря уж о том, что рабство чревато новыми катаклизмами и поворотами. Например, новыми — освободительными — войнами. Жизнь человека в этом контексте находится безо всякой защиты. Все разумные нормы перестают существовать, война порождает безумие. Об этом писали не раз в России — Всеволод Гаршин в рассказе «Трус» (Балканская война), Леонид Андреев в повести «Красный смех», в которой он словно провидел ужас последствия атомной бомбардировки:

«— Много раненых? — спросил я. Он махнул рукой. — Много сумасшедших. Больше, чем раненых.

— Настоящих?

— А то каких же?

Он смотрел на меня, и в его глазах было то же остановившееся, Дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара.

- Перестаньте, — сказал я, отворачиваясь.
- Доктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него.

Доктор не слышал. Он сидел, поджав ноги, как сидят турки, и раскачивался, и беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся, остолбенелое, тупо пораженное».

Но и Первая мировая уже была по сути предвестием и Второй мировой, и Хиросимы. Русский философ Федор Степун писал с фронта будущей жене:

«Война есть безумие, смерть и разрушение, потому она может быть действительно понятна лишь окончательно разрушенным душевно или телесно — сумасшедшим и мертвецам» [Степун 2000 b, 190].

Из войн, как правило, происходят революции: чем разрушительнее и безумнее война, тем разрушительнее следующая революция. Ханна Арендт писала в своей книге «О революции», что эта связь особенно ясно проявилась в Новое время:

«Война и революция до сих пор составляют две центральные темы политической жизни XX века» [Арендт 2011, 5]. И далее: «Русская революция 1905 года, последовавшая за поражением царизма в русско-японской войне, явилась зловещим знаком судьбы, уготованной режимам в случае их военного поражения» [Арендт 2011, 11].

Однако дело все-таки не только в поражении, а в возникновении особого состояния умов. Вспоминая начало войны в 1914 г., Троцкий приводит свой разговор с австрийским социалистом Фридрихом Адлером:

«На улице сейчас выходят все неуравновешенные, все сумасшедшие, это их время. Убийство Жореса — только начало. Война открывает простор всем инстинктам, всем видам безумия» [Троцкий 1991, 230].

Как же произошел отказ от разума? Как случилась русская революция? Война очевидно не проиграна. По словам английского исследователя, Россия потерпела поражение и развалилась как государство, выиграв войну:

«Брусиловский прорыв — наступление войск Юго-Западного фронта во время Первой мировой войны в мае-июле 1916 года. Российские войска под руководством генерала А.А. Брусилова прорвали позиционную оборону австро-венгерской армии и заняли значительную территорию. Противник потерял до 1,5 млн. человек» [Ливен 2007, 451-452].

Голода в Петрограде нет, есть небольшие задержки с продажей хлеба, но толпы дезертиров и оборванцев бродят по столице, пугая мирных обывателей, порядок с улиц исчез. Женщины вышли на улицы, негодуя на задержку с хлебом. Их поведение вроде бы понятно, но во время войны ситуация нормальная, если не учитывать, что микроб безумия от дезертиров перешел на мирных жителей города. Еда была, но бесила медленность ее подачи. Возникает странное ощущение зомбированности толпы. Хаотическое движение женских толп по городу напоминает «Безумную Грегу» Брейгеля. И все же никто не помышляет ни о революции, ни о перевороте. А что делает царь? Ровным счетом НИЧЕГО. Он боится. Этот страх был своего рода сумасшествием.

Царь был трусоват, на него давило воспоминание, своего рода ночной кошмар, воспоминание о 9 января, когда он допустил расстрел народа, шедшего к нему с хоругвями. С.Н. Булгаков писал об этом так:

«Агония царского самодержавия продолжалась все царствование Николая II, которое все было сплошным самоубийством самодержавия. <...> Раньше могло казаться, что революцию сделали революционеры. <...> К несчастью, революция была совершена помимо всяких революционеров самим царем, который влекся неудержимой злой силой к самоубийству своего самодержавия. <...> Я ничего не мог и не хотел любить, как Царское самодержавие, Царя, как мистическую, священную Государственную власть, и я обречен был видеть, как эта теократия *не удалась* в русской истории...» [Булгаков 1996, 332].

Втравив Россию по просьбе Великобритании в войну с Германией, царь потерял власть и империю. Столыпин считал, что должен укрепляться союз с Германией, ибо англичанам и французам после Крымской кампании он не доверял. Подставив Столыпина под пулю террориста, сняв охрану премьер-министра, ревновавший к его силе и популярности, царь после его гибели произвел ревизию петровского наследия, ставшую, по сути, отрицанием русской государственности, что выразилось, прежде всего, в смене опорных символов. Скажем, произошло

«бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград» [Степун 2000 b, 5], –

как написал воевавший на германском фронте русский философ Федор Степун. Царь не только русифицировал имя

города, но лишил город его святого (убрав «Санкт»!), т. е. сломал один из главных имперских символов. А символ всегда есть сгущенное воплощение реальности. И, конечно, гораздо проще возникнуть Ленинграду из Петрограда, нежели из Санкт-Петербурга. Далее шла подмена исторических сущностей. Ставши Петроградом, Санкт-Петербург по сути обратился в инвариант Москвы. То духовное напряжение в стране, которое вызывал подлинно европейский город, противостояние двух столиц, создававшее духовное поле в ранее монологической культуре, сошло на нет. Гибель Петербурга стала гибелью русской европейской империи. А когда надо было спасти государство, оказалось, что ни воли, ни силы у царя нет.

В поэме «Россия» Максимилиан Волошин увидел в этом переименовании открытие пути бесам:

Санкт-Петербург был скроен исполином
Размах столицы стал не по плечу
Тому, кто стер блистательное имя.
Как медиум, опорожнив сосуд
Своей души, притягивает нежить, —
И пляшет стол, и щелкает стена —
Так хлынула вся бестолочь России
В пустой сквозняк последнего царя.

1924

Неслучайно Россия в последние дни империи уже жила так, как будто никакого царя не было. Как замечал русский историк В. Булдаков, общество всегда охотно осуждает убийц, оплакивает их жертв, но суеверно шарахается от самоубийц. Поведение последних пугает куда больше, ибо за ним кроется генетически обусловленная суицидальность человека. Революцию можно рассматривать как массово-историческое проявление этой склонности. И первым самоубийство совершил царь, убив империю, то есть тем самым и себя, и свою семью, как показало дальнейшее течение событий. Виноваты оказались все. Вслед за царем самоубийство совершило общество и народ. Все мифы о революции, выделяющие палачей и жертв, призваны удовлетворить потребность в легких, успокаивающих истинах. Но истины эти отнюдь не безопасны, ибо делают людей беззащитными перед всякой очередной эпидемией социального умопомешательства и массового насилия.

Собственно, легкость февральского (мартовского) удара по империи показала готовность императора стать жертвой. Как пишет французская исследовательница:

«Февральская революция началась в Петрограде — так был переименован Санкт-Петербург в начале войны, чтобы изгнать немецкий привкус из его названия — и длилась шесть дней, которых хватило, чтобы уничтожить монархию» [Д'Анкос 2002, 143].

У нас в стране от главы государства всегда зависит очень многое. Николай II, не обладавший ни волей, ни инстинктом власти, стал лишней фигурой для правящей верхушки и для народа. И либералы, и генералы хотели всего лишь сменить царя. **Это казалось простым и истинным решением. Но такая смена верховного правителя во время тяжелой войны на самом деле была безумием и вела к катастрофе, которая и произошла как бы сама собой.**

Солженицын писал:

«Революционеры были готовы к этой удивительной революции не намного больше правительства. Десятилетиями наши революционные партии готовили только революцию и революцию. Но, сильно раздробленные после неудач 1906 года, затем сбитые восстановлением российской жизни при Столыпине, затем взлётом патриотизма в 1914 году, — они к 1917 оказались ни в чём не готовы. <...> В совершении революции ни одна из революционных партий не проявила себя <...> Так революция началась без революционеров» [Солженицын 2016, 9-10].

И возникает важнейший вопрос. **Была ли вообще в феврале революция или царство просто само по себе распалось?** Ушла армия, как хотел Лев Толстой, развалились суды, государство. Кстати, К. Леонтьев в статье, где он говорит о приходе антихриста, поминает Толстого:

«И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого» [Леонтьев 2007, 445].

Церковь тоже словно наслушалась толстовских проповедей, перестала окормлять самодержца:

«Скажем, в марте 1917 г. русская православная церковь практически *in corpore* отступилась от своего формального главы — императора Николая II, но об

этом сегодня не вспоминают. В наше время РПЦ канонизировала его в качестве страстотерпца, как результат, возникло представление, что самодержавие и православие жили душа в душу» [Булдаков 2013, 61].

Политики были в полной растерянности, либералы срочно создали Временное правительство, у которого даже малейших планов не было на дальнейшее движение страны. Были благие намерения, но ими, как известно, вымощена дорога в ад. Антихрист пока мелькал на заднем плане. Ленина еще никто всерьез не принимал, поскольку та степень нечеловеческой жестокости, которую он ввел как норму политической жизни, еще не наступила.

Как замечал Чаадаев, живописность для описания нашей истории чрезвычайно важна. Эта живописность в высшей степени была свойственна Розанову. Приведу его знаменитые слова:

«Русь слиняла в два дня. Самое большее — в три. <...> Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. <...> Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса» [Розанов 2000, 6-7].

Что же произошло после распада государства?

Стоит напомнить описание Гоббсом догосударственного состояния:

«Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно войной всех против всех. Ибо *война* есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения» [Гоббс 1991, 95].

Иными словами, общественное состояние, когда жизнь человека в опасности, есть первый признак естественного состояния. Гоббс точно описывает то, что переживала Россия. Все, что характерно для времени войны, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. Действительно, после невероятного экономического взрыва, когда Александр Блок увидел в России новую Америку, шайки бродяг, бездельников, дезертиров с оружием могли вызвать только ужас. Как вспоминал великий социолог Питирим Сорокин:

«Обычный порядок жизни сломан. Магазины и учреждения закрыты. В университете вместо лекций

идут политические митинги. На пороге моей страны стоит Революция. ...Полиция пребывает в бездействии и нерешительности. Даже казаки отказываются разгонять толпу. Это означает, что правительство беспомощно и его аппарат сломлен. Бунтовщики начали убивать полицейских. ...Конец близок... или это только начало?» [Сорокин 1992, 72].

Но если это было и начало, то начало возврата к прошлому, к дикости.

Созданный композитором А. Гречаниновым на слова К. Бальмонта в начале марта новый Государственный гимн невольно показал, что это не гимн государства, а гимн пугачевской вольницы:

Да здравствует Россия, свободная страна!
Свободная стихия великой суждена!
Могучая держава, безбрежный океан!
Борцам за волю слава, развевающим туман!
Да здравствует Россия, свободная страна!
Свободная стихия великой суждена!

Поэту в этом виделась какая-то высшая правда. Стихия считает, что несет в себе истину мира, но она — стихия, т. е. находится вне разума. Поразительно точна реакция Бунина:

««Революция — стихия...». Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются» [Бунин 1990, 108].

А вот описание наблюдателя этого перехода безумия войны в безумие революции. Когда случается вдруг революция,

«начинается реализация всех несбыточностей жизни, отречение от реальностей, погоня за химерами. Все начинают жить ультрафиолетовыми лучами своего жизненного спектра. Мечты о прекрасной даме разрушают семьи, прекрасные дамы оказываются проститутками, проститутки становятся уездными комиссаршами. Передошвы переходят из средне учебных заведений в чеку. Садистические «щипки и единицы» превращаются в террористические акты. Развертывается *страшный революционный маскарад*. Журналисты становятся красными генералами, поэтессы — военкорами, священники — конференсье в революционных кабаке» [Степун 2000, 394].

ОТРЕЧЕНИЕ КАК ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Историческое вырождение монархической системы правления, выразившееся в *бессилии* императора остановить народное возмущение, в *отречении* в самый критический для России момент правящей династии от трона, что лишило страну во время войны единственной — легитимной — на тот период власти и основы государства. Это отречение было равно предательству страны. Трудно не согласиться с Солженицыным:

«Всякий народ вправе ожидать от своего правительства **силы** — а иначе зачем и правительство?» [Солженицын 2016, 18].

Надо при этом понять, что самого царя предала политическая верхушка и, что было для него страшнее, от него потребовала отречения верхушка армии. Все боевые генералы.

Гоббс, переживший страшные революционные потрясения, писал:

«Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал другому: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется *государством*, по-латыни — *civitas*. Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного Бога, которому мы под владичеством бессмертного Бога обязаны своим миром и своей защитой. <...> В этом человеке или собрании лиц состоит сущность государства, которая нуждается в следующем определении: государство *есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты*» (курсив мой. — В.К.) [Гоббс 1991, 133].

Но беда была в том, что возникла идея отказа от всякого прошлого. Шло заискивание *всех* пришедших в феврале к власти *партий перед народом*. Это привело, во-первых, к развалу армии (издан приказ № 1 о возможности смещать и

назначать командиров выборным путем, что неминуемо вело к распаду армии). Во-вторых, постоянные призывы отбирать у помещиков землю, не дожидаясь правовых решений, т. е. методами насилия, что лишало народ всякого уважения к закону. В-третьих, упразднение органов правопорядка (уже в марте была распущена полиция, что должно было символизировать победу над «царскими сатрапами и насильниками», а на деле означало разрешение на грабежи и разбой всем темным элементам).

Были громкие поэтические и политические слова, произнесенные без понимания исторического ужаса исторической ситуации. 17 апреля 1917 г. в «Поэтохронике революции» Маяковский писал:

На крыльях флагов
стоглавой лавою
из горла города ввысь взлетела.
Штыков зубами вгрызлась в двуглавое
орла императорского черное тело.

Очень точен анализ этих дней у американского историка:

«Ничто лучше не иллюстрирует отстраненность правительства от реальности, чем решение царя в этот напряженнейший и сложнейший момент отправиться в Могилев. Он намеревался провести там неделю для совещаний с генералом Алексеевым, только что возвратившимся в Ставку после лечения в Крыму. У Протопопова это решение не вызвало никаких сомнений. Вечером 21 февраля он уверял государя, что беспокоиться не о чем и он может ехать со спокойным сердцем в уверенности, что тыл в надежных руках. К вечеру следующего дня царь уехал. А две недели спустя он уже вернулся как частное лицо — «Николай Романов», и под конвоем» [Пайпс 1994, 306].

Царский поезд покинул волновавшийся Петроград. К этому надо добавить характеристику последнего министра внутренних дел, успокаивавшего царя, что все в порядке, — А.Д. Протопопова как «рокового человека», данную Александром Блоком, который писал:

«Личность и деятельность Протопопова сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения царской власти» [Блок 2005, 20].

Никто не хотел свержения царской власти. Все просто хотели нового царя. Но неповоротливость начальственных мозгов, которым не приходило соображение, что во время страшной большой войны главнокомандующего, тем более императора, не меняют: это путь к поражению. Коней на переправе не перепрягают — формула старая. Царь предал государство, армия предала самодержца. Морис Палеолог писал:

«Решительная роль, которую присвоила себе армия в настоящей фазе революции, только что на моих глазах нашла подтверждение в зрелище трех полков, продефилировавших перед посольством по дороге в Таврический дворец. Они идут в полном порядке, с оркестром впереди. Во главе их несколько офицеров, с широкой красной кокардой на фуражке, с бантом из красных лент на плече, с красными нашивками на рукавах. Старое полковое знамя, покрытое иконами, окружено красными знаменами. <...> И все, офицеры и солдаты, заявляли о своей преданности новой власти, которой они даже названия не знают, как будто они торопились устремиться к новому рабству. Во время сообщения об этом позорном эпизоде я думаю о честных швейцарцах, которые были перебиты на ступенях Тюильрийского дворца 10 августа 1792 г. Между тем, Людовик XVI не был их национальным государем, и, приветствуя его, они не называли его «царь-батюшка»» [Палеолог 1991, 353-354].

Армия, в которой пропала идея воинского долга и дисциплины, становится неуправляемой хаотической массой. Масса не имеет представления о ценности отдельного человека. Как писал великий русский ученый А.Л. Чижевский:

«Массы и толпы могут ликовать при виде самых ужасных насилий, зверств, убийств. Ими изобретаются мучительнейшие казни. Безумие воплощается в жизнь» [Чижевский 1924, 40].

Я бы сказал, в России наступало всеобщее безумие. Но необходим был безумный лидер. Он появится чуть позже.

ОТКАЗ ОТ ПРОШЛОГО – ОТ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Царь был в растерянности. Можно ли хоть на минуту вообразить Петра Великого, который прислушивался бы к трусливым нашептываниям бояр и верил страхам своих генералов! Он нашел бы на них управу, и это очевидно. А здесь семьянин

оказался сильнее государя. Под давлением Думы и генералов, он полагал, что, отрекаясь, спасает семью. Отрекаясь в пользу сына, царевича Алексея, в последний момент он испугался за больного сына и отрекся в пользу младшего брата Михаила. В результате погибла не только империя, но и семья царя. Как не раз отмечали историки, было три бредовых пункта в этой передаче власти, поддержанной ошалевшей от вседозволенности либеральной Думой.

1. Не был спрошен Михаил, хочет ли он принять на себя тяжесть царства. Ему Николай отдал трон и царские атрибуты как мальчишка в песочнице, наигравшись, передает лопатку, совочек и формочки приятелю. А Михаил и вправду не хотел. 2. Император не имел государственного права на отречение в час великой военной опасности для страны. Как его предали генералы и думские депутаты, так он предал Россию. Генералы спохватились, началось белое движение, но было поздно, предательство уже состоялось. 3. И, наконец, как верующий христианин, а мемуары об этом свидетельствуют, он должен был понимать, что помазанник Божий может уйти с поста только в результате смерти.

Я уже упоминал о склонности к суициду людей в моменты массовых волнений. Безумие масс оказалось страшнее безумия тех сумасшедших творцов, о которых писал Чезаре Ломброзо, поскольку безумие масс лишено творческого начала, оно несет только разрушительное начало. Увы, матрица человеческого развития держит основу людского бытия, меняя только внешнюю форму. У древних греков была одна из самых коварных и жестоких богинь, богиня Ата — дочь Зевса и богини раздора Эриды, богиня обмана, заблуждения, ослепления и помрачения ума.

И первое, что происходит, самое страшное для страны — развал армии. Еще не произошло отречение царя, но его враги (не болтливые думцы, создававшие атмосферу психоза, а левые радикалы, которых никто не принимал всерьез) уже составили 1 марта и опубликовали *приказ № 1*, позволявший рядовым расправляться с офицерами, в результате армия практически перестала существовать. Был наскоро организован радикалами *Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов*, не подчинявшийся ни царю, ни Думе.

«Иосиф Гольденберг, член Совета рабочих и солдатских депутатов и редактор «Новой Жизни», говорил французскому писателю Claude Anet: «Приказ № 1 — ошибка, а необходимость. Его редактировал не Соколов; он является единодушным выражением воли Совета. В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство»» [Деникин 1921, 66].

Историк Русского Зарубежья Г.М. Катков писал:

«Приказ так и не поставили на голосование, и Исполнительный Комитет как таковой ничего о нем не знал, пока его не опубликовали, хотя этот Документ и появился за коллективной подписью. <...> Ни Соколов, ни солдаты не могли бы удержаться от неумеренности, типичной для революционного опьянения тех первых дней. Напечатанный же документ сух и сдержан, четкостью стиля напоминает Ленина» [Катков 2006, 392-394].

На что был расчет? Скорее всего, на то, что молодежь, новое поколение готово принять любую неожиданную новацию, которая ведет к перевороту существующего порядка мира.

Знаменитая прокламация «Молодой России», составленная радикалами 60-х годов XIX века, призывала к истреблению дома Романовых и всех высших сановников. Но Ленин — беспощадный враг императора (с момента казни старшего брата) — объявил царю дуэль без правил, повторяя идеи «Молодой России». Вот несколько его высказываний:

«Полоумному Николаю II отрубить голову!»; «...надо отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых» (8 декабря 1911 г.); «в других странах... нет таких полоумных, как Николай» (14 мая 1917 г.); «слабоумный Николай Романов» (22 мая 1917 г.); «идиот Романов» (12 марта, 13 и 29 апреля 1918 г.); «изверг-идиот Романов» (22 мая 1918 г.) [Ленин 21, 32, 36; 85, 215, 269, 362] и т. д., и т. п.

Как вспоминал русский мыслитель Федор Степун, современник происходившего:

«Вглядываясь в революции 20-го века, нельзя не видеть, что свойственный им дух утопического активизма связан с молодостью их вождей. Требование русских бунтарей — Бакунина, Нечаева и Ткачева — «долой ста-

риков» бесспорно сыграло в новейшей истории весьма значительную роль. Для большевистского бунта, как и для фашистских переворотов в Италии и Германии, характерна, впрочем, не только та роль, которую в них играла молодежь, но и сознание этой молодежи своей революционной роли в истории. Причин, объясняющих этот факт, много и большинство из них налицо. <...> Чувством здешней бессмертности и объясняется прежде всего революционный титанизм молодости, ее жажда власти и славы, ее твердая вера в возможность словом и делом, огнем и мечом изменить мир к лучшему — одним словом всё то, что характерно для вождей, диктаторов, героев-революционеров, чувствующих себя не смертными человеками, а бессмертными полубогами» [Степун 2000 а, 292-293].

Поэт-футурист Хлебников так выразил свое понимание движения мироздания в тексте «Октябрь на Неве»:

«Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти» [Хлебников 2004, 5, 186].

Разумеется, сам поэт не причастен к творившемуся тогда злу. Он просто выразил господствовавшее во взбаламученной стране умонастроение. А оно было вполне антиисторическим и антихристианским. Для сравнения: Христос слышал неслышимый другими голос своего Отца и повиновался ему. Хлебников задает себе и своим словам уровень **абсолютного нигилизма** по отношению к культуре:

«Мы верим в себя, — пишет он в «Трубе марсиан» (1916), — и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклонить нас в пяту. Ведь мы босы. <...> Но мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому» (разрядка В. Хлебникова. — В. К.) [Хлебников 2004, 6, кн.1, 246].

Здесь очевидна внутренняя рифмовка с «ахиллесовой пятой» («уклонить в пяту»), иными словами, будетляне выглядят почти гомеровскими героями. И далее он восклицает:

«Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печати и убедились, что груз — могильные плиты для юности» [Хлебников 2004, 6, кн.1, 251].

Можно сказать, что в этих словах звучит неплохо усвоенный Ницше, провозгласивший в своем «Заратустре» приход

человека будущего — сверхчеловека. Но, как и многие другие последователи немецкого мыслителя, русский поэт задается *практическим* вопросом, пытается понять,

«как освободиться от засилья людей прошлого»

[Хлебников 2004, 6, кн.1, 251].

На этот вопрос с успехом ответили и большевики, и нацисты. Конечно, это абсолютно революционный, а не эволюционно-творческий путь.

А что же происходило в искусстве в этот момент? Была замечательная формула в первом манифесте футуристов, «будетлян», — «бросить Пушкина, Толстого, Достоевского с парохода современности». Не сбросить, а именно бросить. Как хлам, как ненужную вещь. Манифест назывался «Пощечина общественному вкусу».

Питирим Сорокин видит у новых революционеров, лидеров толпы, не только вражду к буржуазии и самодержавию, но ненависть к старым революционерам, которые пролагали путь безумцам, считавшими себя обладателями истины, последнего слова науки, а потому готовыми на любое преступление.

«Думали ли вы когда-нибудь о себе как о реакционном контрреволюционере? — спросил я Плеханова.

— Если эти маньяки — революционеры, то я горжусь, что меня называют реакционером, — ответил основатель партии социал-демократов.

— Берегитесь, господин Плеханов, — сказал я, — в конце концов вас арестуют, как только эти люди, ваши же ученики, станут диктаторами.

— Эти люди стали даже большими реакционерами, чем царское правительство, так что чего еще мне ждать, кроме ареста? — с горечью ответил он» [Сорокин 1992, 91].

Победила, однако, языческая и нигилистическая «карамазовщина». Большевики *вполне по-карамазовски* строили свою деятельность на отрицании, на уничтожении «отцов», звавших к цивилизации страны. Скажем, был отвергнут Лениным еще в начале века даже «отец русского марксизма» Г.В. Плеханов, по воспоминаниям всех очевидцев подлинный «русский европеец». А после победы Октябрьской революции Плеханов был подвергнут таким унижениям, которые оказались равнозначны убийству. 21 мая 1918 г. Зинаида Гиппиус заносит в свой дневник:

«...Умер Плеханов. Его съела родина... Он умирал в Финляндии. Звал друзей, чтобы проститься, но их большевики не пропустили. После Октября, когда «революционные» банды 15 раз (sic!) вламывались к нему, обыскивали, стаскивали с постели, издеваясь и глумясь, — после этого ужаса, внешнего и внутреннего, — он уже не поднимал головы с подушки. У него тогда же пошла кровь горлом, его увезли в больницу, потом в Финляндию... Его убили те, кому он, в меру силы, служил сорок лет» [Гишпиус 1991, 230-231].

Священное Писание ясно и определенно различает состоянье отсутствия (или ослабления) разума как болезнь и безумие, как слепое и безрассудное отрицание Бога.

«Сказал безумец в сердце своем: «нет Бога». Развратились они и совершили гнусные преступления; нет делающего добро. Бог с небес призрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Бога?» Псалом 52. (2-5).

Что можно противопоставить этому безумию? Лекарству этому по меньшей мере две тысячи лет. Вспомним слова апостола Павла:

«Мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано: уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор. 3, 19).

Иными словами, революционеры, делавшие революцию, заставлявшие отречься царя, разваливавшие армию и государство полагали, что они строят «мир сей», но такое строительство есть безумие перед Богом. Спокойно констатирует Степун:

«Как безвыходна была бы история человечества, если бы она почти 2000 лет тому назад не осветилась бы светом христианства. <...> Чтобы не соблазниться всемогуществом зла, надо лишь понять, что истина побеждает и там, где отрицающая ее ложь, пытаясь на свой лад строить нашу жизнь, изо дня в день только разрушает ее» [Степун 2000, 292-293].

Самое главное: отречение от прошлого — есть отречение от христианства. Это прозвучало даже в стихах великого поэта Блока:

А вон и долгополый
Сторонкой за сугроб

«Клячу истории загоним!» — писал Маяковский. Пришла война, в искусстве возник модерн, который, по выражению Маяковского, писал войной. Потом постмодерн, но к нормальному христианскому разуму так и не вернулись. «Можно не писать о войне, но *надо* писать *войною!*», — утверждал Маяковский в 1914 в статье «Штатская шрапнель». Это безумие, которое уже не знало границ.

В сомнамбулическом бреде массы совершают губительные для себя и страны поступки. Потом появляется реальный безумец, который ведет всех к безумной цели, навевая им «сон золотой». С легкой руки Горького в пьесе «На дне» (1902) устами актера, процитировавшего стих Беранже, эти строчки в каком-то смысле определили умственное состояние эпохи.

Господа! Если к правде святой
Мир дороги найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

К правде святой дороги не нашли, но появился безумец, который навевал сон золотой, назвав его научной истиной по Марксу. Наука ведь истина мира сего. И толпа пошла за ним. Ленин полагал, что учение Маркса всесильно, а потому открывает человечеству путь к счастью и правде святой:

«Учение Маркса всесильно, потому что оно верно.

Оно полно и стройно, давая людям цельное мирозерцание» [Ленин 23, 143].

В гениальной книге Густава Лебона «Психология народов и масс» сказано, что для убеждения вожаками толпы необходимо, чтобы какое-нибудь утверждение повторялось не раз, тогда

«образуется то, что называется течением и на сцену выступает могущественный фактор — зараза. В толпе идеи, чувства, эмоции, верования — все получает такую же могущественную силу заразы, какой обладают некоторые микробы. <...> Умственные расстройства, например, безумие, также обладают заразительностью» [Лебон 2016, 184].

В последних сценах романа Достоевского «Преступление и наказание» Раскольников посещает видение, что в людей вселялись мельчайшие существа — трихины, превращавшие людей в безумцев, абсолютно уверенных в своей правоте. Это безумие заставляло людей убивать друг друга, чтобы доказать

свою правоту. Ленин не был ученым, каким, безусловно, являлся Маркс, но сила его убедительности была феноменальна. Он не уставал повторять, что учение Маркса всесильно, потому что верно. Он твердил, что с победой марксизма мир переходит по ту сторону необходимости. А потом наступит царство свободы, когда времени не будет. Это утверждение повторялось им неоднократно и стало убедительным как формула. Но время есть, и пока есть Бог, история длится. Очевидно, прав Василий Розанов:

«Евангелие бессрочно. А все другое срочно — вот в чем дело» [Розанов 1990, 611].

Но бред о конце истории был, и имя Маркса наполнилось невиданными энергиями. Социалистическое дело — разумно, считает Степун, а здесь, в России, произошло противное разуму:

«Вся острота революционного безумия связана с тем, что в революционные эпохи сходит с ума сам разум» (выделено мной — В.К.) [Степун 2000, 386].

ГЛАВНЫЙ БЕЗУМЕЦ ИЛИ КОНЕЦ ИЛЛЮЗИЙ

«Мы не сделали скандала, / нам вождя не доставало, / настоящих буйных мало, / вот и нету вожаков», — слова Высоцкого из песни надо бы выбить на плите, посвященной Октябрю. Массы безумны, и ждут вождя из буйных сумасшедших. Еще раз только подчеркну, что безумцы считают себя здоровыми, только со стороны можно их угадать.

Первым увидел в Ленине «прирожденного преступника», который не остановится ни перед чем и выполнит все затаенные желания массы, великий русский писатель Иван Бунин. Он писал:

«Это Ленины задушили в России малейшее свободное дыхание, они увеличили число русских трупов в *сотни тысяч* раз, они превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии...» [Бунин 1997, 69-70].

Степун замечал о Ленине:

«Как природный вождь он инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел

на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В отличие от других деятелей революции, он сразу же овладел ее верховным догматом — догматом о тождестве разрушения и созидания и сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, начерно, исполнить требование революционной толпы, чем отложить дело на завтра, хотя бы в целях наиболее правильного разрешения вопроса» [Степун 2000, 342].

Замечу, что о жестокости Ленина поначалу (до создания советского мифа для детей о добром дедушке Ленине) говорили его соратники, не только не стесняясь, но одобрительно. Скажем, Троцкий вспоминал о реакции Ленина на отмену смертной казни солдат-дезертиров:

«Вздор, — повторял он. — Как же можно совершить революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время гражданской войны, когда каждая сторона надеется победить?» [Троцкий 1990, 213].

Рождался страшный мир, и рождался он страшно. Чтобы достигнуть огромной власти, писал Бунин, нужна

«великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько сошел с ума, что среди дня спорят, благодетель он человечества или нет?» [Бунин 1997, 132].

Поразительно, что безумным его называл поначалу лишь Плеханов в связи с так называемыми «апрельскими тезисами», текст которых он увидел как парафраз чеховской «Палаты № 6» о сумасшедшем доме. Действительно, перевод мировой войны в гражданскую, о которой мечтал и осуществил главный большевик, — это почти вампирическое упоение реками крови, которые должны пролиться. Сам Ленин, по воспоминаниям сестры, прочитав повесть Чехова, почувствовал себя запертым в этой палате, выскочил на улицу и бегал по улицам. Продол-

жая игру с той темой, можно вообразить безумного доктора, вырвавшегося из палаты № 6 и всю Россию поместивший в эту палату, где сторож Никита жестоко избивал больных.

Как оценивал Ленина Морис Палеолог:

«Утопист и фанатик, пророк и метафизик, чуждый представлению о невозможном и абсурдном, недоступный никакому чувству справедливости и жалости, жестокий и коварный, безумно гордый, Ленин отдает на службу своим мессианистическим мечтам смелую и холодную волю, неумолимую логику, необыкновенную силу убеждения и умение повелевать» [Палеолог 1991, 431-432].

Наблюдательный француз продолжает:

«В скором времени Керенский будет неограниченным властелином России... в ожидании Ленина» [Палеолог 1991, 466].

И Ленин пришел.

И народ в нем увидел искомого буйного, который свое безумие укладывал в разумные слова, ибо смысл ленинских речей

«заключался не в программе построения новой жизни, а в пафосе разрушения старой. <...> Этою открытостью души навстречу всем вихрям революции, Ленин до конца сливался с самыми темными, разрушительными инстинктами народных масс. <...> В июне 1917-го года мало кому было ясно, насколько легче революции входят в логику своего безумия, чем в разум своей истины» [Степун 2000, 383-385].

Просто безумие выступало под маской разума — с уверенностью безумия. Как не раз отмечалось в психиатрической литературе, безумцы считают себя вполне здоровыми. Более того, они вполне ориентированы на публику, к которой они обращаются, причем обращаются голосом повелителя. Но в чем сила безумия? Об этом жестко и точно сказал старый мудрец Лев Толстой, сам безумный в своей анархистской программе, но к концу жизни избавившийся от многих своих иллюзий, от своего сумасшествия. В своем дневнике от 27 июня 1910 году Лев Толстой записал, что сумасшедшие всегда лучше, чем здоровые, достигают своих целей. Происходит это оттого, что для них нет никаких нравственных преград, ни стыда, ни справедливости, ни даже страха.

Я бы добавил, что самое ужасное, что **они уверены в справедливости своих слов и действий**, поэтому не имеют преград.

Если Христос обращался к каждому, говоря, что в доме Отца Его всем есть место для жизни вечной, то Ленин требовал «считать не до тысяч, как в сущности считает пропагандист, член маленькой группы, не руководивший еще массами; тут надо считать миллионами и десятками миллионов» [Ленин 41, 79].

И жалеть единиц немислимо при такой установке. Иными словами, он в принципе уничтожал шанс на жизнь у каждого, не жалея никого, особенно тех, кто хорошо ли, плохо ли проповедовал слово Христа. Перечислять все ленинские грубости, вроде того, что «боженька» — это «**труположество**», приказы о расстрелах священников не буду. Слишком много заняло бы это места. Но не могу не привести его секретное письмо Политбюро от 19 марта 1922 года, оно очень впечатляюще:

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. <...> На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть проведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь, и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше» [Известия 1990].

И далее бывший юрист предлагает **узаконить террор**:

«...Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» [Ленин 45, 190].

Впрочем, история хитра и мудра. Труположество все же случилось. Мертвое тело самого Ленина уложили в специально построенный мавзолей, где его труп наполнялся демоническими энергиями, окормляя ими народ и страну. В заключение стоит вернуться к судьбе императора.

Была дуэль Ленина и царя. Ленин царя убил. Рассказ Троцкого:

«В разговоре со Свердловым я спросил мимоходом:
— Да, а где царь?
— Конечно, — ответил он, — расстрелян.

- А семья где?
- И семья с ним.
- Все? – спросил я, по-видимому, с оттенком удивления.
- Все! – ответил Свердлов, – а что? Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил.
- А кто решал? – спросил я.
- Мы здесь решали. Ильич считал, что нельзя оставлять нам им живого знамени, особенно в нынешних трудных условиях» [Троцкий 1994, 118].

И императора, и его семью убили по-бандитски, по-пугачевски, в подвале, словно в подворотне зарезали. Трудно удержаться, чтобы не сослаться на понимание природы революции Гоббсом, заметившим, что когда люди позволяют

«некоторым из своих сограждан, которые, не представляя других чудес в подтверждение своего призвания, кроме иногда необычайного успеха и безнаказанности, могут клеветой на правительство вовлечь христианских подданных в мятеж, этим путем разрушить все законы божеские и человеческие и, опрокинув всякий порядок и правительство, ввергнуть общество в первоначальный хаос насилия и гражданской войны» [Гоббс 1991, 335-336].

Так и случилось в России, а далее потребовалось по меньшей мере столетие, чтобы выйти из хаоса безумия и вернуться в историю.

ЛИТЕРАТУРА

Арендт 2011 – *Арендт Ханна*. О революции. М.: Европа, 2011.

Блок 2005 – *Блок Александр*. Последние дни императорской власти. М.: Захаров, 2005.

Бунин 1990 – *Бунин И.А.* Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990.

Бунин 1997 – *Бунин Ив.* Великий дурман. М.: «Совершенно секретно», 1997.

Булгаков 1996 – *Булгаков С.Н.* Тихие думы. М.: Республика, 1996.

Булдаков 2013 – *Булдаков В.П.* Историк и миф. Перверсии современного исторического воображения. Вопросы философии. 2013. № 8.

Гиппиус 1991 – *Гиппиус З.Н.* Современная запись. 1914-1919 гг. // Мережковский Дмитрий. Больная Россия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991.

Гоббс 1991 – *Гоббс Томас.* Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского // Гоббс Томас. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1991.

Д'Анкос 2002 – *Д'Анкос Элен Каррер.* Ленин. М.: РОССПЭН, 2002.

Деникин 1921 – *Деникин А.И.* Очерки русской смуты. Т. 1, Paris. 1921

Известия 1990 – Известия ЦК КПСС. 1990. № 4.

Катков 2006 – *Катков Георгий.* Февральская революция. М.: Центрполиграф, 2006.

Лебон 2016 – *Лебон Густав.* Психология народов и масс. М.: Академический проект, 2016.

Ленин 21, 32, 36 – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 21. Т. 32. Т. 36.

Ленин 1973 – *Ленин В.И.* Три источника и три составных части марксизма // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23. 1973.

Ленин 41 – *Ленин В.И.* Детская болезнь левизны в коммунизме // Ленин В.И. П. с. с. Т. 41.

Ленин 45 – *Ленин В.И.* Полн. собр. соч. Т. 45.

Леонтьев 2007 – *Леонтьев К.Н.* Над могилой Пазухина // Леонтьев К.Н. Полное собрание сочинений и писем в двенадцати томах. Т. 8. Кн. первая. СПб.: Владимир Даль, 2007.

Ливен 2007 – *Ливен Доминик.* Российская империя и ее враги. М.: Европа, 2007.

Ницше 1990 – *Ницше Фридрих.* Так говорил Заратустра // Ницше Ф. Сочинения. В 2 т. М.: Мысль, 1990.

Розанов 2000 – *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000.

Розанов 1990 – *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй // Розанов В.В. Сочинения. Т. 2. М.: Правда, 1990.

Пайпс 1994 – *Пайпс Ричард.* Русская революция. Часть первая. М.: РОССПЭН, 1994.

Палеолог 1991 – *Палеолог Морис.* Царская Россия накануне революции. М.: Политиздат, 1991.

Солженицын 2016 – *Солженицын А.И.* Размышления над февральской революцией. Черты двух революций. М.: Колибри, 2016.

Сорокин 1992 – *Сорокин П.А.* Дальняя дорога. Автобиография. М.: Моск. Рабочий, ТЕРРА, 1992.

Степун 2000 – *Степун Ф.А.* Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000.

Степун 2000 а – *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетейя, 2000.

Степун 2000 б – *Степун Федор.* Из писем прапорщика-артиллериста. Томск: Водолей, 2000.

Троцкий 1990 – *Троцкий Л.Д.* К истории русской революции. М.: Политиздат, 1990.

Троцкий 1991 – *Троцкий Лев.* Моя жизнь. Опыт автобиографии. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1991.

Троцкий 1994 – *Троцкий Лев.* Дневники и письма. М: Изд-во гуманитарной литературы. 1994.

Хлебников 2004 – *Хлебников В.* Собрание сочинений. В 6 т. М.: ИМЛИ РАН, 2004.

Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга, Калуга-Марс, 1924.

Оксана Назарова

Предисловие к публикации

Переводчица выражает благодарность редакции альманаха «Вторая Навигация» за предоставленную возможность продолжить публикацию переводов статей, которые были написаны С.Л. Франком в сотрудничестве с русским эмигрантским обществом «Die russische Bruderhilfe»¹ и опубликованы в немецкоязычном журнале «Liebet einander»², издававшемся обществом в 1931-1940 гг. в городе Лемго, расположенном недалеко от Берлина. Тираж журнала в 1939 году достигал 10 000 экземпляров. В 1940 году журнал был закрыт «именем тайной полиции Берлина и с согласия министра народного образования и пропаганды» на основании §1 постановления Президента для защиты народа и государства от 28 февраля 1933 года. В настоящее время лишь единичные экземпляры этого журнала сохранились в нескольких немецких библиотеках и разыскать их удалось только в этом году благодаря завершённой в Германии дигитализации немецких библиотечных фондов и созданию единых библиотечных каталогов.

Из 17 написанных Франком для «Liebet einander» статей мною уже были переведены и опубликованы три — «Результаты большевистской борьбы против веры в России, достигнутые к настоящему времени», «Бегство современного человека от Бога», «Восточная церковь и идея экуменизма»³.

Предлагаемые вниманию читателей статьи «Красная Россия» и «Святая Русь» и «Большевизм и душа русского народа» полностью отвечают как идеологии Общества, которое стремилось донести до западноевропейцев информацию о нарушении прав человека, о страданиях верующих и о тяжелейшем положении церкви в Советской России, так и тематическим доминантам первых лет эмиграции Франка, к которым можно отнести осмысление и критику большевизма, критику движения безбожников, освещение мученического положения русской православной церкви и страданий русского народа в Советской России. Эти статьи проникнуты верой в силу духа — как на-

¹ «Русская братская помощь» (нем.).

² «Любите друг друга» (нем.).

³ Философские науки. М., 2007, № 2, с. 10-29.

рода, так и отдельного человека — и верой в непобедимость его животворящей основы — связи с Богом. Они заслуживают не только исторического (в связи со 100-летием Октябрьской революции) или идеологического рассмотрения, но могут быть проанализированы и в широком контексте творчества Франка — в контексте тех тем, которые волновали его в поздний период эмиграции — проблемы теодицеи и богочеловечности человеческого бытия.

Семен Франк

Большевизм и душа русского народа¹

Вот уже 17 лет русский народ живет, угнетаемый деспотическим коммунистическим правительством. Оно переkreило до основания все прежние социальные отношения (верхние слои лишились собственности, интеллектуалы уничтожены, крестьяне-частники превращены в рабочих на коллективных и государственных предприятиях и почти все профессии и области жизни огосударствлены), все граждане, если принять во внимание их внешнюю жизнь, превратились в рабов государства. Но это не все. Оно претендует на то, чтобы преобразовать **душу русского народа** в самом ее основании, и осуществляет это со всей бесцеремонностью азиатского деспотизма. Русский человек, испокон веку религиозный по своей сути и всегда находивший в христианской вере нерушимое прочное основание всего своего жизнеустройства и жизнеустроения (хотя в своей жизни он на самом деле грешил так же, как и другие люди, а может быть и больше, чем они) — этот русский человек должен превратиться в чистого **атеиста, богоотрицателя**, а его единственной верой должно стать плоское и лишнее утешения учение марксизма. Он должен научиться не ценить в жизни ничего, кроме хозяйственных интересов, и почитать классовую борьбу как необходимый факт социальной жизни, преодоление которого возможно лишь путем уничтожения классового врага социализма. Значит, он должен научиться ненавидеть всех противников социализма, всех инакомыслящих, и быть всегда готовым вести безжалостную — вплоть до физического уничтожения — борьбу с ними. Он должен научиться презирать любое смирение, любое признание человеческой слабости как грубое заблуждение и видеть в человеческом разуме, в человеческом своеволии — которое для него, конечно же, должно воплощаться в волеизъявлении его коммунистического вождя — непогрешимую силу, которая будет вести человека к счастью и процветанию. Основным фактом и основным условием всего этого является именно то, что **он должен отрицать веру в Бога как бессмысленный предрассудок или как хитрую**

¹ Der Bolschewismus und die Seele des russischen Volkes // Liebet einander. Lemgo, 1934, November, S. 155-159.

ложь, выдуманную его врагами с целью его эксплуатации и оглуления. Уже не раз нынешние правители России с гордостью и уверенностью заявляли, что в течение нескольких лет вера в России будет окончательно истреблена, да и что само слово «Бог» не будет иметь для русского человека никакого смысла и исчезнет из русского языка.

И тут для всех противников большевизма и атеизма, для всех, кто в вере, в духовных ценностях усматривает высшее и абсолютно необходимое основание личной и национальной жизни, возникает тревожащий душу вопрос: Что же в таких обстоятельствах произошло с душой русского человека? Это на самом деле очень серьезный вопрос, поскольку нужно открыто признать, что осуществление первой части коммунистической программы — радикальное преобразование всей внешней жизни — большевистскому правительству безусловно удалось. Разумеется, платой за эту удачу стало благосостояние и свобода русского народа, оно несомненно не принесло ожидаемого и обещанного счастья, но повергло русский народ в пучину глубочайшего бедствия, голода и рабства. Кроме того, чудовищная машина социалистического государства рабов функционирует очень плохо, с большими перебоями, отсутствует четкость организации, все предпринимаемые меры должны постоянно изменяться, и само правительство время от времени вынуждено подтверждать, что исполнительные правительственные органы вследствие неправильного планирования или недобросовестности просто-напросто бесполезно расточали огромное количество материальных ресурсов и человеческих жизней. Однако именно благодаря этим ужасным издержкам и со всеми неожиданными неприятными последствиями запланированное преобразование всей социальной и хозяйственной жизни все-таки воплощается в действительность. А теперь давайте спросим: можно ли наблюдать такой же успех уничтожающих планов большевизма также и в духовной области, т. е. в отношении души русского человека? При этом нужно отдавать себе отчет в том, что в атмосфере грубого насилия, поддержанной и профинансированной государством пропаганды безбожия, полного подавления инакомыслия, выросло уже целое поколение, ничего не знавшее кроме большевистского уклада жизни и большевистского учения.

Нельзя отрицать, что мы располагаем весьма скудными знаниями о том, что на самом деле происходит в душе русско-

го народа, поскольку любое свободное выражение мнения в России находится под полным запретом. И все же у нас есть надежные свидетельства того, что современным властителям России **не** удалось и не удастся воплотить **эту** часть большевистской программы — преобразование русской души. В первую очередь укажем на то, что руководители движения безбожников систематически вынуждены признавать неэффективность применения принудительных мер против религиозной веры, да, они постепенно убеждаются в том, что одно голое насилие не только не может уничтожить религиозную веру, но наоборот — усиливает ее. Именно поэтому большевики столь большое значение придают пропаганде, мнимо «научному» объяснению в этой области. Как обстоят сейчас дела с этой пропагандой? И здесь большевики вынуждены постоянно соглашаться с тем, что на самом деле они не добились успеха в осуществлении этой задачи. От попыток разложить православную церковь изнутри благодаря поддержке социалистически настроенных церковных новообразований (так наз. «живая церковь», «обновленная церковь» и т. п.) само правительство должно было отказаться, поскольку они потерпели полное крушение. Конечно же, коррумпированная (порочная) часть [православного] духовенства заявляла при этом, что народ решительно отказывается следовать за ним и крепко держится новопривитой веры. К настоящему времени эти поддельные церковные новообразования исчезли из русской церковной жизни, не оставив и следа. Так же, не оставив следа, преодолены и почти все напряжения внутри православной церкви, возникшие в суматохе первых революционных лет и по причине ареста наиболее почитаемых священников. Вопреки ужасающей материальной нужде и бедственному правовому положению церковь в Советской России остается единой. Большая часть церковных зданий была разрушена правительством или отобрана у верующих и используется в иных целях. Однако оставшиеся церкви, как следует из всех сообщений, всегда переполнены. Невозможно составить точное представление о том, какую часть населения — большую или меньшую — в сравнении с прошлыми годами образуют прихожане. В любом случае в богослужениях участвуют люди всех сословий и всех возрастных групп (в том числе дети и молодежь). И если принять во внимание, что посещение церкви несет с собой постоянную опасность — в лучшем случае любой

нежелательный человек (а все верующие рассматриваются как нежелательные и враждебные элементы) может потерять свою работу и тем самым оказаться практически приговоренным к голодной смерти — то уже этот внешний факт говорит многое.

Тревожиться тут приходится, в основном, за подрастающее поколение — детей и молодежь. Что происходит сейчас в их душах? К сожалению, мы должны признать, что правительству и безбожникам частично удалось сформировать мировоззрение молодежи в желаемом ключе, т. е. разложить ее внутренне. Даже не принимая во внимание факт появления целой армии беспризорных молодых преступников, можно быть уверенным в том, что в Советской России можно встетить много молодых людей, которых научили в школе, в Союзах безбожников, в коммунистических союзах молодежи воспринимать веру в Бога как отсталый предрассудок. Но вместе с этим из сообщений самих большевиков можно услышать и о проявлениях страстной и убежденной веры среди молодежи. Когда душа здорова, то результат воздействия на нее бесцеремонной, поощряемой или напрямую предписанной государством пропаганды безбожия зачастую оказывается совершенно иным: официальная дрессировка на безбожие воспринимается как надоедливая и скучная, становится очевидной его внутренняя пустота, и в качестве протеста против этого возникает особый интерес к вере как запрещенному и преследуемому духовному направлению.

Приняв во внимание положение дел и все, что слышно оттуда, можно прийти к заключению: дух, душа человека, его внутренняя жизнь противится принуждению и не дает возможности долгое время командовать собой, а кроме этого, он не допускает перестройки своих основ путем внешнего воздействия пропагандистскими и воспитательными методами. Внутренней жизнью человека управляет Бог! И если русский народ, согласно своей внутренней сущности, принадлежит к одним из самых верующих народов Земли, если русский человек с самого начала устроен так, что он постоянно стремится к цели, которую он обозначает непереводаемым русским словом «правда», что приблизительно означает «истина» в смысле подлинной, жаждущей Бога, справедливой жизни, то все внешние средства, в том числе пропаганда и воспитание, и в будущем останутся бессильными. Этот человек может пасть жертвой очень опасного и тлетворного заблуждения, он может временно в своих словах,

своим рассудком отрицать Бога и бороться с верой. Однако его сердце при этом не перестает тосковать по Богу, его внутреннее, ему самому зачастую неизвестное существо продолжает быть связанным с Богом. Глубокие слова великого учителя церкви Августина: «Ты нас создал для себя, и наше сердце будет неспокойным, пока не успокоится в Тебе» — эти слова, которые касаются всех людей, имеют особое применение к русскому человеку. Это вселяет уверенность в том, что и большевизм, в свою очередь, не сможет уничтожить это внутреннее существо русского человека, изменить его в его первоосновах.

Замечательное и дарующее утешение подтверждение этого положения вещей мы сейчас находим в духовном движении, которое возникло, понятным образом, за пределами Советской России, но при этом в среде самобытного русского населения. В нынешней Эстонии, на граничащих с Россией территориях существуют округа, населенные русскими крестьянами. Как сообщает русский журнал «Возрождение», не так давно там прошел съезд **русской христианской крестьянской молодежи**. Русское христианское молодежное движение в эмиграции (среди переселенцев) до сих пор объединяло лишь русскую молодежь из образованных кругов. Другие слои населения в эмиграции практически не представлены. Теперь мы узнаем, что это движение внезапно охватило самобытное, издавна проживающее на территории современной Эстонии русское крестьянство. Названный съезд был весьма успешен. На нем можно было услышать не только красивые и запоминающиеся выступления, но и горячие молитвы; участники исповедовались и переживали вместе таинство святого причастия. По сообщениям, для участников это было потрясающее по своей силе переживание, все ощущали, что здесь была заложена основа для великого, затрагивающего весь русский народ явления.

Это событие весьма характерно для современного состояния души русского народа. Молодые русские крестьянские сыны торжественно обещали посвятить всю свою жизнь христианской вере и возрождению русской жизни в духе этой веры. Конечно можно было бы возразить, что это все же происходит за пределами Советской России, т. е. на территории, где отсутствует коммунистическое принуждение и давление пропаганды безбожия, и потому не может быть использовано для оценки духовного положения в самой России. Но если принять во

внимание тот факт, что, с одной стороны, давление, как уже говорилось выше, не может оказывать решающего воздействия на внутреннюю жизнь, а с другой стороны, что коммунистическая пропаганда постоянно выходит за пределы Советской России и особенно ревностно поддерживается на близлежащих территориях, и что, в конце концов, проживающие на них русские крестьяне чувствуют себя внутренне принадлежащими к России и в силу этого неправильно понятого национального чувства долгое время сохраняли дружелюбие по отношению к коммунистам, становится понятным, что это возражение все же не имеет решающего значения. Наоборот, можно с полной уверенностью утверждать, что в общем и целом русские крестьяне этих приграничных районов в большей мере были заражены коммунистическими идеями, чем крестьяне в самой Советской России — именно потому, что они знали коммунизм только лишь со слухов, а не через опыт страшной действительности. Поэтому это новое движение несомненно является признаком духовного возрождения души русского народа. Эта душа именно сейчас со страстной пылкостью вновь стремится ко Христу. Вера прежних, спокойных времен, которая у многих была чересчур вялой и слабой, теперь, после великого прегрешения русского народа и после сурового наказания, которое Бог послал этому народу, после ужасных страданий и разочарований, сменяется раскаленным сознанием раскаяния и горячей любовью ко Христу. И хотя это пока было глубоко осознано лишь небольшой частью народа — начало положено, и за ним последует продолжение. **Святая церковь Христова сохранит свое присутствие также и в душе русского народа и врата Ада не одолеют ее².**

Перевод с немецкого Оксаны Назаровой

² Мф. 16, 18.

Семен Франк

«Красная» Россия и «Святая» Русь¹

Загадочный и болезненный факт, с которым вынужден постоянно конфронтировать как любой религиозно настроенный русский, так и интересующийся Россией нерусский человек состоит в том, что Россия, названная в прежние времена в силу ее особой набожности «Святой Русью», вдруг превратилась в безбожную и бесчеловечную, жестокую, аморальную «Красную Россию». Как и почему это могло случиться? И действительно ли «Русь», бывшая когда-то «Святой», исчезла безвозвратно? Была она лишь фантомом, никак не связанным с подлинной реальностью? Как могла глубокая внутренняя вера в Бога вдруг превратиться в неверие, освободить место преступному безумию большевизма?

Среди политически ангажированных, но лишенных религиозной настроенности противников большевизма весьма распространенной является точка зрения, согласно которой речь в данном случае может идти лишь о неудачной исторической случайности, которая повлекла за собой чудовищность произошедшего. Они полагают, что череда злополучных для России событий позволила небольшой кучке чуждых народу людей — революционерам, неверующим, переполненным ненавистью интеллектуалам (особую роль среди которых играли евреи) — захватить власть над русским народом и, вопреки воле всего русского народа, навязать ему безбожный, греховный, жизнеуничтожающий режим. Да, нельзя поспорить с тем, что большевизм сейчас господствует вопреки воле народа и вызывает внутреннюю ненависть у всего народа. Этот неоспоримый факт находит свое подтверждение уже в том, что и спустя 17 лет большевистский режим не потерпел крушение лишь потому, что он основан на ужасающем терроре, массовом уничтожении людей и депортациях, порабощении всей жизни. Все рассуждения о восхищенном признании господствующей системы со стороны русского народа есть бессовестная ложь. Но в этой связи возникает совершенно иной вопрос: каким образом большевизму удалось захватить власть вопреки своей

¹ Das «rote» und das «heilige» Rußland // Liebet einander. Lemgo, 1934, April, S. 53-57.

противоестественности и ненавидимости? И в этом отношении указанная точка зрения с ее простым объяснением является ошибочной как в трезво-историческом, так и в религиозном отношении. Что касается первого, то нужно кратко заметить, что без согласия и содействия в определенный момент как минимум некоторой части русского народа большевизм никогда не смог бы оказаться у власти. Говоря об участии евреев, следует согласиться с тем, что неверующие и революционно настроенные евреи действительно сыграли большую роль в перевороте. Но ведь на их стороне равноправно оказывались и в том же духе настроенные урожденные русские. Ленин — основатель и первый «оформитель» большевизма, без сатанистского фанатизма, беспринципности и хитрости которого большевизм скорее всего вообще не смог бы возникнуть, был урожденным русским, сыном мелкого русского дворянина-помещика; настоящими русскими были и очень многие из его влиятельных сторонников. Приглядевшись к русской политической истории последних 100 лет, сразу же убеждаешься в том, что зерно большевизма было посеяно давно и сделано это было урожденными русскими. Уже в 20-е годы 19-го века в кругах молодых дворян, гвардейских офицеров возникло тайное революционное общество, стремившееся к свержению монархии и основанию республики, которая — взяв за образец французскую революцию — должна была быть основана на радикальных политических и социальных идеях. Организованный этими кругами в декабре 1825 года военный мятеж был тогда подавлен. Уже в 30-х и 40-х годах западноевропейские социалистические идеи были восторженно приняты в кругах русской интеллигенции. Начиная с 60-х и 70-х годов прошлого столетия в России существовало социалистическое революционное движение; на царя Александра II, «народного освободителя» (упразднившего крепостничество) был совершен целый ряд покушений; он погиб в 1881 году во время последнего из них. Руководящую роль при этом играли не чуждые народу элементы, но коренные русские, в особенности девушка из дворянского сословия, дочь министра, Софья Перовская. С 90-х годов и в особенности в 20-м веке усилия революционеров были направлены на то, чтобы заручиться поддержкой народа. Последние двадцать лет русской монархии были наполнены постоянными волнениями среди рабочих и крестьян, а также мятежами. И поэтому нельзя удивляться

тому, что Ленин и его сторонники после войны, в конце концов, нашли поддержку со стороны взбудораженных народных масс. Разумеется, некоторая часть бывших революционеров с ужасом отвернулась от радикальных выводов, которые сделал большевизм из их учений, но они были вынуждены пожинать то, что сами посеяли. Ленин и его товарищи пришли к власти при поддержке революционной армии, которая состояла из молодых рабочих и крестьян, а когда после этого была развязана гражданская война, большая часть народных масс покинула «белую армию», боровшуюся против большевизма, и именно это послужило основной причиной того, что она не смогла достигнуть своей цели. Нельзя отрицать постыдный и ужасный факт: сам русский народ — а скорее, как это всегда случается в революциях, его активное и фанатично настроенное меньшинство — подтолкнул себя к злоключениям, когда он сам, поддавшись фатальному заблуждению, подменил «Святую Русь» «Красной Россией». Уже вскоре после этого произошло отрезвление, глубокое раскаяние, но было поздно. И вот уже 17 лет русский народ оплачивает свой грех неопишущим страданием, и лишь одному Богу известно, как долго будет длиться это вознагражденное страдание.

Таково историческое положение дел. Для религиозного сознания то же самое ясно с самого начала. Христиански настроенный человек — равно как и народ — ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать себя в качестве невинной жертвы несчастных обстоятельств или чуждых, злых сил, и полагать, что в его несчастьях виноват кто-то другой. Это необходимо принимать лишь как заслуженную кару Господню за собственные грехи.

Неизменным остается: сама Россия, названная когда-то «Святой Русью», **своим собственным грехом** спровоцировала ужасный, адский кошмар «Красной России», и нельзя избежать вопроса о том, как это произошло.

Начнем с того, что, конечно же, было бы ошибкой полагать, что прежняя Россия, которая называлась «Святой Русью», была безгрешной. Именно в том случае, когда народ, равно как и человек, начинает выдавать себя за безгрешного, он рискует оказаться несвятым народом. «Святой» прежняя Россия была названа потому, что, несмотря на множество и тяжесть грехов, она не переставала почитать святость и признавать свои грехи.

В своем великом состоянии греховности этот удивительный народ внутренне всегда находился **перед Богом**. В политике, в жизненных устоях, в частной жизни им совершалось много греховного — может быть больше, чем другими, нравственно образованными народами Запада; даже сама христианская церковь в ее человеческом облике привлекла на себя множество грехов, поддерживая мирское насилие со стороны государства. Однако во внутреннем существе народного сознания не исчезала праведная вера, свято горевшая в удаленных монастырях, в душах великих святых, но также находившая свое выражение и в образе жизни простых, покорных людей. Равно и для грешных русских людей в глубине души все-таки существовал лишь один настоящий Господин — Иисус Христос, лишь одно стремление — к Царствию Господню и его справедливости. Все то, что имело значение для других народов, русскому человеку в его глубочайшей внутренней сущности казалось ничтожным и лишенными ценности.

Это была истинно религиозная установка, которая позволяла русскому народу с полным правом воспринимать себя самого как «Святую Русь». Неужели могло так случиться, что именно это послужило причиной глубочайшего и ужасающего заблуждения? И тем не менее это так. Латинская поговорка гласит: Извращение лучшего ведет к худшему². Так произошло и с Россией. У того, кто верит лишь в одного Бога, нет ничего, кроме Бога; и если он однажды отказывается от веры, его душа оказывается полностью опустошенной и отдается на откуп всем злым силам. Право, справедливость, уважение к человеческой личности, святость труда, собственности, брака и семьи — все было основано на вере в Бога; все должно было обрушиться и одичать, уступить место необузданным, преступным чувствам, как только она лишилась этой своей основы. Западноевропейский человек, по меньшей мере его образованные круги, смог бы продолжать вести благопристойную и правоупорядоченную жизнь, даже утратив в своем сознании веру в Бога; он продолжал бы верить в нравственные и государственно-правовые ценности. Разумеется, в этом случае, как и в человеческой жизни вообще, вера была и остается истинным и единственным прочным основанием, поскольку неверие всегда и везде приводит к гибели. Однако при этом эта вера

² Corruptio optimi — pessima! — О.Н.

могла бы оставаться неосознанной, а все основы социальной жизни все же не рухнули бы в одночасье. Благопристойный западноевропеец может продолжать почитать государство, право и моральные требования, не имея представления о том, что предельным основанием всего этого является религиозная вера. Для типично русского человека это невозможно. Если для русского перестает существовать Бог, то вместе с ним исчезает вся человечность и нравственность, рушатся препятствия для злых, преступных чувств, которые в этом случае являют себя в своей необузданности. Именно это произошло в душе русского народа в тот трагический момент, когда в ней исчезла вера в Бога. «Святой Руси», которая внезапно отреклась от своей святости, не оставалось ничего иного, как превратиться в крайне фанатичную «Красную Россию».

Кто-то в этом случае мог бы возразить: Чего стоит вера в Бога, которая настолько овладевает душой человека или народа, что рядом с ней не остается места для признания необходимых **человеческих** ценностей, когда неверие тот час приводит к краху всей социальной жизни? На это мы должны ответить: как уже было сказано, связь всех человеческих ценностей и всех основ благопристойной, социальной жизни с верой в Бога не является преференцией русского народа, но относится ко всем людям и ко всем народам. Особенность русского образа мышления состоит лишь в том, что эта связь в нем проявляется **самым чистым, ясным, простым способом**. Все остальные народы были бы вынуждены рано или поздно пойти по тому же ужасному пути, по которому пошел русский народ, потеряй они внезапно веру в то, что надо всеми государственными, национальными, человеческими ценностями стоит безусловная, определяющая все остальное ценность верующего отношения человеческой души к Богу. Несчастный русский народ оказался предопределенным для того, чтобы своей судьбой сделать очевидной эту великую истину всего мира.

Вопрос о том, как случилось так, что русский народ или, точнее, часть его на долгое время утратила веру, мы оставим здесь без внимания, поскольку на него, равно как и на вопрос о том, что происходит в последних глубинах человеческого сердца, ни в коем случае нельзя ответить путем внешнего объяснения. Гораздо важнее нечто иное: Жива ли еще, потаенно под «Красной Россией», «Святая Русь»? Проснулась ли вновь

в русском народе религиозная совесть, осознание грехов и вера в Бога или она утеряна безвозвратно? Для каждого, кто знаком с возвышающим мученичеством русской церкви под властью большевиков, для каждого, у кого есть достоверные сведения о том, что сейчас происходит в скрытом существе русской души и русской жизни, не остается сомнения: именно во времена господства фанатичной «Красной России» происходит чудесный процесс внутреннего духовного просветления и пробуждения к новому, чистому блеску «Святой Руси». Не так давно репортер локальной газеты из Москвы рассказывал о том, что на Пасхальное бдение (в ночь с вечера субботы на пасхальное воскресенье, когда празднуется праздничная пасхальная служба с ее призывом «Христос воскрес») все церкви были переполнены настолько, что он был не в состоянии не только войти в церковь, но и даже приблизиться к ней — так плотно вокруг церквей стояли люди. Принимая во внимание то, что в Советской России воскресенье является не выходным, но рабочим днем, в который люди рано утром должны идти на работу, что правительство применяет все меры к тому, чтобы народ отвернулся от церкви, и что посещение богослужения для каждого русского по сути дела является **подвигом**, при котором он ставит на кон все свое материальное существование, а иногда и свою жизнь, можно составить представление о том, что означает для нынешних русских, находящихся под гнетом красной России, святой призыв «Иисус воскрес» и впечатляющий ответ церковного хора «Воистину воскрес». Это ликующий, триумфирующий призыв пробудившейся «Святой Руси», непреодолимую силу притяжения которой чувствуют все русские сердца. Христос воистину воскрес, и также воистину воскреснет, точнее, тайно **уже** воскресла «Святая Русь».

Перевод с немецкого Оксаны Назаровой

Лешек Колаковский

Тоталитаризм, или величие лжи

По плодам узнаете их

Законность понятия «тоталитаризм» время от времени ставится под сомнение. Дело в том, что модель тоталитарного общества нигде не была реализована до конца: ни в одном из государств, на которые обычно ссылаются как на образец такого общественного устройства (СССР, особенно при Сталине, гитлеровская Германия, Китай Мао Цзэдуна), не осуществлен идеал монолитной сплоченности руководства и ничем не ограниченной власти.

Это возражение нельзя считать серьезным. Все понимают, что для большинства понятий, описывающих общественно-политические явления широкого масштаба, в реальной жизни не может быть абсолютно точных соответствий. Капитализм тоже никогда не существовал в чистом виде, но это не мешает нам отличать капиталистическую экономику от докапиталистической и пользоваться всеми выгодами этой классификации. Полной свободы не бывает, однако деление обществ и государств на свободные и деспотические не становится от этого менее убедительным.

Если же говорить о тоталитаризме, то примеры, приведенные выше, куда ближе к своему идеальному прототипу, чем любое капиталистическое общество — к научному определению капитализма. (Пытаясь дезавуировать понятие тоталитарного строя, некоторые уверяли, что на самом деле в Советском Союзе существует плюралистическое общество, так как де и там есть группы, борющиеся за власть. Аргумент совершенно абсурдный. В таком случае все политические режимы, когда-либо существовавшие, были «плюралистичны».)

Возникновение государства, притязающего на неограниченный контроль над всеми сферами человеческой жизни, государства, которое ликвидирует гражданское общество и распространяет свою власть на все, что есть в стране, на каждого гражданина и каждую вещь, — невозможно объяснить какой-то одной причиной. Привлекательность власти — в ней самой, а не только в богатстве и привилегиях, которые она дает. Однако властолюбие, присущее людям, само по себе еще не объясняет

феномен тоталитаризма. Тиранические режимы прошлого в большинстве своем не были тоталитарными, они не стремились контролировать все виды человеческой деятельности и превратить своих подданных целиком — физически и духовно — в собственность государства. Можно спорить о том, насколько применим термин «тоталитаризм» к тем или иным эпохам и странам, к Древнему Китаю, к царской России, к некоторым теократическим обществам или даже к первобытному строю; ясно, однако, что тоталитаризм в современном понимании этого слова неотделим от истории социалистических идей и социалистического движения. Разумеется, социализм и тоталитаризм — отнюдь не синонимы. Все классические типы тоталитаризма в Европе — русский большевизм, немецкий нацизм, итальянский фашизм — были скорее незаконнорожденными детьми социалистической традиции; и все же эти бастарды сохранили несомненное сходство со своими родителями.

Возникшая в начале XIX столетия социалистическая идея была ответом на социальные беды, порожденные промышленной революцией, — нищету и бесправие рабочего класса, кризисы, безработицу, общественное неравенство и алчность, сокрушающую все традиционные устои. Эти впечатления жизни подкреплялись настроениями, исходящими из кружков реакционных романтиков и теоретиков крепнущего национализма. Ядром социалистической идеологии оставалась, однако, «социальная справедливость» — представление, о котором никогда не существовало полного единства мнений. Социалисты всех направлений сходились на том, что общество должно взять на себя контроль над производством и распределением материальных благ (не обязательно с запрещением частной собственности и введением единой государственной экономики). Предполагалось, что общественный контроль обеспечит всем людям сытую и счастливую жизнь, устранил экономический хаос и расточительство, неслыханно поднимет производительность труда и ликвидирует «нетрудовые доходы» (еще одно понятие, так и не получившее удовлетворительного определения). Большинство адептов социализма отнюдь не придерживались тоталитарного образа мыслей; иные даже яро выступали за свободу и независимость духовной жизни.

И все-таки в «государственном» социализме — то есть в тех социалистических учениях, которые делали упор на госу-

дарственную власть как гарант общественной справедливости и источник разумной экономической деятельности, — можно обнаружить зерна тоталитаризма. Едва родившись, марксизм еще в прошлом веке испытал атаки прежде всего со стороны анархистов, увидевших в нем проповедь беззастенчивой тирании государства. История, увы, убедила нас в справедливости этих обвинений. До поры до времени недемократическую природу марковского социализма маскировал компонент учения, созвучный духу XIX столетия, а ныне, как кажется, полностью дискредитированный, ибо он слишком напоминает стремление принять желаемое за действительность: компонент квазинаучной предопределенности, исторического детерминизма, заимствованный отчасти у Гегеля, отчасти у сен-симонистов. У деятелей Второго Интернационала вера в детерминизм была, с одной стороны, источником уверенности, что они владеют истиной, а с другой — предостерегала против насилия над историей. Отсюда возникло представление о социализме как результате постепенной эволюции общества; оно-то и легло в основу ортодоксально-центристской доктрины социал-демократии.

Двадцатый век принес с собой кризис социалистической идеи. Это выразилось, в частности, в том, что было выдвинуто утверждение — и нельзя сказать, чтобы уж совсем необоснованное, — что если полностью полагаться на «законы истории» и ждать, пока капитализм «экономически созреет» для революции, то с социалистическими надеждами придется попросту распрощаться. Появились социалисты, для которых высшими ценностями стали революционная воля и умение использовать политическую обстановку, удобную для захвата власти. Именно они стали духовными и политическими отцами двух тоталитарных разновидностей социализма — фашизма и большевизма (сходство идеологии Ленина и Муссолини весьма убедительно показал Д. Сеттембрини).

Обе доктрины тоталитарного социализма — националистическая и интернационалистическая — делали упор на общественный (читай: государственный) контроль над производством и потреблением. В этом отношении советская, китайская и родственные им модели оказались, конечно, гораздо последовательней, чем итальянский или немецкий вариант. В России была осуществлена тотальная национализация средств

производства, распределения и информации, благодаря чему был заложен фундамент для Великого невозможного — всеобъемлющего планирования. Понятно, почему стопроцентная тоталитарная система возможна лишь в условиях социализма: она немислима без всеохватывающего государственного контроля над экономикой. Но и после победы социалистической революции система эта утвердилась не сразу. Советский Союз, например, просуществовал 12 лет, прежде чем удалось превратить сельскохозяйственное производство и самих крестьян в государственную собственность. Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии вообще не успели дожить до полной национализации экономики. С этой точки зрения они выглядят менее тоталитарными, ибо определенные секторы экономики еще сохраняли в этих странах относительную самостоятельность. Что, конечно, не значит, что они были «лучше»: в определенных отношениях нацизм был еще более варварским режимом, чем большевизм.

Так или иначе, но и там, и здесь всемогущая идеология попрала идею социальной справедливости. Ведь она провозгласила право для некоторой избранной части человечества — высшей расы или нации, передового класса или партии — установить свою бесконтрольную власть. Право это предназначено якобы самой историей. В обоих случаях захват власти был совершен под лозунгами, апеллирующими к классовой ненависти и зависти. Зависть стала революционной силой. Ближайшей целью было уничтожение существующих элит — аристократической или бюрократической, плутократической или интеллектуальной, которые предстояло заменить — по принципу «из грязи в князи» — новым политическим классом. Нет надобности говорить о том, что лозунг равенства, если он и играл какую-то роль, не мог надолго пережить захват власти.

1. Ложь — это правда

Никакое современное общество не может существовать без законности — доказывать это значило бы ломиться в открытую дверь. Законность в тоталитарном государстве может быть только идеологической. Тотальная власть и тотальная идеология опутывают друг друга. При этом, однако, идеология тотальна в более строгом смысле; во всяком случае ее притязания про-

стираются намного дальше, чем стремления и цели какого бы то ни было религиозного вероучения. Она не только хочет охватить все сферы духовной жизни, не только непогрешима и общеобязательна. Идеология ставит перед собою цель (к счастью, недостижимую) господствовать над жизнью каждого человека до такой степени, чтобы фактически заменить собою личную жизнь, заменить индивидуальное мышление набором лозунгов. Другими словами, она хочет уничтожить частную жизнь. Это значительно больше предписаний любой религии.

Такая роль идеологии делает понятными и естественными особое назначение и специфическое значение лжи в тоталитарном государстве — функцию настолько своеобразную и творческую, что самое слово «ложь» кажется здесь каким-то неподобающим.

Принципиальная важность лжи в коммунистической тоталитарной системе была отмечена еще в начале тридцатых годов Анте Чилигой, бывшим членом компартии Югославии, а затем советским заключенным, автором книги «Страна большой лжи» (вышедшей, правда, лишь в 1938 г.). Однако понадобился гений Оруэлла, чтобы обозреть предмет с более общей точки зрения.

Чем занимается персонал Министерства Правды, где работает в 1984 году герой Оруэлла? Эти люди старательно уничтожают документальные свидетельства прошлого и печатают новые, исправленные издания старых журналов и газет. При этом они знают, что новая версия прошлого тоже не окончательная; скоро и ее придется переписывать. Цель — заставить народ забыть все на свете: умерших людей, слова, факты, географические названия. Как велики успехи в уничтожении памяти — не совсем ясно; но работа ведется всерьез и достигнутые результаты, во всяком случае, впечатляющи. Пусть не удалось пока добиться полной амнезии, зато есть надежда, что это в конце концов произойдет.

Давайте посмотрим, как выглядел бы такой идеал. Люди помнят только то, что их научили помнить сегодня; завтра, если понадобится, содержание их памяти будет полностью изменено. И они на самом деле верят, что то, что произошло позавчера и что было зафиксировано в их памяти вчера, по сегодняшним данным вовсе не происходило — вместо этого произошло что-то другое. Затем это «что-то» тоже упраздняется,

и так далее. В итоге они перестают быть людьми. Сознание, по Бергсону, есть не что иное как память. Существо, чью память можно контролировать и произвольно менять извне, не является человеческой личностью.

Этого и хочет добиться тоталитарный режим. Люди, самое сознание которых, если можно так выразиться, национализировано, превращено в достояние государства, всецело находясь в руках своих правителей; они отчуждены от своего «я», беспомощны и, конечно же, не способны усомниться в том, что им навязывают в качестве непререкаемой истины. Они не мыслят, не творят, они пассивны и даже могут быть по-своему счастливы, могут искренне любить Большого Брата — цель, успешно достигнутая при перевоспитании оруэлловского героя Уинстона Смита.

Столь эффективное применение лжи любопытно не только с политической точки зрения, но и с точки зрения теории познания. Если следы минувших событий в виде документов и в человеческой памяти полностью уничтожены, то уже нет никакой возможности понять, что, собственно, представляет собой «истина», какой смысл вкладывается в это слово. Истину заменяет вера, которая, в свою очередь, завтра может быть отменена. Нет никакого практического критерия истины и лжи — между ними нет разницы. Поэтому ложь становится правдой. В этом можно усмотреть особый успех, достигаемый тоталитаризмом: этот строй нельзя обвинить во лжи, ибо он аннулировал самую идею истины.

Существует, таким образом, разница между обычной ложью политиков и ложью в тоталитарном государстве, где она обожествлена. Ложь всегда использовалась для политических целей. Но всевозможные передегеривания, к которым прибегали и прибегают правительства, партии и отдельные лидеры, кажутся жалкой игрой по сравнению с царством лжи, каким является эта новая цивилизация, с ложью, которая составляет суть ее политической системы. Обычная политическая ложь есть средство для достижения конкретной цели, извлечения конкретной, вполне определенной выгоды. Она не посягает на принципиальное отличие правды от фальсификации. В истории Церкви, например, известно множество подделок и легенд, сфабрикованных ради определенных целей. Так называемый Константинов Дар, документ, на котором основывались при-

тязания Рима на политическое господство, был фальшивкой. Его сфабриковали при папском дворе в конце восьмого века. Праздник Трех Королей (в которых были превращены евангельские волхвы) был тоже в некотором роде выдумкой, призванной подкрепить и освятить претензии Церкви на руководство светскими властями. Но Церковь не додумалась до того, чтобы переписывать Евангелие от Матфея, и любой человек мог заглянуть в текст и заметить, что там нигде не говорится о том, что мудрецы, явившиеся к младенцу, были монархами. Больше того: сама Церковь выдвинула историков, не только отвергших все разновидности *ria fra us* (лжи во спасение), но и ставших инициаторами критической проверки церковных документов. Может ли коммунизм похвастать такими историками?

Опустошительный эффект тоталитарной лжи обычно подерживается примитивной социальной философией. Эта философия провозглашает, что «благо общества» выше интересов личности, и более того, самое бытие личности есть производное от общественного бытия; иначе говоря, существование личности самой по себе как бы недействительно. Лучшего обоснования для идеологии рабства невозможно придумать.

2. Язык новой цивилизации

Я говорил, конечно, об идеальном тоталитарном режиме. По отношению к нему реально существующие режимы — лишь более или менее похожие приближения. Весьма близким к идеалу был, в частности, поздний сталинизм. Успех сталинской системы состоял не только в том, что фальсифицировано было фактически все — история, статистика, современные явления и события, имена, портреты, карты, книги (в том числе и ленинские тексты). Неслыханный успех был одержан в особой дрессировке жителей страны, обученных различать, что является политически «правильным». В сознании партийных функционеров, да и не только функционеров, граница между «правильным» и подлинным стерлась: без конца повторяя один и тот же вздор, они, наконец, сами уверовали в него. Коррупция языка, глубокая и всесторонняя, породила, в конечном счете, людей, не способных осознать собственную лживость.

Это мышление по большей части сохранилось и по сей день, несмотря на то, что могущество идеологии в последнее время не-

сколько поубавилось. Когда советские руководители заявляют, что они освободили Афганистан, или когда они уверяют нас, что в Советском Союзе нет политических заключенных, — кто знает, может быть, они и верят в это: привычка к словесной акробатике развилась у них до такой степени, что они попросту неспособны подыскать для советской интервенции какое-нибудь другое слово, кроме «освобождения», и, вероятно, даже не догадываются о том, сколь огромна дистанция между их языком и действительностью. К тому же цинизм требует мужества, которого у них нет; люди, лгущие самим себе, встречаются чаще, чем стопроцентные циники.

Позволю себе рассказать одну неприятную историю. В 1950 г. я побывал вместе с несколькими польскими друзьями в ленинградском Эрмитаже. Нашим экскурсоводом был, если не ошибаюсь, заместитель директора музея — вне всякого сомнения, хороший знаток истории искусств. Между прочим, он сказал нам следующее: «В наших запасниках есть очень много картин декадентских живописцев, представителей продажного и гнивающего буржуазного искусства. Вы знаете, о ком я говорю: все эти матиссы, сезанны, браки и прочие. Мы никогда их не выставляли, но, может быть, когда-нибудь покажем, чтобы советские люди могли убедиться, как низко пало искусство буржуазного Запада. В конце концов, товарищ Сталин учит нас не приукрашивать историю». Через семь лет, во время оттепели, я снова оказался в Эрмитаже, и снова нас сопровождал тот же человек. Мы остановились в одном из французских залов, и он сказал: «Сейчас вы увидите шедевры великих французских художников — Матисса, Сезанна, Брака и других». Потом он добавил: «Буржуазная пресса клеветает на нас, утверждая, будто мы не выставляем эти картины. Как вы думаете, что послужило поводом для этих смехотворных обвинений? То, что иностранные журналисты оказались здесь именно в тот момент, когда некоторые залы были временно закрыты на ремонт!».

Лгал ли он сознательно? Боюсь, что нет. Если бы я напомнил ему его прежние слова (чего я не сделал), он и меня, чего доброго, обвинил бы в клевете и думал бы, что говорит «правильно», а значит, говорит правду. Потому что в том мире, где он живет, правда есть все то, что способствует правому делу.

До тех пор, пока ложь остается тактическим приемом, пока она используется для конкретной надобности, она неинтересна. Министр клянется, что он не спал с девицей X., хотя все знают, что он был ее любовником; президент был информирован о действиях своих помощников, но утверждает, что ничего не знал. Ничего загадочного нет в этих фактах, они — довольно заурядное явление в политическом мире. Совсем другое дело — ложь в тоталитарной системе, где она не просто практикуется чаще и в более широких масштабах, но выполняет совершенно особую социальную, психологическую и, если хотите, философскую функцию. Было бы упрощением думать, что лживость советской прессы — это лишь гипертрофированная, но, в принципе, все та же известная нам политическая ложь. Спору нет, если вам захочется коллекционировать образчики политической лжи, любой номер «Правды» или «Известий» даст вам предостаточно материала. На каждой странице вы обнаружите сколько угодно грубейшей неправды, сознательных умолчаний и передержек; назначение этих уловок в каждом случае очевидно. Но они приобретают особый интерес и особый смысл, если рассматривать их в контексте всей системы воспитания, высшая цель которой — построение Новой Цивилизации.

Существенная черта этой системы, как уже сказано, — стирание границы, уничтожение разницы между правдой и политической «правильностью». Внушая людям уверенность, что ничто не истинно само по себе, но все можно превратить в истину по указанию свыше, система пестует нового человека — «гражданина социалистического общества». Этот гражданин лишен воли, освобожден от моральной ответственности, отчужден от социального и исторического самосознания. Забвение истории — вот что решает дело. Люди должны перестать удивляться тому, что история перекраивается от одной «правды» к следующей. Это значит, что источник самоутверждения — коллективное прошлое — для них закрыт. Не то чтобы преподавание истории вовсе прекращено, даже наоборот (хотя, судя по всему, в маоистском Китае история действительно не преподавалась; были запрещены вообще все книги, кроме трудов Мао и научно-технической литературы). Но все, что изучается, есть одновременно «объективная истина» и вместе с тем истина, актуальная лишь сегодня. Сегодняшние правители — единственные хозяева прошлого. Привыкнув к этому

порядку, социалистические «граждане» попросту избавляются от исторического самосознания и могут самоопределиваться лишь в отношении к государству. В этом государстве люди — уже не личности, народ — не народ.

3. Непокорная действительность

Подобная стерилизация общества, однако, опасна. Пока от подданных тоталитарного государства требуется нормальное пассивное послушание — все хорошо. Когда же наступает кризис и нужны внутренние стимулы активности и ответственности, машина начинает буксовать. В таком положении оказался советский режим, когда на страну напала Германия, и единственным способом поднять народ на врага было забыть марксизм-ленинизм и мобилизовать исконно русские исторические символы и национальные чувства. Тоталитарный режим силен в относительно стабильных условиях, но уязвим в критические минуты. Вот почему, между прочим, невозможно создать идеальный тоталитарный режим («высшую стадию социализма»).

Осуществить золотую мечту тоталитаризма — всеобщее беспрекословное повиновение и абсолютный контроль над человеческой памятью — не удастся и по другим причинам. Память неподатлива, а человек, по-видимому, представляет собой нечто онтологически первичное. Вы можете его парализовать силой; но он всегда будет стремиться вернуть свои суверенные права. В условиях, самых благоприятных для тоталитарного господства, невозможно добиться полного забывания: для этого понадобилось бы слишком много фальсификаторов, по необходимости умеющих отличать то, что было на самом деле, от выдуманного. Это то же самое, как если бы военно-картографическому бюро было приказано вычерчивать фальшивые карты: не имея под рукой настоящих карт, нельзя делать ложные. Власть слов над действительностью кажется безграничной, но лишь кажется: ибо действительность навязывает свои непреложные условия. Для самих себя тоталитарные правители хотели бы иметь надежную информацию, но время от времени они неизбежно попадают в силки собственной лжи. Запутавшись в паутине, которую они сами же сплели, они вынуждены каким-то образом согласовать потребность в правде

для себя с системой, автоматически продуцирующей ложь для всеобщего потребления, в том числе и для самих сочинителей.

Короче говоря: так как тоталитаризм стремится к полному контролю государства над всеми областями жизни и к неограниченному господству искусственной идеологии над умами, добиться этого можно лишь подавив сопротивление реальности, физической и духовной, другими словами — отменив реальность. Поэтому, говоря о тоталитарных режимах, мы не имеем в виду системы, достигшие совершенства, — как во всех человеческих делах, совершенство и здесь недостижимо, — а скорее стремящиеся к совершенству с настойчивостью, которой не видно конца. В этом смысле все режимы советского образца были тоталитарными, хотя и оказались в разной степени близости от «сияющих вершин».

4. Польский прогноз

Можно отметить, что в коммунистических государствах Центральной и Восточной Европы это расстояние, отделяющее действительность от идеала, всегда было длинней, чем в метрополии. С одной стороны, тоталитаризм в вассальных странах никогда не мог равняться с советским, а с другой стороны, в самом Советском Союзе наблюдалось обратное движение — отход от тоталитарного совершенства. Разумеется, такие констатации требуют большой осторожности.

Медленное, но несомненное движение вспять не связано ни с ослаблением тоталитарной воли внутри системы, ни с демократизацией режима. Отступление лишь означает, что непобедимая действительность вырвала определенные уступки у правящей верхушки. По понятным причинам тоталитарное государство фатальным образом неспособно наладить у себя эффективную экономику. Поэтому все попытки реформ в коммунистических странах, если они вообще сколько-нибудь осуществимы, происходят в одном направлении — оживить рынок. Иначе говоря, речь идет о частичной — и, само собой, минимальной — реставрации капитализма. Идеология доказала свою разрушительную силу во многих областях; значит, ее власть приходится ограничить. Наступает кризис законности (как мы уже сказали, законность в тоталитарной стране носит чисто идеологический характер), начинаются отчаянные по-

иски идеологического обоснования самих этих ограничений. От этого идеология становится все менее последовательной и все более абсурдной.

Все это, казалось бы, говорит о коррозии, которая медленно, но верно должна привести тоталитарный режим к чудесному преобразению в «открытое общество». К сожалению, никаких прецедентов, оправдывающих такой прогноз, нет. Реальное положение дел таково, что до тех пор, пока на территориях, контролируемых Советским Союзом, сохраняется тоталитарный порядок, мощно поддерживаемый интересами привилегированных верхов, никакой или почти никакой надежды на прогресс не остается. Ссылки на Испанию или Португалию неубедительны: эти страны находятся в другом международном окружении, да и режимы, которые там были, всегда были все-таки слишком далеки от тоталитарного совершенства. Дадим на минутку волю своей фантазии и представим себе, что советский режим превратился во что-то похожее на франкистскую Испанию последних десяти лет; как реагировал бы на это просвещенный и либеральный Запад? Он прославлял бы такой поворот событий как величайший триумф демократии со времен Перикла! И, пожалуй, даже усмотрел бы в этом доказательство превосходства «социалистической демократии» над буржуазной.

И все же относительно ненасильственное крушение тоталитаризма нельзя полностью исключить. Какую-то надежду на это внушали события в Польше в начале 80-х годов. Среди всех советских вассалов Польша, безусловно, была наименее последовательна в движении к тотальному идеалу — несмотря на все эксцессы сталинизма. Лично я убежден, что в первые послевоенные годы идейные коммунисты (еще существовавшие в то время) были в Польше еще более несгибаемыми и более циничными, чем в других странах, — циничными в том смысле, что обладали наименьшей чувствительностью ко лжи. Они знали, что партия внушает «массам» чистейшую ложь, но свято верили, что эта ложь допустима и даже необходима — во имя счастливого будущего. При этом, однако, вопреки всем усилиям правителей и несмотря на засилье лжи, непрерывность польской культурной традиции не была нарушена. Малейшего ослабления политического гнета было достаточно, чтобы историческое самосознание прорвалось вновь, демонстрируя

абсолютную несопрягаемость коммунизма с традиционно-национальными религиозными и политическими представлениями. Книги по истории, напечатанные ли в Польше (и не задетые официальной ложью) или привезенные из-за границы, пользовались в стране огромной популярностью, и притом не только среди интеллигенции.

Одно время казалось, что «Солидарность» распахнула ворота нового будущего — что тоталитарный строй постепенно преобразуется в некоторую гибридную формацию, допускающую элементы плюрализма. Военная диктатура почти свела на нет и эту надежду. Но уже тот факт, что тоталитаризм даже не пытается больше отстаивать свою законность, но вынужден предстать без идеологического грима как открытое насилие над людьми, — свидетельствует о деградации тоталитарной системы.

Перевод с немецкого Бориса Хазанова

Ханс Оверслоот
**Государство отступает,
возвращается семья**

*Размышления старомодного беспартийного
социал-демократа*

Власть над людьми и нациями в большинстве мест на Земле на протяжении большей части истории носила династический характер. Королевская власть в большинстве своих проявлений была династической, то же можно сказать и об олигархической форме правления, осуществляемой династическими кланами. Феодализм по определению подразумевает личную преданность вассала сюзерену, передающуюся из поколения в поколение и, следовательно, имеет династический характер, как и сопутствующее династическое подчинение, вплоть до наследственного крепостного права и рабства, охватывавших большую часть населения в феодальных обществах. Династическое правление также типично для других принципиально не эгалитарных обществ, таких как кастовые, а также обществ с более или менее развитой иерархией, подпадающих под общее определение «империи». Короля (царя) могли иногда и избирать, но и тогда выбор производился всегда из ограниченного числа самых богатых, влиятельных и потому престижных семейств, и часто в последовательном династическом порядке.

Правила наследования и правопреемства иногда сметались в сторону каким-нибудь выскочкой, харизматическим лидером, чья претензия на власть была вне традиций и законов, но который в случае успеха вел себя точно так же, как его предшественники, и устанавливал старый порядок вещей, часто оправдывая свое «неортодоксальное» правопреемство тем, что именно он оказался лучшим хранителем старых традиций и обычаев. В этом смысле многие революции вплоть до 18-го века на Западе имели консервативный характер, потому что объявлялись своими лидерами как восстанавливающие истинный порядок¹. И таким образом «новыми» династиями

¹ Убедительное свидетельство такой революции можно найти в *Vindiciae, contra tyrannos* (Defences against tyrants) (1579), на-

поддерживались обычные династические требования, такие как традиционное подчинение простолюдинов, крепостных и рабов.

Афинская демократия в V в. д. н. э. была в некотором смысле исключением и в короткий период времени характеризовалась правлением равных над равными. Особенностью этого правления было широкое политическое сообщество лидеров, не связанных семейными узами. Граждане, являясь субъектами и лидерами демократии, были в определенном смысле связаны друг с другом как родственники, будучи взаимозависимы как в военное время (каждый занимал свое место в фаланге), так и в мирное. Полис выплачивал помощь тем, кому иначе было бы слишком дорого исполнять свой гражданский долг. Материальное равенство и политическое равенство были и остаются тесно связаны. Демократическая власть — эгалитаризм — зиждилась на базовом бесспорном равенстве свободных членов общества, граждан (совершеннолетних мужчин). Обретение гражданства так ревностно охранялось, что скоро стало возможным только по рождению. Гражданина могли зачать только сами граждане. Иностранцы резиденты нуждались в помощи граждан, так, например, они не имели права сами приобретать недвижимость. Продолжительность проживания резидента не обеспечивала получение гражданства. Заметим также, что рабов в Афинах было куда больше, чем граждан.

Современная демократия напоминает то, что на латыни называют *regimen mixtum* (смешанный режим), гораздо больше, чем античную демократию. В частности, то, что является сущностью современной демократии — представительная власть — была бы воспринята демократами прошлого как явный олигархический элемент.

писанном на латыни возможно французским гугенотом или гугенотами после Варфоломеевской ночи (убийства кальвинистов по воле французского короля в 1572). Этот труд был важен для оправдания Голландской революции, его английский перевод был опубликован в Лондоне в 1689 (год «Славной революции» («Glorious Revolution»)), он был также важен в подготовке «Американской революции». См: Junius Brutus (George Garnett (ed.)), *Vindiciae, contra tyrannos: or, Concerning the legitimate power of a prince over the people, and of the people over a prince*, Cambridge U.P., Cambridge etc., 1994.

Все сегодняшние демократии являются в лучшем случае² смешанными системами. Современные демократии можно наблюдать только в национальных государствах. Современные государства явились создателями наций, а не наоборот. Романтическая идея генезиса национального государства заключается в том, что нация обретает себя во всей полноте и добивается свободы в предначертанном ей национальном государстве. Фактически же вначале образовывалось государство, а потом уже нация, как продукт строительства государства. Однако, как только идея самореализации и обретения суверенитета и, таким образом, свободы нации в национальном государстве захватила умы образованных людей, стремление к созданию национальных государств стало главным фактором развала империй.

Во второй половине 20-го века мир оказался разделен на государства, и государства стали гарантом существования других государств, при этом в 19-м веке вплоть до первой половины 20-го «политические сущности» были куда более разнообразны, включая города-государства (например, Гамбург, Бремен и Любек были таковыми довольно продолжительное время), частные владения (например, Конго принадлежало лично бельгийскому королю Леопольду II), династическое правление на территориях с подвижными границами (крупные части территории Африки), и, конечно, империи. В конце 20-го века все еще оставалось несколько городов-государств (Монако, Ватикан, Бахрейн, и т. п.), но формально они имели один статус с другими государствами. Османская Империя, Австро-Венгерская Империя и Россия (позже СССР) были последними европейскими континентальными империями. Британская, Французская и

² Именно по этой причине Роберт Даль предложил называть современную демократию более подходящим словом: полиархия. См: Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, Prentice Hall, Englewood Cliffs (N.J.) 1991 (1963). Его предложение провалилось по очевидным причинам, одна из которых, и возможно, самая важная, в том, что слово демократия предполагает для «обычных» людей больше власти в политической системе, чем они на самом деле имеют. *Каждая* современная демократия гораздо более элитарна (олигархична), чем обещает. Введение термина «полиархия» означало бы раскрытие этих олигархических черт. В современном политическом дискурсе демократия — это хорошо, демократическая политическая система — это хорошая политическая система.

Голландская межконтинентальные (колониальные) империи, а также Японская империя встретили свой конец в середине 20-го века. Империи не исчезли окончательно, однако должны вести себя как «обычные государства»³.

«Романтическое» прочтение тенденции к формированию национальных государств следующее: нации, обретя самосознание, стремятся к национальной свободе и праву самоопределения и, следовательно, к собственному государству⁴. Романтическая трактовка не полностью ошибочна, так как идеал национального самоопределения действительно внес вклад в закат империй, как континентальных, так и колониальных. Неромантический факт заключается в том, что во многих случаях прото-государство было инструментом создания нации (сообщества граждан) в Европе и бывших колониях. Расхождения в границах новых государств с естественными границами проживания наций стали основным источником меж- и внутригосударственных конфликтов, а также геноцида. В 19-м столетии французское государство превратило «крестьян во французских граждан»⁵. Не только во Франции, но и в других европейских государствах были созданы институты, обеспечивающие культурное единобразие и общую историю. И поскольку государства являются главными акторами в международных отношениях, сам факт

³ Российская Федерация может рассматриваться как остатки империи, которой был СССР, но РФ сама по себе также может рассматриваться как империя. В предыдущей статье «Новая Византия», опубликованной в 13-м выпуске «Второй Навигации» (2015), я рассмотрел Европейский Союз как политическую структуру, напоминающую империю. Идея империи и фактическое поведение империи под личиной государства еще сохранились. РФ ведет себя как империя в «освобождении» Абхазии и Южной Осетии, и, в некотором парадоксальном смысле, в присоединении Крыма и Севастополя. Парадоксально здесь оправдание своих действий, сводимое к «старому доброму» неискоренимому национализму: Крым и Севастополь — русское наследие, они всегда были Россией, украинская, киевская власть плохо обращалась с русскими и поэтому воссоединение с русскими и Россией было неотвратимо.

⁴ См. также: Benedict Anderson, *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, Verso, London etc. 1991.

⁵ Eugen Weber, *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914*, Stanford U.P., Stanford, 1976.

принадлежности определенному государству заставлял (новоиспеченных) граждан разделять общую судьбу уже хотя бы потому, что другие извне (например, враги) обращались с ними как с некой общностью. (Если с вами обращаются как с немцем, вы станете немцем, даже если изначально считаете себя вюрттембергерцем.) Военная повинность, национальная военная служба, играла определенную роль в объединении людей (в противоборстве с другими государствами, с военнообязанными других наций), так же как обязательное начальное образование на стандартизированных национальных языках; помимо этого, распространение государственной бюрократии, общей системы налогообложения, единой меры весов и стандартов качества помогли в создании национального государства⁶. Голландский сыр и масло стали востребованными продуктами благодаря введению государственного контроля качества, а «made in Germany» стало знаком качества для индустриальных товаров. (Забавно, что пометка «made in Germany» была введена в Англии актом о торговых марках от 1887 года, чтобы помочь отличать и защищать британские мануфактурные товары от иностранной продукции худшего качества.)

Государства довольно часто пользовались силовыми методами, и национальные государства (никогда не будучи таковыми в полном смысле этого слова) также использовали жесткие меры и для покорения культур малых народов, и для подавления претензий на государственность других народов страны. Турция как наследница Османской империи преследовала армян, изгоняла греков и «переопределила» курдов как «горных турков». Испания под генералом Франко была все еще занята выковывыванием истинных испанцев из басков и каталонцев для того, чтобы единая нация подходила для унитарного государства. В бывших африканских и азиатских колониях дети колонизированной элиты, получившие образование в престижных институтах метрополии, восприняли идею национальной свободы и взяли курс на независимость, пере-

⁶ Стандартизация на европейском континенте означала введение французской метрической системы, а также национального или, точнее, интернационального времяисчисления. Метрическая система также была интернациональной. Она сменила разнообразие региональных систем мер. Правовые системы континентальных государств ассимилировали гражданский кодекс Наполеона.

нимая методы бывших колонизаторов и защищая бывшие колониальные границы от внешних врагов (соседних государств) и внутренних (претендентов на власть и сепаратистов). Как правило, внутренние соперники были сыновьями династических лидеров враждебных кланов, племен, народов, сыновьями или потомками лидеров ранее независимых «княжеств» или зависимых от других, не принадлежащих к новообразованному независимому государству. Полиэтнический характер многих новых государств, особенно в Африке, осложняет, а порой и исключает формирование демократических режимов.

Формирование современных национальных государств очень часто требовало огромных затрат. Однако в той степени, в какой это формирование было успешным, оно позволило и облегчило формирование демократических режимов, или точнее, смешанных режимов. Национальное единство во многих случаях могло быть создано и даже навязано государственными лидерами, но однажды созданное, в той степени, насколько люди действительно становились единой нацией, это единство помогало формулировать и доносить общественные требования до лидеров страны. Организованные массы этих граждан обладали достаточным политическим весом, чтобы реализовать свои требования и заставить лидеров услышать себя. Национальные государства сделали возможной современную демократическую политику и были необходимым условием формирования «государства всеобщего благосостояния» (welfare state). В большинстве стран, в большинстве политических режимов дети и молодежь растут и воспитываются в нуклеарной или более расширенной семье. В семьях всегда были и есть правила, называемые антропологами реципрокными (взаимными). Они включают в себя заботу друг о друге. Существуют поведенческие коды и определенная ответственность более успешных перед менее успешными или временно нуждающимися в помощи, ответственность старших по отношению к младшим и наоборот. Семьи бывают весьма расширенными и не всегда генетически связанными. Могут существовать также правила приема в семью генетически не связанных людей, кроме вступления в брак. Например, в регионе и социальном классе, из которого вышел автор этой статьи (сельскохозяйственный регион юго-запада Голландии), друзья семьи и соседи были для нас, детей, тетями и дядями. Они не были нашими родственниками, но

считались частью семьи⁷. Двоюродные братья и сестры считались семьей, родственники более отдаленные — нет. В других местах и (суб)культурах все иначе. Друг автора, покойный Рашид Капланов (гордившийся своим княжеским происхождением), рассчитывал на помощь очень далеких родственников (как говорят, седьмая вода на киселе) для обеспечения нашего пребывания в Дагестане. Для этого хватило простой просьбы. Наша поездка — возвращаясь в далекие 80-е — по разным причинам так и не была осуществлена, но примечательно, что он относился как к близким родственникам к людям, которых я бы, в свою очередь, совсем не считал бы родственниками, не говоря уже о том, чтобы обременять их своим визитом⁸.

Исследования неофициальной, теневой экономики (и «черных рынков») тогдашней советской республики Грузии показали, что деловые связи в среде грузинских торговцев были часто «вписаны» в семейные и воспринимались как семейные, то есть партнеры по бизнесу становились как бы членами семьи. Таким образом формировались взаимные обязательства и люди могли в бизнесе рассчитывать друг на друга, как на родственников. В советском Узбекистане, напротив, аналогичные по роду деятельности предприниматели были менее успешны, так как каждая отдельная сделка должна была быть прибыльной для обеих (всех) сторон. Там было труднее собрать деньги для инвестиций, т. к. нельзя было рассчитывать на семейную

⁷ То, что эти квази-семейные связи означали нечто серьезное, стало для меня очевидным, когда младший сын наших бывших соседей, которому было тогда около 20, серьезно заболел рассеянным склерозом. Он, Петер, жил где-то в нашем небольшом городе, и мои родители регулярно приезжали навесить его и помочь по хозяйству. Они делали это на протяжении многих лет. Почему? Просто потому, что мы были близки, как родственники, и мои родители чувствовали себя обязанными ему помогать. Конечно, они были старомодными «негородскими» людьми, но такого рода поведение вполне обычно во многих культурах, сильно отличающихся друг от друга во многих отношениях.

⁸ Возможно, тот факт, что Рашид Капланов был князем (конечно, в советское время это не было официальным титулом) сыграл в этом некоторую роль. Это существенно не меняет мое мнение о том, что определение семьи и родства может сильно различаться в различных социальных стратах и (суб)культурах, однако то, что оно обозначает (понятие семьи), остается важным.

преданность⁹. Невозможность положиться на разветвленную сеть связей усугубляет сложности в ведении бизнеса, поиске инвестиций, расширении дела и рынков сбыта. Это относится не только к теневой экономике. На заре капитализма все успешные предприятия были семейными (например, De Geer и Trip в 17-м веке, с офисом в Амстердаме, семья Фуггеров (15-17 вв.) в Аугсбурге, Борджия — банкиры и политики 15-16 вв. во Флоренции), да и сегодня, несмотря на создание ООО (Ltd.), семейный бизнес и деловые семейства остаются очень важными. В России на рубеже 19-го и 20-го веков поднялись семьи Морозовых, Рябушинских и Щукиных. В современной Германии в список бизнес-семейств входят *Volkswagen AG*, *BMW AG*, *Aldi Nord*, *Robert Bosch GmbH*, *Bertelsmann SE & Co KGaA* и многие другие. В любой другой капиталистической стране семейные бизнесы по-прежнему очень важны. *Samsung Group* (Корея) — семейный бизнес, *Tata Group* (Индия и многие другие страны) — семейный бизнес, даже в США, столь гордящихся своим несокрушимым индивидуализмом и «self-made men», более 40% людей, упомянутых в списке Форбс «400 богатейших американцев», разбогатели только благодаря своей принадлежности к бизнес-семействам¹⁰.

Поддержка в детстве, поддержка в открытии дела (финансирование длительного периода образования, назначение на хорошую должность, обеспечение ценными контактами), поддержка в выборе супруги, поддержка в пожилом возрасте были и остаются делом семьи. Защита от аутсайдеров (конкурентов, воров и пр.) также часто была делом семьи. В разных культурах такая помощь и поддержка осуществлялась в разной степени, но без нее индивидуальные перспективы были весьма ограничены, без нее сам вопрос выживания стоял порой весьма остро. Наградой дающим членам семьи были и остаются среди

⁹ См: G. Mars & Y. Altman, «The cultural basis of Soviet Georgia's second economy», в *Soviet Studies*, Vol. 35 (1983), No. 4, pp. 546-560; G. Mars & Y. Altman, «A case of a factory in Uzbekistan: Its second economy activity and comparison with a similar case in Soviet Georgia», в *Central Asia Survey*, Vol. 11 (1992), No. 2, pp. 101-111; см также: *Huseyn Aliyev, When Informal Institutions Change: Institutional Reforms and Informal Practices in the Former Soviet Union*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2017.

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Family_business

прочего статус и уважение: статус и уважение, исходящие как от получателей помощи, так и внутри семьи и за ее пределами, за сам факт вклада в будущее, в процветание или просто выживание одного из членов семьи; уважение и статус, иногда исходящие из статуса, приобретенного родственником благодаря их поддержке (мой статус возрастает, когда мой младший брат становится известным и богатым врачом); награда может заключаться также во власти, приобретаемой благодаря успеху одного из родственников, также в расчете на то, что будущие проблемы будут решаться уже при его помощи (реципрокный принцип), причем не обязательно в той сфере, в которой помощь была оказана ему. Получение подарка обязывает получателя. (Томас Гоббс считал обязанность быть благодарным за оказанную услугу или подарок, «законом Природы», следовательно, законом Разума, следовательно, законом Бога.)

В большинстве случаев межсемейные связи, образуемые взаимной помощью, имели иерархическую структуру. В таких связях, как правило, менялся характер взаимопомощи и взаимных ожиданий и обязательств. Менялся или создавался также авторитет, лицо, решающее оказывать или не оказывать поддержку, особенно в вопросах, связанных с поддержанием внутреннего порядка и внешней защитой. Обеспечение безопасности становится центральным вопросом, а также сборы для финансирования (в денежной или натуральной форме) службы охраны. Внутренняя и внешняя безопасность стала одновременно ответственностью и привилегией ограниченной группы людей. Этих людей с оружием следовало поддерживать. В то же время эти люди были в состоянии вымогать деньги и прочие блага у тех, кого они должны были защищать. Достаточно часто внешняя защита была ничем иным, как силовой поддержкой исключительного права на вымогательство, и паразитированием на тех, кого должна была защищать. Короче говоря, от босса, патрона (феодалного лорда, хозяина) ожидалось обеспечение минимального уровня личной безопасности от внутренних (конкурирующих) разбойников и вымогателей, а также от внешних угроз, в обмен на плату за услуги (налоги) и послушание. Такие иерархии могли быть и являются весьма разнообразными, и такая «взаимная забота» в них далеко не всегда бывает взаимовыгодной. Подобные отношения часто были и бывают эксплуататорскими, при них патрон и его люди

получают гораздо больше, чем требуется для исполнения их обязательств, и поэтому могут жить в роскоши, в то время, как их «подзащитные» прозябают на уровне выживания. Церковь, конечно, тоже располагала различными институтами для оказания помощи нуждающимся собратьям-христианам, но довольно часто она была более похожа на организацию, ориентированную на экономическую прибыль, чем на инструмент для эгалитарного перераспределения. Церковь (католическая церковь в Западной Европе до 16-го века, далее история становится более сложной) также имела своих рабов и крепостных, будучи самым крупным землевладельцем, не уступала в богатстве светским правителям. Церковная и мирская иерархии были тесно переплетены. Крупные монастыри (как мужские, так и женские) и епископства, как правило, возглавлялись членами видных мирских династий. Епископы происходили из аристократических семей.

До возникновения национальных государств в Западной Европе также существовали организации взаимопомощи, основанные на более эгалитарных принципах, часто это были торговые или профессиональные организации, объединяющие семейства через их глав. Хорошо известно, как была организована взаимопомощь в гильдиях. Гильдии предоставляли целый ряд услуг. Гильдии защищали высокие стандарты мастерства и качества продукции; организовывали социальную жизнь своих членов, включая празднества, которые объединяли людей в более широких масштабах (город, церковная община); часто гильдии создавали фонды для оплаты похорон своих членов (и зависимых от них людей), помогали вдовам и сиротам.

Те, кто оказывался в крайней нужде, могли найти помощь вне семьи, от Церкви (католической, православной, протестантской и различных сект), или от города в качестве зарегистрированного жителя (как члена городской общины). Такая поддержка была недоступна для многочисленных бродяг, поскольку бродяги истощали бы имеющиеся ресурсы и уменьшали готовность местных жителей способствовать финансированию такой помощи¹¹.

¹¹ См: Abram de Swaan, *In Care of the State: Health Care, Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era*, Polity Press, Cambridge 1988.

Некоторые из этих мероприятий способствовали укреплению семейных связей и были направлены на поддержку людей внутри (нуклеарной) семьи, некоторые — очевидно нет. В 18-м веке в Париже значительная часть всех новорожденных, многие из которых родились вне брака, были брошены. Жан-Жак Руссо таким же образом избавился от всех своих пяти детей. Пять — это большое число, но он и его гражданская жена не были исключениями. Каждый год в Париже бросалось около 6.000 детей, при тогдашнем населении около 500.000. Во Франции оставленные дети, как правило, попадали под церковную опеку. Уровень выживаемости в парижской больнице для найденышей был ужасающе низким. Ребенок имел пятипроцентный шанс достичь зрелости. Когда в возрасте 25 лет их отпускали, эти люди были безграмотны и ничему не обучены, и нередко пополняли ряды воров, проституток, бродяг и прочих криминальных элементов. Можно предположить, что их ожидаемая продолжительность жизни была меньше, чем у людей, связанных семейными узами. С 1801 года во Франции попечительство над брошенными детьми переняло государство.

В 19-м веке во французских государственных детских приютах условия были не многим лучше: каждый второй ребенок не переживал свой первый год¹².

В 19-м веке в Англии, как и в Нидерландах и других европейских странах, бедные пожилые мужчины (старше 60-ти) могли найти себе место жительства: крыша, еда, койка в большом общем помещении с большим количеством коек и маленьких персональных шкафчиков. Те же условия, созданные для пожилых женщин, исключали продолжение семейной жизни.

Жизнь людей без семейных связей, без поддержки семьи, была весьма уязвимой, и существовавшие тогда меры по

¹² Следует, однако, уточнить, что в 19-м веке младенческая смертность (в возрасте до 1 года) в 50% считалась высокой, но не исключительной, в особенности в крупных и средних городах, где хорошая питьевая вода была недоступна и санитарные условия были ниже среднего уровня. Например, общая младенческая смертность в Нидерландах 1870 года была все еще высокая: 30%, в западных провинциях Голландии и Зеландии и 15% в остальных областях Нидерландов. См: P.E. Treffers, «Zuigelingensterfte en geboorten in de 19e en begin 20e eeuw» (младенческая смертность в 19-м и в начале 20-го века), в: *Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde* (Netherlands' Journal of Medicine), т. 152 (2008), стр. 2788-94.

оказанию помощи не поощряли семейную жизнь, а иногда и исключали ее.

Многие из ранних профсоюзов (конец 19-го века) в некоторых отношениях напоминали старые гильдии, так как вначале тоже использовали взаимное страхование. Их члены, в отличие от членов гильдий, не были самозанятыми ремесленниками, но наемными рабочими, работающими на производстве, обладающими профессиональными навыками, требующими особого таланта и долгого обучения. Например, в Нидерландах типографы и резчики алмазов были одними из первых, кто организовал взаимные фонды для похорон и поддержки вдов и сирот¹³.

По мере того, как государства XIX века поддерживали «рыночные отношения» и приветствовали капитализм, стало сложнее создавать организации взаимопомощи среди равных, в то же время старые институты социальной поддержки атрофировались. Герберт Спенсер, который был (не следует об этом забывать) самым авторитетным философом второй половины 19-го века в англоязычных странах и не только, выступал против такой помощи бедным и нуждающимся, потому что она будет способствовать продолжению образа жизни, который следует искоренять. Подаяния нищим попрошайкам превращают попрошайничество, являющееся «паразитической деятельностью», в способ зарабатывания на жизнь. То, что не заслуживает награды, не должно быть вознаграждено с целью улучшения благосостояния и стимулирования развития общества и прогресса в целом. Что действительно должно вознаграждаться и быть выгодным, это деятельность, благодаря которой общество становится сильнее. Поощрение деятельности, проводимой в ущерб нации в целом и ведущей к ее ослаблению, должно рассматриваться как аморальное. Герберт Спенсер, придумавший фразу «выживание наиболее приспособленных», вполне может считаться первым социал-дарвинистом.

Однако новое индустриальное, национальное капиталистическое государство для своей военной жизнеспособности

¹³ В Лондоне, на Флитстрит типографы создали предприятие, принимающее на работу только членов профсоюза. В нем работали одни из самых высокооплачиваемых наемных рабочих, до тех самых пор, пока власть профсоюзов не рухнула при Маргарет Тэтчер, премьер-министре 1980-х годов.

нуждалось в поддержке масс. Национальные массовые армии пополнялись солдатами из рабочего класса. Первая мировая война наглядно показала зависимость военного успеха от состояния здоровья рабочих-солдат. Национальное государство было также нужно для создания условий развития демократической политики, или, по крайней мере, «вкрапленный» важных демократических элементов в аристократическую или, если угодно, олигархическую политику прошлого. И это демократизированное национальное государство впоследствии обеспечило основу для более существенных положений о взаимопомощи сограждан, чем предлагалось ранее государствами другого типа. Демократизированное национальное государство в конечном итоге превратилось в государство всеобщего благоденствия.

В США и европейских странах, как в крупных (Англия, Франция, Италия, и др.), так и в менее крупных (Нидерланды и др.) национальное государство стояло в центре идеологии вместе с набором институтов поддержания трудовой дисциплины, укрепления «рыночных связей», позволяя дальнейшее развитие капиталистической экономики. Формирование профсоюзов как инструмента для коллективных переговоров было заблокировано многими государствами. В США в конце 19-го, начале 20-го века для подавления таких «социалистических тенденций» был задействован Верховный Суд. Кроме того, в странах, где было установлено всеобщее (мужское) избирательное право (например, США), государство сразу же сосредоточилось на поддержании существующего порядка, используя административные ресурсы, которыми располагало. Германия с 1870-х стала большим исключением в своих попытках создать социальный порядок при помощи серьезных мер социальной защиты. Германия при рейхсканцлере Отто фон Бисмарке попыталась упредить требования социалистов, еще до 1890 года введя трудовое законодательство, которое обеспечивало компенсацию работникам во время болезни и за травмы, полученные на работе. В 1889 году для работников старше 70 лет была введена пенсионная система. Другие страны придерживались идеала «минимального государства», реже упреждали, чаще подавляли требования, но все государства рано или поздно брали на себя дополнительные обязанности, испытывая давление со стороны масс: как следствие расширения избирательных прав и артикуляции христианских демократических и социалистических

идей в парламенте, растущей зависимости правительства от христианской демократической и даже социалистической (социал-демократической) поддержки в парламенте, а также за счет «либеральных» позиций.

Проблема здравоохранения была одной из первых, с которой попыталось справиться все еще «минимальное» государство, так как национальная государственная оборона в эпоху массового призыва зависит от наличия гражданских лиц, достаточно сильных и здоровых, чтобы служить в армии. Финансируемое государством расширение начального образования также вписывалось в либеральный взгляд на государство, поскольку оно помогло создать рабочую силу, соответствующую требованиям времени; были также противоположные тенденции в организации производственного процесса, предвосхищенные Фредериком В. Тейлором (тейлоризм, движение «научного управления»). Ловкость и скорость в повторяющихся действиях — вот все, что требовалось от работника. Такая ситуация сделала получение образования для миллионов людей излишним.

В большинстве стран *государство всеобщего благосостояния* получило импульс к развитию во время Второй мировой войны и в течение 50-х — 70-х обрело полноценную форму. Субсидии на здравоохранение производились из государственных фондов или из частных фондов под давлением государства через частные страховые компании. Социальные субсидии включали пособия по болезни для работников, а также пособия по нетрудоспособности; оплачиваемый отпуск; пенсионные программы по старости для всего населения, через схемы, финансируемые государством, и / или через обязательные коллективные частные субсидии; бесплатное обязательное начальное и среднее образование и стипендии или пособия для студентов из непривileгированных слоев общества; пособие по безработице; отпуск по беременности и родам; поддержка по уходу за детьми; пособия и гранты для одиноких родителей (одиноких матерей) и их детей; пособия для вдов, вдовцов и сирот, финансируемые государством и / или с помощью обязательных коллективных частных субсидий; помощь в аренде для тех, кто в противном случае не может позволить себе сколько-нибудь достойное жилье; субсидии на юридические консультации не только по уголовным, но и по гражданским делам для людей с низким доходом; иногда субсидии для членства в спортивном клубе для

молодых людей из бедных слоев населения; базовая финансовая помощь для нуждающихся, которые не могут претендовать на другую коллективную частную поддержку. Эти схемы поддержки и гранты принимали различные формы в различных странах, подпадающих под определение государства всеобщего благосостояния. Аналогичные схемы могли по-разному финансироваться; организация субсидий могла быть более или менее централизованной; схемы могли быть более государственными или более корпоративными. В отдельных странах некоторые субсидии считались более важными, чем другие. Например, в Швеции отпуск по уходу за ребенком (а не только отпуск по беременности и родам) был — и есть — намного дольше, чем в Нидерландах. Домохозяйки были гораздо более распространены в 1960-1980-х годах в Нидерландах, чем в Швеции, где оба супруга должны были зарабатывать (что также порождало различия в финансировании и распределении прав в разных схемах). Несмотря на различия, все западноевропейские страны (и ряд других, в основном англоязычных стран) квалифицировались как государства всеобщего благосостояния в большей части второй половины 20-го века, и большинство государств всеобщего благосостояния были демократическими, то есть национальными государствами со смешанной экономической системой.

Все субсидии в государствах общего благосостояния всегда имели своих противников, часто среди либералов-рыночников и консерваторов. В поддержку большинства схем выступали христианские демократы (часто католики)¹⁴, социалисты и иногда коммунисты. В течение 80-х и 90-х оппозиция набрала политический вес и стала более эффективной. Контраргументы были разнообразны.

Одним из возражений против системы субсидий, позволяющих матерям-одиночкам воспитывать своих детей, не будучи обязанными найти оплачиваемую работу (или если занятость была предпочтительной, получать субсидии для ухода за ребенком), заключалась в том, что такими субсидиями подрывался сам институт семьи и что ответственность мужчины за содержание его детей фактически была передана обществу в целом. Возможно, непреднамеренный, но явно предсказуемый и наблюдаемый побочный эффект от такой помощи (молодым)

¹⁴ Kees van Kersbergen, *Social Capitalism: A study of Christian democracy and the welfare state*, Routledge, London & New York 1995.

матерям и их детям был в том, что увеличилось число очень молодых матерей-одинок. На самом деле, как утверждают критики, такие субсидии матерей-одинок делают приемлемым для молодых женщин сам выбор стать матерью-одиночкой, как своего рода «карьеру», так как продолжительная зависимость от других субсидий в этом случае весьма вероятна, поскольку альтернативой продолжительной государственной помощи будет только низкооплачиваемая непрестижная работа. И в случае отсутствия общественного порицания это может быть и не самая плохая «карьера», утверждают критики. Более того, добавляют некоторые критики, эти субсидии поощряют безответственное сексуальное поведение: и правда, некоторые мужчины даже гордятся тем, что им удалось в молодости «сделать» детей разным девушкам, в последовательном или даже в параллельном порядке. Подрывается одна из главных мужских функций — обеспечение потомства — продолжают критики, ведь государство может с большей легкостью сделать то, что отцу ребенка будет стоить полжизни напряженной работы. Такие субсидии освобождают обе стороны, позволяя и даже стимулируя стиль жизни, который требует дополнительных коммунальных (фискальных) средств, заставляя сограждан помогать поддерживать стиль жизни, который они имеют все основания ненавидеть¹⁵.

Обобщая, можно сказать, что государство общего благосостояния своим снисхождением и даже потаканием неэкономическому анти-социальному поведению, распространенному в некоторых западноевропейских субкультурах, приводит к извращенному эффекту, делая такое поведение социально приемлемым. Некоторые общественные табу и стигматизация, т. е. осуждение и неодобрение общества, некоторых видов поведения, действительно полезны для общества в целом и полезны для людей, которые в противном случае испытывали бы соблазн или даже побуждались участвовать в таком асоциальном и нередко прямо паразитическом поведении¹⁶.

¹⁵ См., напр., *Charles Murray, Losing Ground. American Social Policy, 1950-1980*, Basic Books 1984.

¹⁶ См., напр., Theodore Dalrymple, *Life at the Bottom: The Worldview that Makes the Underclass*, Ivan R. Dee Inc., Chicago (Ill.) 2003 (2001), и Theodore Dalrymple, *Our Culture, What's Left of It: The Mandarins and the Masses*, Ivan R. Dee Inc., Chicago (Ill.) 2005.

Государство всеобщего благосостояния спонсирует дисфункциональный набор ценностей, утверждают такие критики, как Теодор Далримпл. Системы социального обеспечения создают зависимость от социального обеспечения и способствуют «усвоенной беспомощности». В той мере, в которой общества «настоящего социализма» или «фактически существующего социализма», т. е. страны, в которых доминируют марксистско-ленинские партии в Центральной и Восточной Европе, также являлись государствами всеобщего благосостояния («государства социалистического благосостояния»), они также способствовали развитию у своих граждан комплекса «усвоенной беспомощности», утверждают критики.

Возросшая политическая сила «консервативной» реакции на эти «негативные черты» социального общества, плюс, что более важно, неолиберальный подъем в 1980-х и 1990-х годах вызвали серию «пересмотров» схем социального обеспечения, положивших конец тому государству всеобщего благосостояния, каким мы на Западе его знаем. Неолиберальный подъем (замаскированный под здравый смысл) влечет за собой внимание к индивидуальной инициативе и индивидуальной ответственности, распространение мелких и средних (частных) предприятий и сокращение штата правительства, предпочтительно до минимального. Что касается ценностей, которые фактически или предположительно поощряются государством всеобщего благосостояния, неолиберализм откровенно принимает нейтральную позицию в отношении ценностей (возможно потому, что это также вопрос личного выбора), но он, скажем прямо, пытается способствовать самопомощи, индивидуализму, конкурентоспособности рынка и потребительской активности совсем иначе, чем «традиционный консерватизм» (не совсем плеоназм¹⁷), который связан с целым рядом национальных и часто религиозных институтов и восхваляет ценности, которые помогают поддерживать эти институты (и наоборот): брак и супружеская верность, иерархия, забота и послушание, патриотизм и служение стране и т. д. Консерватизм и неолиберализм разделяли общую точку зрения в их неприязни и даже отвра-

¹⁷ Возможен ли нетрадиционный консерватизм? Да, на самом деле это то, что родилось от «брака» неолиберализма и консерватизма, то, что негласно называлось *тэтчеризм* и *рэйганомика* в честь тогдашних премьер-министра Великобритании и президента США.

шении к основным элементам государства всеобщего благосостояния; неолиберализм, вероятно, был самым стойким, «самым принципиальным» врагом «социалистического» государства всеобщего благосостояния. Для них государство всеобщего благосостояния подразумевало социализм. Для них так называемое капиталистическое государство всеобщего благосостояния и государство социалистического благосостояния сводились к одной и той же отвратительной вещи: социализму¹⁸. Неолиберализм не просто не приветствует принципы государства всеобщего благосостояния; ему также не нравится признание многих других институтов, конечно кроме самого «индивидуализма» и институтов, которые якобы поддерживаются соглашением и контрактом между отдельными лицами, наиболее важным из которых является бизнес-предприятие¹⁹. В консерватизме «индивидуализм» не является ключевым. Консерваторы полностью осознают — как и многие социалисты (социал-демократы) — важность и ценность социальных институтов, таких как семья (род), рабочее место, страна (нация) и религиозная общность.

¹⁸ Интересно, что сторонники перестройки Горбачева в конце 1980-х годов также указывали на Швецию и другие западные государства всеобщего благосостояния как на социалистические страны в явной попытке облегчить и оправдать введение элементов рынка или даже капиталистических элементов в «настоящий социализм» СССР. Это смесь должна была помочь создать гораздо более богатое, но, тем не менее, социалистическое общество, «точно такое же, как в Швеции».

¹⁹ Бизнес-предприятие часто рассматривается так, как будто оно является индивидуальным. В этом ключе Верховный суд США снял все ограничения на поддержку корпорациями политических партий и кандидатов на политические должности. Человек может свободно выражать свое политическое предпочтение, имеет свободу слова и может поддерживать, финансово или иначе, сторону или кандидата по своему усмотрению, и (следовательно) тем же может заниматься бизнес-корпорация. После более ранних судебных решений позиция Верховного суда США в этом отношении была наиболее четко выражена в деле «Граждане США против Федеральной избирательной комиссии», 558 долл. США (2010 год).

«И, знаете, нет такого понятия, как общество. Есть отдельные мужчины и женщины, и есть семьи», — знаменитое высказывание Маргарет Тэтчер, иллюстрирующее странную смесь (нео)либерализма и консерватизма. Неоконсерватизм Маргарет Тэтчер (ее «тэтчеризм»), конечно также признавал и даже поддерживал государство (Соединенное Королевство) и бизнес-сообщество.

Во многих западных странах с 1980-х годов наблюдается тенденция к сокращению размера и охвата социальных пособий, а также переключению ответственности за предоставление этих услуг и их финансирование на субгосударственные (провинциальные, местные) администрации. Монетизация системы льгот в России ранних 2000-х была типична для советского социалистического прошлого. Деградация этой системы — нет. Федеральное правительство России переложило ответственность за предоставление этих льгот на провинциальные и местные органы, и в то же время сократило денежные переводы от центральных органов к региональным субъектам для финансирования (остатков) системы социального обеспечения. Деградация и сокращение вклада государства в обеспечение благосостояния шли рука об руку, как и на Западе. Параллели бросаются в глаза.

В странах ЕС роль национального государства стала менее значимой, чем в период расцвета «капиталистических» систем социального обеспечения в 1960-1980-х годах. Субгосударственные общественные учреждения были готовы сохранить остатки этой системы, в то же время центральные государственные органы сместили, потеряли, передали большую часть власти во многих областях надгосударственным образованиям, главным образом организациям ЕС, особенно исполнительной власти ЕС. Государства-члены ЕС, таким образом, сами лишили себя власти, хотя внимание общественности и средств массовой информации осталось сосредоточенным на действиях центральных национальных правительств. Этот добровольный отказ от власти сделал реконструкцию государства всеобщего благосостояния в известной нам форме почти невозможной.

Полагаю, что было чрезвычайно недооценено, каким источником лояльности государству была эта система социального обеспечения. Традиционно социал-демократы были негативно настроены по отношению к национальному государству²⁰. Однако со временем они превратили государственный аппарат в основной инструмент для принятия мер от имени рабочих,

²⁰ В гимне Второго Интернационала (1892 года, текст Эжена Потье, музыка Пьера Дегейтера), говорится об «обмане законов и правил» и выражается надежда на пролетариат, превосходящий национальные государства.

забитых, эксплуатируемых, бедных и обездоленных. Они не отбросили государство, но усилили его. Социал-демократы при значительной поддержке христианских демократов во многих случаях превратили государство в координационный центр подлинно национального сообщества, охватывающего все классы и социальные слои. Действительно, социал-демократы стали самыми верными слугами государства, именно такого государства.

Социал-демократические *лидеры* чаще всего активно выражали свою международную позицию, поскольку свобода, особенно свобода от нужды, должна быть доступна всему человечеству. Социальная поддержка, предоставляемая через национальное государство всем *гражданам*, должна стать доступной для людей независимо от места их рождения и страны происхождения. Поэтому социал-демократическим лидерам (и некоторым христианским демократам) было трудно ограничить приток нуждающихся людей из «чужих земель», потому что, действительно, «мы все люди», как это в евангельском и космополитическом духе всегда подчеркивается. Массовая миграция в государства всеобщего благосостояния, которую приветствовали социал-демократические политические *лидеры* (и активно стимулировали рыночные либералы, поскольку дополнительные рабочие руки сокращали бы стоимость рабочей силы), наложила дополнительное бремя на все виды субсидий и, таким образом, была источником недовольства многих социал-демократических избирателей.

Обычные люди (мужчины и женщины с невысоким уровнем образования) были в числе первых, кто почувствовал на себе конкуренцию со стороны иммигрантов за рабочие места, а также конкуренцию за социальные пособия и другие государственные услуги социального обеспечения, и возможно, самое главное, в сфере жилья и образования. Местные жители с низким доходом должны были конкурировать с иммигрантами с низким доходом за субсидируемое жилье. Местные жители оказались в окружении людей, говорящих на других языках и имеющих чуждые им обычаи и привычки. В бедных кварталах, где поселялось или размещалось большинство иммигрантов, школам, в ущерб общему качеству образования, приходилось справляться с притоком детей, не владевших языком, часто из совершенно других культур.

Несмотря на критику со стороны (нео)либералов и консервативных авторов, таких как Чарльз Мюррей и Теодор Далримпл, государство всеобщего благосостояния принесло огромные выгоды большому числу своих граждан. В государствах всеобщего благосостояния был обеспечен доступ к высшему образованию для способных мальчиков (позднее также девочек) из более низких классов, главным образом из рабочего класса. В государствах всеобщего благосостояния меритократический идеал приблизился к осуществлению более, чем в любой предыдущей социально-политической системе. Многие люди смогли реализовать свои таланты, которые при другой системе остались бы невостребованными. «Возникновение меритократии» стало возможным благодаря действиям государства всеобщего благосостояния, и я предполагаю, что это обеспечило этим государствам процветание.

Благодаря политике государства всеобщего благосостояния многие люди позабыли о страхе бедности и старости. Пенсионные системы (обязательные частные или корпоративные, либо же общественные) освободили детей (состоящих в браке), от необходимости обеспечивать своих родителей жильем, едой и пр. Государство всеобщего благосостояния освободило старых дев, которые в противном случае никогда бы не вышли замуж, потому что от них ожидалось, что их призванием в жизни станет забота о пожилых родителях. Замужние женщины, от которых ожидалось, что они возьмут к себе своих родителей или родителей супруга, родственники и старые девы, которые были привязаны к родительскому дому (что ограничивало их способность делать карьеру или, по крайней мере, зарабатывать деньги и быть таким образом материально независимыми) были освобождены политикой социального обеспечения. О детях с психическими или физическими недостатками во многих случаях родителям помогали заботиться профессиональные общинные службы или учреждения, предоставляющие специализированную помощь, позволяя родителям продолжать карьеру, помимо домашнего ухода за ребенком-инвалидом. Государство всеобщего благосостояния сделало возможным это дополнительное разделение труда, что привело к значительному улучшению качества ухода за психически больными и физически неполноценными, инвалидами и престарелыми, и, полагаем, улучшило качество жизни бывших попечителей.

Доступность бесплатной или почти бесплатной медицинской и стоматологической помощи (оплачиваемой, конечно, но оплачиваемой с помощью обязательных страховых схем или через налоги) добавляет людям ожидаемое число «здоровых лет».

В какой-то мере институты государства всеобщего благоденствия ослабили семейные связи. Женатые дети и их родители стали жить отдельной, и все чаще финансово независимой жизнью. Родители уже не могли «оберегать» детей от нежелательного брака или карьерного выбора: дети смогли теперь сами выбирать, на каком факультете университета им учиться, даже если их родители не хотели или не могли их в этом поддерживать. Также следует признать важность государства всеобщего благоденствия в эмансипации женщин: через образование, через базовую финансовую помощь и жилье для разведенных.

Уменьшая зависимость людей от обусловленной финансовой помощи и поддержки со стороны семьи и от квазиволонтерских организаций, таких как церковные общины, государство всеобщего благосостояния действительно сыграло важную роль в ослаблении таких семейных связей. Как это ни парадоксально, «социалистическое» государство, а точнее, капиталистическое государство всеобщего благосостояния, критиковавшееся как «социалистическое», помогло создать и развить «индивидуальную независимость» и «индивидуализм» (идеал либерализма, а точнее: предпосылка либерализма) как никогда раньше. Разумеется, этот высокий уровень индивидуальной самостоятельности был обусловлен высокими взносами в социальное обеспечение, высокими налогами, особенно для более обеспеченных, а также расширенной государственной бюрократией (что уже не входило в идеалы либерализма).

Государства всеобщего благосостояния были одними из самых эгалитарных обществ. Члены такого общества с относительно высоким уровнем дохода и благосостояния более счастливы, чем люди в обществах с высоким экономическим неравенством²¹.

²¹ <https://www.citylab.com/equity/2015/12/income-inequality-makes-people-unhappy/416268/>; см: Ruut Veenhoven & Wim Kalmijn, «Inequality-Adjusted Happiness in Nations: Egalitarianism and Utilitarianism Married in a New Index of Societal Performance», в: *Journal of Happiness Studies*, Special Issue on «Inequality of Happiness

Многие государства ЕС следуют по «двухколейному» пути: с одной стороны, идет процесс переукладывания государственных полномочий и институтов на ЕС, с другой — передача государственной власти на более низкий уровень (региональные администрации, НПО).

Такие «само-сокращения» имеют серьезные последствия. Они частично предсказуемы и преднамеренны, частично непреднамеренны, но предсказуемы (и, вероятно, имеют непредсказуемые и непреднамеренные последствия). Перенос власти сопровождается сокращением самого государства всеобщего благосостояния, что делает государства более компактными (и более согласующимися с либеральными идеалами), а общество — менее эгалитарным. Разумеется, это урезание государства всеобщего благосостояния является преднамеренным, хоть и происходит не слишком заметно. Передача задач и ответственности администрациям более низкого уровня является откровенной «операцией по повышению эффективности» (оптимизацией), поскольку администрации нижнего уровня должны иметь возможность предоставлять одни и те же или подобные услуги при меньших затратах (или даже: поскольку администрации нижнего уровня должны работать лучше за меньшие деньги). Доказательства обратного не влияют на урезание финансирования.

В идеальном случае неолиберальное государство должно быть «непроизводительным» (государственные предприятия вообще не должны существовать, чтобы не мешать частным предприятиям полностью раскрыть свой потенциал) и ограничиться поддержанием (либерального) порядка. Государство — или то, что от него осталось — должно действовать в соответствии с принципами так называемого «Нового государственного управления» (НГУ), то есть государственные учреждения и организации должны действовать так, как если бы они были частными компаниями, с прицелом на экономическую эффективность, рассматривая граждан как клиентов. Подразумевается также, что эти «общественные» компании должны быть инновационными и возглавляться (общественными) предпринимателями,

in Nations», Vol. 6 (2005), стр. 421-455, доступно по адр.: <https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2000s/2005c-full.pdf>; см также: Thomas Piketty, *Capital in the Twenty-First Century*, Harvard U.P., Harvard (Mass), 2014, and Joseph E. Stiglitz, *The Price of Inequality*, Penguin Books, London 2015.

избавляясь от «бюрократии» (возможно, уменьшив количество «бюрократов», но, умножив количество «менеджеров», как не без основания могут возразить критики). Хотя НГУ оставил свой след, в основном, в государственных учреждениях англосаксонских стран (США, Великобритания), страны континентальной Европы также пострадали. Базовое, среднее образование и, в большой степени, высшее образование остаются общественным достоянием в большинстве западноевропейских стран. Общее направление системы здравоохранения и того немногого, что осталось от государства всеобщего благосостояния (частично на более низких административных уровнях), остается «общественным» (то есть в первую очередь или в значительной степени является компетенцией государства). В этих «общественных учреждениях» теперь стоят у руля «Новые Государственные Управленцы» — результат чудотворного скрещивания бюрократов и бизнесменов.

Частичное прекращение государственного финансирования домов престарелых и организации профессиональной помощи на дому для престарелых, «возвращение» психиатрических пациентов обратно в «общество» обрело поддержку как в рыночно-либеральном, так и в консервативном лагере. Дети должны помогать, когда родители нуждаются. На детей, соседей и других лиц возложили ответственность за предоставление помощи на дому пожилым людям, в такой помощи нуждающимся. О физически и умственно неполноценных людях (включая людей, которых ранее принимали психиатрические больницы) теперь должны заботиться преданные граждане. Консервативная позиция была и остается в том, что это верно с моральной точки зрения. Правильно с моральной точки зрения заботиться о своих детях и правильно с моральной точки зрения, когда дети заботятся о своих родителях (и других родственниках). И соседи, и друзья, и знакомые должны помогать, когда сталкиваются с людьми, умственно или физически неспособными заботиться о себе. Это часть того, что значит быть семьей, быть друзьями, принадлежать обществу — как оказывать, так и получать такую помощь; и можно гордиться — скромно и ненавязчиво — тем, что помогаешь, выполняешь семейный или гражданский долг.

Консерваторы признают, что люди не только или, возможно, даже не в первую очередь «индивиды». Каждый принад-

лежит семье, родственникам, религиозной общине, отечеству. Люди могут нормально существовать только потому, что они принадлежат семье, вере, культуре, сообществу ученых (строителей, артистов, военных и т. д.), стране в конце концов.

Некоторые консерваторы ценят помощь, только когда она предоставляется добровольческими организациями или непосредственно родственниками, друзьями, соседями, и, возможно, соотечественниками. Они также ценят исполнение воинского долга, даже в армии по призыву. Предоставление такой помощи через государство — государство всеобщего благосостояния — порой может быть приемлемым для консерваторов, но они опасаются «порочных последствий» деятельности официальных институтов государства, которые, по их мнению, склонны подрывать, а не укреплять «естественные связи» между людьми. Неравенство доступа к такой помощи со стороны родственников и общин, по-видимому, беспокоит их меньше. Неравенство в распределении нагрузки на людей, предоставляющих помощь, если такие «консервативные договоренности» будут преобладать, также не представляет для них проблемы. Вплоть до третьей четверти двадцатого века консерваторы (в основном консерваторы христианско-демократического толка) не отказывались выступать в поддержку законов о защите прав трудящихся, медицинской помощи для рабочего класса, пенсий по старости и других удобств государства всеобщего благосостояния — в ответ на стихийность разнузданного рыночного либерализма. С последней четверти 20-го века консерваторы все чаще принимали сторону неолибералов, которые выступали и голосовали в пользу сокращения государственных расходов на всеобщее благосостояние, часто по моральным соображениям, поскольку предполагается, что государство всеобщего благосостояния подрывает более «естественные» нравственные узы семьи, родства и местной общины.

Действительно, когда государство отступает и обязательные коллективные соглашения должны уступить место поддержке семьи, соседей и благотворительных организаций, более крупные из которых в настоящее время часто работают как обычные предприятия или в соответствии с принципами «нового государственного управления». Бедные пожилые люди снова становятся зависимыми от близких и даже дальних родственников, соседей и других «социальных сетей» (как это называ-

ется на сегодняшнем жаргоне). В неолиберальном государстве словосочетание «пожилые люди» может быть легко заменено на «физических инвалидов», «умственно ограниченных», «временно безработных» и «безработных по какой-либо другой причине». И многие пожилые люди, которые имеют такие «социальные сети» (имеют детей или более дальних родственников, добрых соседей) или для которых такая «социальная сеть» может быть «организована» (например, работниками местной администрации, оказывающими давление на соседей и дальних родственников, чтобы сделать «то, что правильно»), действительно получают помощь. Другим повезет меньше. Что же касается высшего и, возможно, даже среднего образования, то, например, маловероятно, что дальних родственников, не говоря уже о «случайных людях» из местной общины, можно сподвигнуть на помощь в финансировании учебы талантливого племянника X на архитектора и талантливой дочери соседа Y, идущей в юридическую школу. Могут ли такие талантливые молодые люди не взять кредит? Молодые люди из бедных слоев населения менее склонны брать крупные кредиты от коммерческих банков, даже если такие кредиты доступны, чем молодые люди из более обеспеченных слоев общества.

Некоторая помощь может предоставляться в натуральной форме. Можно готовить еду для больного соседа пару раз в неделю или помогать в уборке дома; выкатывать инвалидную коляску старой, вышедшей на пенсию тети (не слишком приятной женщины, которую вы никогда особенно не любили, но которая пережила всех других родственников своего поколения) по утрам каждую субботу в соседнем городском парке; помогать своим (не слишком умным) родственникам, живущим по соседству, заполнять налоговые декларации и следить за тем, чтобы они своевременно оплачивали свои счета (пока они не перестанут доверять вам, безо всякой причины); возможно, даже найдется время, чтобы взять с собой еще одного соседа (глухого и подслеповатого на левый глаз) в магазин в четверг вечером, чтобы помочь ему купить продукты и забрать лекарство по дороге домой. Но далеко не всякая помощь может предоставляться в натуральной форме или в форме потраченного времени. Например, высшее образование очень дорого, и я не могу помочь талантливой дочери моего соседа получить медицинскую степень. Если бы я был достаточно

богат, чтобы сделать это, я бы не жил в этом районе. Более того, предъявлять требования к более здоровым, более умным людям помочь случайным знакомым, дальним родственникам, неприятным соседям, которые никогда не помогали вам, когда вам это было нужно — это уже чересчур. Профессиональная помощь в государстве всеобщего благосостояния позволяла разделить это бремя.

Люди становятся более зависимы от любви и доброты близких родственников и чужих людей. Более богатые семьи будут жить так же, как раньше, возможно, даже лучше, потому что будут меньше обременены налогами и взносами, необходимыми для содержания государства всеобщего благосостояния²².

Поскольку бедные и нуждающиеся люди, как правило, живут в бедных кварталах, при такой политике ожидается, что бедные люди будут помогать еще более бедным или, по крайней мере, более нуждающимся людям. «Морально озабоченные» нео-консерваторы, так «стараящиеся для людей», в конечном счете делают ставку на моральные качества, семейную или соседскую взаимопомощь в среде самой экономически уязвимой части населения. В «высших кругах», среди старой аристократии, идея о важности династии никогда не терялась. Поздняя и новейшая «капиталистические» аристократии также предпочитают завещать свое недавно полученное богатство ближайшим родственникам, что кажется вполне «естественным». Фактически, большинство состояний «династические». Члены высших кругов, за исключением сказочно разбогатевших на индустрии развлечений и спорта, приобрели свое положение и сохранили свой статус именно потому, что они с самого начала были в привилегированном положении. Благодаря тому, что они получили надлежащее образование, посещали многообещающие школы и престижные институты, имели ценные контакты — деловые, карьерные, супружеские — у них было

²² Следует отметить, что сверхбогатые люди во многих государствах всеобщего благосостояния нашли различные способы уклоняться от уплаты таких налогов, способы во многих случаях слишком дорогостоящие, чтобы ими могли воспользоваться представители среднего класса. Для правительства самый простой путь — взимать налог на добавленную стоимость. Этот налог и, возможно, налоги на заработную плату (с фиксированной ставкой), скорее всего, будут поддерживаться. Вероятным результатом такой политики будет то, что распределение богатства станет еще более неравным.

больше шансов сохранить свою позицию. «Личные достижения» находятся в тесной связи с достижениями, помощью и наследием семьи: матери, отца, бабушки и дедушки или всех их вместе взятых. Поддержание социального (и материального) положения элиты из поколения в поколение — даже в «меритократической системе» — в значительной степени объясняется чувством привилегированности (*sense of entitlement*) «этих людей»²³. Их претензия на поступление в престижный колледж или на назначение на важную должность и т. д., как будто бы это было само собой разумеющимся, действительно имеет значительный эффект. У них нет проблем вообразить себя у руля правления крупной корпорации или политиком и партийным лидером, или даже во главе целой страны, или, что совсем из другой области, орудовать скальпелем в качестве известного хирурга, просто потому, что их отец, дядя, дед, мать или кто бы то ни было, тоже этим занимались, и они не видят в этом ничего особенного.

Природные данные, конечно, важны, талант часто бывает необходим. Но важны также «среда», воспитание и семейные связи. И не слишком много нужно таланта в любой сфере, чтобы просто наследовать контакты и капитал. Даже если кто-то не очень талантлив, можно поступить, скажем, в престижную бизнес-школу, в которой учились или, в которую, возможно, делали пожертвования отец или дед. Конечно одним этим успех в бизнесе не гарантируется, но человек уже, как говорится, «в команде», что само по себе кое-чего стоит. Знать людей, от которых многое зависит, часто является залогом успеха.

Поэтому важны и природа, и воспитание, и я бы предположил, что важной частью этого воспитания, образования или социализации является приобретение чувства привилегированности. Ослабление государства всеобщего благосостояния

²³ Я не смог бы доказать важность чувства привилегированности. Я даже не знаю, что можно считать доказательством в таком вопросе. Могу просто сказать, что это утверждение является результатом постоянного наблюдения за определенным роде поведением и его воздействием на других, в сферах жизни, к которым я имею доступ, среди людей, которые с ним сталкиваются, поэтому, полагаю, что такое поведение и его последствия не ограничиваются «моей личной сферой». Это также проявляется в необоснованных претензиях, которые другие люди принимают за чистую монету, как например, в «Ревизоре» Гоголя, и применяется многочисленными аферистами.

будет препятствовать дальнейшему росту меритократии. Если образование является ключом к социальному лифту для людей из менее обеспеченных социальных слоев, то отстранение государства от финансирования образования окажет влияние на разделение общества на два сегмента: образованный и привилегированный с одной стороны и более многочисленный, малообразованный и бедный — с другой. Целые страны могут быть снова разделены на Две Нации²⁴.

Возможно, сегодняшняя Россия уже продвинулась дальше по этому пути, чем большинство западноевропейских стран. Государственное социальное обеспечение в социалистическом (советском) государстве всеобщего благосостояния в некоторых отношениях было скромнее, чем в государствах всеобщего благосостояния Западной Европы, особенно в континентальной ее части, но это было все же государство всеобщего благосостояния. В ближайшую постсоветскую эпоху формальные требования к государственному социальному обеспечению в России не были существенно пересмотрены (кроме права на труд (получение дохода)). Однако государство часто просто не справлялось. Бесплатное начальное образование, школьные учебники, бесплатная базовая медицинская помощь, даже основные продукты питания были не всегда, не везде и не для всех доступными, а за определенные деньги, даже если они предназначались для бесплатного распределения. Только после подъема и «реставрации» российской экономики (ВВП, уровня занятости, среднего дохода) в начале 2000-х годов государство всеобщего благосостояния было монетизировано и сокращено до минимума. С тех пор фактические государственные расходы на здравоохранение и образование были крайне низкими. Государственные расходы на образование составляют менее 4% ВВП в год, в результате чего значительная часть фактических расходов на образование приходится на (состоятельные)

²⁴ Здесь отсылка к книге Бенджамина Дизраэли «Сибилла, или Две нации» (1845). Дизраэли выделяет два мира (нации) — элиты и рабочего класса — в одной стране. Рабочий класс, который существовал весь 19-й и начало 20-го века в Великобритании и со второй половины 19-го до второй четверти 20-го века в большинстве других стран Европы, вряд ли вернется в «наше время», поскольку простой факт, что индустрия, как мы ее знали, и, следовательно, промышленный труд (почти) исчезли. Но эта вторая «нация» могла бы быть отличной от (промышленного) рабочего класса.

семьи, которые могут выплачивать значительные суммы за частное обучение как в школе, так и в университете, дома или за границей. Российская денежная элита предпочитает, чтобы их дети обучались в английских *public schools* (в Англии это *частные школы*), а также в элитных и, следовательно, дорогостоящих колледжах и других высших учебных заведениях. Государственные расходы на здравоохранение также более низкие, как в абсолютном, так и в относительном выражении, по сравнению с Западной Европой, а также по сравнению со многими другими странами. Частная медицинская помощь широко доступна в крупных городах, но многие россияне не могут ее оплачивать.

Интересный случай представляет собой попытка российского правительства изменить пенсионную систему, в частности повышение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 для женщин (хотя средняя продолжительность жизни для мужчин по-прежнему значительно ниже, чем у женщин). Общественность громко выразила свое возмущение, и в 2017 и 2018 годах в крупных и малых городах прошли уличные выступления. Со времен изменений первоначальной советской системы благосостояния в начале 2000-х протесты не были столь массовыми и единодушными. В то время В.В. Путин также был президентом, но он не обещал сохранить прежнюю систему в ее тогдашней форме. Более того, сокращения льгот были представлены как монетизация, модернизация и техническое переоформление (не слишком убедительно, но все же). На этот раз Путина можно поймать на слове, что он, как президент, обещал не повышать пенсионный возраст. Действительно, это была правительственная (а не его) инициатива по увеличению пенсионного возраста (и он, как президент, молчал по этому вопросу, законопроект по которому в настоящее время рассматривается Государственной Думой), но законопроект о повышении пенсионного возраста не может быть замаскирован под что-либо другое. Повидимому, народная поддержка президента Путина серьезно уменьшилась из-за этого пересмотра пенсионного возраста. Для многих людей в России В.В. Путин — это воплощение государства. Поэтому на карту поставлено не просто доверие к правительству или к администрации президента — доверие к самому государству было подорвано из-за посягательства

на то, что многие считают существенным и самым основным, экзистенциальным правом.

Выплаты, льготы, подарки вызывают в нас чувство благодарности и лояльности, поскольку мы благодарны тем, кто хорошо к нам относится. Томас Гоббс причисляет это чувство к «законам природы». Верно также и обратное: то, что мы воспринимаем как должное (ранний пенсионный возраст) может быть отнято только государством-врагом, и то, что нас лишает чего-то важного (отнимает годы заслуженного отдыха), не достойно нашей лояльности.

Перевод с английского Михаила Александрова

Литературный фарватер

Борис Хазанов

Эрнст Юнгер, или прелесть правизны

1

«...А все же свидание удалось! Водружена вежа. Вольфрам Дуфнер постучался в дверь, я думал, что нам пора уезжать, но было еще совсем темно. Он крикнул: «Комета!». Я выскочил с полевым биноклем — Галлей стоял в небе, как семьдесят шесть лет тому назад, когда я видел его в Ребурге, вместе с моими родителями, сестрой и братьями»¹.

Весной 1986 года писатель Эрнст Юнгер отправился в Малайзию, чтобы второй раз увидеть комету Галлея, которая движется по вытянутому эллипсу, пересекая околосолнечное пространство каждые 76 лет. В следующем, 1987 году вышли путевые записки Юнгера под названием «Дважды Галлей».

Юнгер живет в местечке Вильфлинген, в Южном Вюртемберге, в доме бывшего лесничества, среди книг, экзотических сувениров — хозяин объездил весь мир — и одной из крупнейших в мире коллекций жуков. Он признанный в научном мире энтомолог, его именем названо несколько описанных им видов жесткокрылых (а также бабочек, моллюсков и простейших). Он сидит с папироской в саду, каждый день совершает пешие прогулки, каждое утро садится за письменный стол. Это человек небольшого роста, стройный, почти молодой, седой как лунь. Автор романов, рассказов, дневников, афоризмов, эссеист и философ, бывший капитан вермахта, классик немецкого языка и живая история Германии, Юнгеру сто один год².

2

Этот человек застал в живых Ницше, Ибсена, Чехова, Золя, Марка Твена. Ему шел шестнадцатый год, когда умер Толстой. Он был современником Джойса, Пруста, Музиля, Кафки, Томаса Манна. Он был также современником Ленина. Некто Гитлер приходился ему почти ровесником.

¹ Здесь и далее все цитаты даются в переводе автора статьи.

² Эссе было написано в 1996 году, за два года до смерти Эрнста Юнгера — *прим. ред.*

Ветхие старцы, древние старухи — дети в сравнении с ним. Он старше множества знаменитостей, давно сошедших со сцены, он пережил две мировые войны, несколько революций, нацизм, коммунизм, видел властителей, о которых помнят только историки, и государства, от которых остались обломки. При нем был изобретен самолет, построен танк, расщеплен атом, при нем появились автомобили, телефон, электрическое освещение, радио, он жил во времена, когда дамы носили турнюры и кринолины, мужчины — высокие воротнички и нафабранные усы. Четыре эпохи немецкой истории: монархия, Веймарская республика, Третья империя, Федеративная республика — часть его биографии и, в той или иной мере, часть его творчества.

Он выпустил около полусотни книг, о нем существует труднообозримая литература на многих языках и почти ничего — на русском. Некоторых античных авторов мы знаем лишь по цитатам, дошедшим до нас. Примерно так можно читать Юнгера по-русски: несколько закавыченных фраз в нескольких обзорах западной литературы. Короткая глава о Юнгере в академической «Истории литературы ФРГ», принадлежащая Ю. Архипову, написана с нескрываемой ненавистью.

3

Семнадцати лет, в последнем классе реального училища, начитавшись приключенческой и колониальной литературы, Юнгер приобрел у старьевщика за 12 марок вышедший из употребления револьвер и сбежал из родительского дома. Во Франции он завербовался в Иностранный легион и был отправлен в учебную роту в Алжир. Служить в легионе он не собирался, это был лишь способ добраться до Африки. Вместе с приятелем Юнгер покинул казарму, был найден спящим в стоге сена, арестован; тем временем пришла телеграмма из Германии от отца, успевшего принять свои меры: «Французское правительство распорядилось о твоём увольнении». Блудный сын вернулся домой в тусклый городок Ребург близ Ганновера, где отец его, химик, содержал аптеку; а летом следующего, 1914 года началась мировая война.

Первого августа Юнгер записался в армию добровольцем, кое-как сдал школьные экзамены и до декабря проходил срочное обучение в стрелковом полку принца Альбрехта в

Ганновере; на другой день после Рождества полк выступил на Западный фронт в Шампань.

«Студенты, школяры, подмастерья, мы оставили все, за короткие недели подготовки слились воедино, в одно большое тело, охваченное восторгом. В эпоху, когда никому ничего не грозило, мы тосковали о чем-то необычайном, рискованном, героическом. Пришла война и опьянила нас. Под дождем из цветов выступили мы в путь, хмельные от запаха роз и крови. Война предстала перед нами как нечто великое, мощное и праздничное. Она казалась нам единственным делом, достойным мужчины, веселой перестрелкой на заросших цветами, забрызганных кровью лугах... Ах, только бы туда, только бы не сидеть дома!» («В стальных грозах»).

4

Рейх выставил на обоих фронтах 200 дивизий. Почти сразу был достигнут оглушительный успех: в начале сентября армия приблизилась к Парижу. Была оккупирована нейтральная Бельгия, на востоке две русские армии, вторгшиеся в Восточную Пруссию ради спасения Франции, окружены и разбиты. Казалось, победа — дело двух-трех недель. Но затем наступление на Западе захлебнулось. Войска зарылись в землю, началась позиционная война.

«Вместо чаемой опасности — грязь, изнурительный труд и бессонные ночи... А еще хуже — скука, которая выматывает солдату нервы сильнее, чем близость смерти» («В стальных грозах»).

В апреле 1915 года, в Лотарингии, под ураганным огнем 20-летний Юнгер был ранен, получил отпуск, по совету отца записался курсантом в военную школу, летом вернулся на фронт в чине прапорщика. Накануне знаменитой битвы на Сомме, стоившей обеим сторонам более одного миллиона убитых, Юнгер был вновь тяжело ранен, это спасло ему жизнь: его взвод был уничтожен под Гиймоном. Возвратившись, он был ранен еще несколько раз, стал лейтенантом, командовал ударной ротой и прославился на всю дивизию своей фантастической смелостью; получил Железный крест I класса и Рыцарский крест дома Гогенцоллернов; в августе 1918 года последнее, четырнадцатое по счету, тяжелое ранение под Камбре в Северной Франции

закончило войну для Юнгера. В госпитале он получил от командира дивизии телеграмму о том, что кайзер пожаловал ему орден Pour le Mérite (За заслугу). Редчайшая, чрезвычайно престижная награда, учрежденная Фридрихом Прусским в 1740 году; с тех пор ее получило считанное число храбрцев.

5

Юнгер с детства был книголюбом, на фронте не расставался с книгами. В декабре 1917 года он пишет брату Фридриху Георгу (впоследствии известному поэту и эссеисту), что читает «преимущественно русских: Гоголя, Достоевского, Толстого». Но в его сумке лежит и «Тристрам Шенди», и пособие по энтомологии; сидя в блиндаже, ночуя в деревнях, он читает Ницше, Шопенгауэра, стихи Рембо, огромную поэму Ариосто «Неистовый Роланд». Наконец, всю войну, в окопах и в госпиталях, Юнгер вел дневниковые записи.

Эти записи, обработанные после войны, вышли в свет в 1920 году в «самоиздании», то есть самиздате, за счет автора, вернее, за счет отца, под названием «В стальных грозах».

Книга-первенец, которую до сих пор называют в числе его лучших достижений; книга, пополнившая — или даже открывшая — длинный ряд более или менее известных произведений европейских писателей-фронтовиков о Первой мировой войне. Но от тех из них, которые, в частности, были переведены в Советском Союзе, от книг Дюамеля, Ремарка, Барбюса, забытого ныне Людвиг Ренна, от военных страниц «Путешествия на край ночи» Селина, от романов писателей «потерянного поколения», она отличается и своим тоном, принесшим автору не вполне заслуженную славу певца войны, и авторским «мы», каким оно вырисовывается в «Дневнике командира ударной части» (подзаголовок книги Юнгера).

Вот любопытная оценка этой книги, сделанная самим писателем много лет спустя, во втором томе заметок «Семьдесят — мимо» (1981): ««В стальных грозах»... Прощание воина с войной-игрой гомеровских героев, с их славой. Он все еще верит, что сможет выстоять перед натиском титанических сил; он видит лишь новые средства ведения войны, но не вселенскую власть, которая ворочает ими. Он сменил цветной мундир на серую робу. Солдат, пока жив, сделался незаметным, невиди-

мым для врага; убитый — стал неизвестным солдатом. Он все еще хочет приноровить традиционный этос к миру огня. Но там царят другие законы. Птица Феникс в стальном оперении: теперь она называется — самолет».

6

Сейчас уже мало кто помнит одно любопытное обстоятельство: на исходе Первой мировой войны Германия вновь стояла накануне победы. Никогда военно-стратегическое положение не казалось таким блестящим, как в первые месяцы 1918 года. На востоке армия занимала линию от Эстонии до Ростова-на-Дону, на западе фронт проходил далеко от границ рейха. Брест-Литовский мир дал возможность перебросить на Западный фронт дополнительные силы. Весной немцы прорвали фронт в Арденнах; было решено закончить войну одним ударом. За этим последовало еще два броска. Снова, как в первые месяцы войны, войска докатились до Марны. Но затем наступательный порыв истощился. На помощь французам и англичанам пришли американцы. Германия была измочалена четырехлетней войной и блокадой. Голодало не только население в тылу, но и воюющая армия. Силы иссякли, страна была обречена.

Когда в мае 1919 года союзники продиктовали новому республиканскому правительству условия мирного договора, он вызвал гнев и отчаяние. Договор предусматривал потерю имперской территории, на которой проживала десятая часть населения страны, — потерю трех четвертей запасов железной руды, четверти запасов угля и одной шестой посевных площадей. Германия лишилась всех своих заморских колоний. Все заграничные вложения подлежали конфискации. Все главные реки страны были интернационализированы, был отнят торговый флот и так далее. Плюс миллиардные контрибуции.

Юнгеру повезло, он вернулся с войны живым, с руками и ногами. Тому, кто хотел бы оживить в своей памяти *другой* образ войны, достаточно было взглянуть на гравюры Отто Дикса. Но и реализм автора «Стальных гроз» («Задача этой книги, — говорится в предисловии, — объективно рассказать о том, что переживает солдат и командир на большой войне... и что он о себе думает») нисколько не уступал, например, реализму

Эриха Марии Ремарка, чей роман «На Западном фронте без перемен» (1929) пользовался колоссальным успехом. Книга Ремарка вечером 10 мая 1933 года на площади перед оперным театром в Берлине одной из первых полетела в огонь под зычный возглас: «Против морального разложения нации, оплевывания фронтового прошлого и боевого товарищества!». Книг Юнгера на этом костре не было.

Он не «оплеывал» мировую бойню. После первого успеха Юнгер выпустил еще три книги о мировой войне: «Бой как внутреннее переживание» (1922), «Роцца 125» (1925), «Огонь и кровь» (1926). Эти книги в самом деле противопоставили его большому числу авторов-фронтовиков, обличавших войну с левых, интернационалистических, анархических или пацифистских позиций. Юнгер несомненно и определенно находился «справа». Тем не менее он не влился в когорту писателей-ландскнехтов, тех, кто в самом деле пытался восславить войну, как, например, автор известного в свое время романа «Заградительный огонь вокруг Германии» Вернер Боймельбург, ставший нацистом.

7

Нам, дожившим до нового *fin de siècle*, уже не так легко представить себе, каким обвалом цивилизации была для европейцев первая в истории мировая война. Семьдесят миллионов человек надели военную форму. На фронтах было убито 10 миллионов и 20 миллионов ранено. Рухнуло четыре империи. Война положила конец эпохе, начавшейся после французской революции, вызвала кризис либерально-демократических институтов, поставила под вопрос достоинство демократии в целом; война воспринималась как гибель цивилизации и вместе с тем как ее чудовищный рекорд.

Невиданная концентрация военной техники, новые виды вооружения, совершенно новый облик войны — «материальные сражения». Художественная и мемуарная литература 20-х годов пыталась переварить этот опыт. Ее главной проблемой была ситуация рядового человека на войне — в траншеях, на полях, в госпитале, в плену.

Война проиграна. Но ее смысл, с точки зрения Юнгера, не в победе, и ничто не может отменить того, чем она была:

великой инициацией и самоосуществлением автора как человека и мужчины.

Война в ранних книгах Юнгера не осмысливается как кульминация социального, идейного или политического кризиса, как сведение национальных счетов, столкновение империалистических амбиций или что-либо подобное. Война — это грандиозное стихийное событие, только роль стихийных сил здесь выполняет техника. Дьяволу техники противостоит человек, который защищен только своей шинелью — и мужеством. Бой возвращает человека к первичному, «элементарному» переживанию мира, но и предписывает ему единственно подобающую роль — сохранить достоинство, выдержку, самообладание. Устоять во что бы то ни стало.

Юнгера причисляли к «нигилистам», духовным детям Ницше с его героическим отчаянием и попыткой утвердить человеческое достоинство ни на чем, — ведь Бог умер, — и повалилась вся система буржуазных ценностей. За что схватиться? Поиск ценностей в деморализованном мире — быть может, главная тема всей новой западной литературы. В 20-х годах — и тут мы покидаем собственно военную тему — речь пойдет уже не о фронтовых книгах — Юнгер нашел свой идеал в так называемом новом национализме.

8

Этот национализм питался мужской гордостью, офицерским высокомерием, горечью поражения, зрелищем униженной и разоренной, сошедшей с рельс родины, отвращением к шаткой веймарской демократии. Отталкиванием от демократии вообще.

«Новый» национализм. Сегодня он не выглядит свежим товаром. Он издает знакомый душливый запах. Новых идеологий не бывает, как не бывает новых сюжетов или новых способов любви. Идеологии постоянно воспроизводятся, используя разные маски и терминологические наименования. Набор идеологий ограничен.

Дело, однако, обстоит не так просто; не идеология выбирает писателя, но писатель поддается соблазну идеологии — либо сопротивляется ей. Идеологии и философии предшествует психология. Одно дело философия, другое — этот щеголеватый, детски-неустрашимый, не чуждый мужского кокетства офицер-

картинка, каким он выглядит на многочисленных фотографиях 20-х, 30-х, 40-х годов. Писатель, чья муза — опасность, чей пароль — действие. Жизнь как высокая авантюра. Психологический тип, к которому тяготел Эрнст Юнгер, который он культивировал в себе, был тип, сложившийся к началу 20-х не только в Германии. Назовем его так: воин-эстет.

По другую сторону фронта воевал и был убит через месяц после начала войны другой волонтер воинственного национализма, Шарль Пеги, принадлежавший, правда, к среднему поколению: ему был 41 год. Но Андре Мальро, впоследствии сражавшийся против фашизма и нацизма, — почти ровесник и в каком-то смысле двойник Юнгера: та же героика и тот же авантюризм, то же навязчивое желание быть мужчиной и человеком действия, оставаясь созерцателем и эстетом. Тот же *стиль*.

К этой когорте принадлежит и граф Анри де Монтерлан — блестящий красавец, на год старше Юнгера, как и он, солдат Первой мировой войны, романтический националист в полусредневековом, полуфашистском вкусе, спортсмен, искатель приключений, убивший себя на склоне лет. Пожалуй, уместно вспомнить Пьера Дриё ля Рошеля, романиста и публициста, ушедшего школьником на фронт и раненого под Верденом, донжуана в жизни и в политике, который некоторое время колебался между коммунизмом и национал-социализмом, с восторгом взирал в Нюрнберге на «марш отборных отрядов, в черном с головы до ног», стал коллаборационистом и тоже покончил с собой. Сюда же можно причислить «князя» Габриеле д'Аннунцио, автора «Гимнов великодержавной Италии» и командира отряда националистов, захватившего в 1919 году югославскую Риеку; впоследствии — личного друга дуче. Есть нечто общее с этими персонажами у графа Антуана де Сент-Экзюпери, человека противоположных политических и нравственных убеждений. И наконец, еще один собрат международного ордена рыцарей-эстетов, представитель литературы, где этот тип был совсем не популярен: путешественник и волонтер мировой войны, расстрелянный в 1921 году, — Николай Гумилев.

В разное время эти люди выступают под знаменами разного цвета, но, конечно, мы имеем дело не с политиками. В лучшем случае это политические романтики. Холодные и отважные

в жизни, мало склонные к юмору, они на самом деле опьянены. Война, как мы помним, породила «потерянное поколение» (lost generation — словечко Гертруды Стайн). Но люди, подобные Юнгеру, вернулись с особым хмельным блеском в глазах — пьяные вином войны. Только на самом деле это было не вино, а наркотик. Не зря Юнгер впоследствии экспериментировал с эфиром, гашишем, мескалином, ЛСД. Романтизм таит в себе прелесть наркотика и очарование галлюциногена. Так они становятся наркоманами радикальной идеи: чаще правой, иногда левой. Бюргерская умеренность и ее политический эквивалент — либеральная демократия — представляются им бесцветными, пресными.

9

После войны Юнгер несколько лет носил форму рейхсвера, затем стал студентом, изучал зоологию в Лейпциге и Неаполе, женился, писал книги и статьи, редактировал журналы с выразительными названиями: «Штандарт. Еженедельник Стального шлема», «Арминий. Боевой орган немецких националистов», «Сопrotивление», «Атака» и т. п. Фронтовые связи сблизили его с союзом ветеранов «Стальной шлем» и с так называемой Консервативной революцией, о которой здесь нужно сказать несколько слов.

Термин возник позже и может вызвать недоумение. Какая же это революция, если она консервативная? Течение это не было представлено ни политической партией, ни литературным кружком. Идеологи Консервативной революции нередко тянули в разные стороны, вообще были очень разными людьми. Понятия, которыми они оперировали, — государство, народ, нация, культура, — толковались весьма прихотливо, с изрядной долей мифотворчества. Список этих людей открывает Артур Мёллер ван ден Брук, автор историософского трактата «Третья империя», выпущенного в 1923 году. Под Третьей империей подразумевалась грядущая Германия, новое общенациональное и авторитарное государство, которое придет на смену своим предшественникам — Священной Римской империи и монархии Гогенцоллернов. Мёллер ван ден Брук не дожил до времен, когда брошенное им словцо стало названием гитлеровского режима, и неизвестно, как он отнесся бы к этому режиму; в 1925 году он покончил с собой.

Среди других трубадуров Консервативной революции мы находим Освальда Шпенглера, который после «Заката Европы» развивал свой вариант спасения — «прусский социализм»; но переворот тридцать третьего года не сделал его сторонником нового режима, он отверг его заигрывания и успел вовремя умереть — в 1936 году. Зато Карл Шмитт, крупнейший государствовед и правовед, запятнал себя симпатиями к нацизму. Национал-большевик Эрнст Никиш угодил после переворота в концлагерь. Писатель и публицист Эдгар Юнг был убит.

10

Два цвета времени окрасили Консервативную революцию — черный и красный. Двойками были источники вдохновения этих революционеров-реакционеров. Немецкий романтизм XIX века и «философия жизни», включая Ницше, — с одной стороны. С другой — горестная действительность послевоенных лет, раненое национальное самолюбие, легенда об «ударе в спину», экономический крах, инфляция, потрясение всех основ.

Война не сделала этих людей противниками насилия, и поражение не отбило у них охоту воевать. Напротив, главное и окончательное сражение было впереди. Но речь шла не о том, чтобы вновь схватиться с наследственным врагом — Францией. Консервативная революция целилась в собственное государство — Веймарскую республику. У всех консервативных революционеров был общий враг — либеральный образ мыслей. Ненависть к коррумпированной демократии объединяла эту пеструю компанию.

Редкий случай в истории — сыновья были не левее, а правее отцов. Никаких попыток вернуться к «доброму старому времени»! С ним раз и навсегда покончено. Старики обанкротились. С ними не о чем разговаривать. Речь идет о новом, грозном и неслыханном будущем страны, которое будет воздвигнуто на фундаменте «национальных ценностей». Национализм был общим знаменателем, мощным и темным стимулом Консервативной революции.

Она нагроутила понятие нации харизматическим содержанием: «нам» принадлежит великая историческая миссия. Если сегодня перечитать некоторые программные тексты, написанные выпренним, невыносимо цветистым языком, нашпигованные

такими словесами, как «битва», «опьянение», «кровь», «дух», «почва», «раса», «судьба», такими выражениями, как «кратер войны», «северный демон», «имперский народ», «единство веры и воли», «грядущее тысячелетие германской судьбы», если наугад выхватить из сочинений консервативных революционеров такие цитаты, как фраза Шпенглера: «Народ есть союз мужчин, осознавших себя единым целым; без этого чувства нет народа», или следующий пассаж Эрнста Юнгера: «Новое мирочувствие... есть не что иное, как воля увидеть и воссоздать жизнь в аспекте судьбы и крови. Это воля новой аристократии, которую сотворила война, отбор отважнейших, чей дух не сломит никакое оружие в мире; тех, кто чувствует свое призвание к господству», — если расшифровать эту мрачную риторику, взглянуть на нее сегодняшними глазами, вывод будет однозначным. Как бы ни сложилась судьба каждого из них, эти люди звали к фашизму. Хотели они этого или нет, но они расчищали дорогу Гитлеру.

Они оснастили немецкий национал-социализм броскими формулами, подарили ему звучный язык, а подчас и трескучий пафос. Они стали голосом многочисленных правых группировок, ненавидевших республику и общими усилиями похоронивших ее.

11

Разумеется, все это дела давно минувших дней. И если мы уделили столько места раннему Юнгеру, то отчасти потому, что до сих пор — спустя три четверти века — в Германии ему не могут простить некоторых из его тогдашних выступлений. «Ледяной сластолюбец варварства» — как выразился Томас Манн. Многократно обсуждался вопрос, был ли Юнгер на самом деле профашистским писателем. Тут невозможно не вспомнить о двух книгах Юнгера, написанных накануне нацистского переворота: «Рабочий» (1932) и «Тотальная мобилизация» (вышла в свет в 1934-м). Обе книги возвестили о наступлении эры тоталитаризма. Тем не менее они исключают однозначный ответ.

Трехсотстраничное эссе «Рабочий» (которому Мартин Хайдеггер посвятил специальный семинар во Фрейбургском университете) может напомнить некоторые известные сочине-

ния, вышедшие между 1918 и 1930 годами, книги, в которых выразилось совершенно новое и особое настроение; книги пророческие и апокалиптические. «Закат Европы» Шпенглера, «Дух утопии» Эрнста Блоха, «Дух как противник души» Людвиг Клагеса, «Звезда искупления» Франца Розенцвейга. Можно было бы назвать еще несколько трактатов в этом роде. Можно говорить об особом — философско-музыкальном, полунатурном, полупрагматическом — жанре. В этих объемистых томах, восхитивших публику блеском стиля и смелостью обобщений, каким-то призрачным сиянием, есть то, что хочется назвать насильственной тотальностью. Они притязают на самый широкий охват истории и поработают читателя своим авторитарным тоном и языком, навязывают ему под видом философского дискурса некую соблазнительную и опасную мифологию. В них есть Rausch — то самое «опьянение», которое сделалось паролем эпохи. В исторической перспективе они представляют собой поздние цветы немецкой классической философии, пахучие продукты ее разложения.

12

Тотальная мобилизация Юнгера не соответствует привычному значению этого выражения, а его Рабочий мало похож на реального рабочего человека, которому чаще всего не до высоких материй и выспренных слов.

«Не о том речь, что к власти приходит новый политический или социальный класс, а речь идет о том, что сферой власти сознательно и разумно овладевает новый тип человека, не уступающий прежним великим персонификациям истории. Вот почему мы отказываемся видеть в Рабочем всего лишь представителя нового сословия, нового общества, новой экономической системы; либо он ничто, либо нечто куда более значительное, а именно — воплощение суверенного, наделенного особой свободой образа, который следует самоличному призванию и повинуется собственному закону...» («Рабочий»).

Времена анархической свободы, либеральных иллюзий, сентиментального уюта прошли. Мир вступил в военно-индустриальную эпоху, наступили железные будни. Новое общественное устройство основано на трудовом братстве, дисциплине, техническом прогрессе. Будущее принадлежит Рабочему

и Солдату, двуединому субъекту тотального созидательного процесса и одновременно его воплощению; их общая задача — «преображение пространства».

Две черты этого философствования бросаются в глаза. Первая — неожиданное совпадение с героикой социалистического строительства и тотальным планированием в СССР. Государство Рабочего оказывается идеализированным проектом пролетарско-социалистического государства, уже построенного (или якобы построенного) в Советской России. Вторая черта существенней. Правофланговый тотальной мобилизации, труженик войны и солдат труда, подозрительно напоминающий живого робота, не является, однако, инструментом какого-то надчеловеческого прогресса. Он не слуга машины, хотя и живет среди молний, в свисте и грохоте механизмов. Смысл его деятельности не в том, чтобы приумножать материальные блага, построить рай на земле, возвести гигантскую гидроэлектростанцию или что-нибудь такое. Рабочий — не объект истории. Но он и не ее субъект. В утопическом рабочем государстве истории нет. Рабочий и воин — это *тип поведения*. Нравственность и политика вынесены за скобки. Мы возвращаемся к тому, что представляется истинной политикой и моралью Эрнста Юнгера, по крайней мере первой половины его творческого пути: к стилю.

13

Когда вспоминаешь все, что произошло, хочется отшвырнуть ногой гнусные книги и куском угля крест-накрест перечеркнуть физиономии авторов, которые поскрипывали лакированными сапогами, попивали прохладное бургундское и совершенствовали периоды своей прозы в то время, когда другие подыхали в лагерях. В то время, когда Бенъямин принял яд, чтобы не попасть в когти гестапо при попытке перейти границу в Пиренеях. Когда Дитрих Бонгёффер был расстрелян в концлагере Флоссенбург. Когда густой черный дым валил из трубы Освенцима. Когда, как сказано в одном стихотворении Брехта, разговор о деревьях кажется преступлением, потому что он заключает в себе молчание о погибших. «Сады и улицы» (1942, одна из дневниковых книг Юнгера) — разве это не разговор о деревьях?

Однажды он записал: «Цензура воспитывает утонченность стиля, как дуэль — утонченность нравов». Но бывают эпохи, когда эстетизм оборачивается варварством, а от изящного слога мутит и выворачивает наизнанку. Тому, кто вернулся из крысиного ада, знакомо чувство отвращения, которое вызывают ряды элегантно переплетенных томиков в книжном шкафу: кажется, что эти поэты-эстеты, эти квартиранты башен слоновой кости предали тебя.

Будем, однако, справедливы. Ретроспективный взгляд находит в сочинениях Юнгера 30-х годов не панегирик эпохе, а скорее ее диагноз.

Он продолжал печататься и после переворота; путешествовал, выпускал путевые записки. Юнгер не написал ни одной строчки в угоду новой власти, не опубликовал ни одного текста, в котором можно было бы распознать присутствие официальной идеологии. Делались попытки привлечь его на сторону режима; ничего не вышло. «На всякий случай» (кто не с нами, тот против нас!) он был подвергнут домашнему обыску. Этим, однако, неприятности ограничились. Имеется датированный сентябрем 1936 года архивный документ, из которого следует, что гестапо наблюдало за Юнгером. Тем не менее его оставили в покое — слишком высок был престиж автора «Стальных гроз» и кавалера ордена *Pour le Mérite*. Вероятно, сыграло роль и то, что у Юнгера были влиятельные друзья «наверху».

С присущей ему холодной надменностью он отклонил предложение вступить в перекрашенную на новый лад Прусскую академию литературы. Поселил в своем доме жену и сына арестованного друга Эрнста Никиша. У Юнгера не было иллюзий относительно того, в каком государстве он теперь живет.

«Я сидел в большом кафе, играл оркестр, вокруг скучали хорошо одетые посетители. Мне понадобилось вымыть руки, я вышел через дверь, занавешенную красным бархатом, в заднее помещение, но заблудился в коридорах и на лестницах и в конце концов оказался в другом крыле здания, в элегантно убранных, но запущенных покоях... Очевидно, там шли работы, в углу медленно поворачивалось колесо с трансмиссией, раздувались и опадали кузнечные мехи. Высунувшись из пыльного окна, я увидел заросший и одичавший сад. Там было что-то вроде кузницы: при каждом движении мехов сноп искр вылетал из горящих углей, на которых лежали раскаленные

докрасна, диковинного вида инструменты; каждый поворот колеса приводил в движение какие-то странные механизмы. На моих глазах сюда приволокли двух посетителей кафе, мужчину и женщину, и стали срывать с них одежду. Они отбивались, и я подумал: «Пожалуй, они еще могут откупиться, пока у них есть дорогие вещи». Но то, что ткань кое-где была разодрана и виднелось голое тело, показалось мне дурным знаком. Мне удалось незаметно ретироваться, я вернулся в кафе. Сел за свой столик, но оркестранты, кельнеры, красивое убранство предстали передо мной уже в другом свете. Я понял, что гости испытывали не скуку, а страх» («Авантюрное сердце», 1929; 2-я редакция, 1938).

14

В 1939 году вышел в свет роман Юнгера «На мраморных скалах».

«Одно побочное обстоятельство, а именно риск предприятия, стало предметом толков — меня самого оно занимало в небольшой степени, ибо уводило от существа дела, выдвигая чисто политическую сторону на передний план. То, что текст мог звучать как вызов, я и мой брат понимали не меньше, чем внутренний рецензент, да и сам руководитель издательства, которому публикация книги тотчас доставила неприятности. Уже через неделю рейхслейтер Булер доложил о ней Гитлеру, однако последствий не было... Тем временем я находился уже на Западном фронте и, сидя в бункере, читал рецензии в газетах, немецких и иностранных, где политический аспект тоже более или менее подчеркивался... То, что «сапожок годится на разную ногу», стало понятно довольно быстро».

В самом деле, «На мраморных скалах» (мы процитировали предисловие автора к позднему переизданию) — единственное, почти незамаскированное антинацистское произведение, которое появилось легально в гитлеровской Германии; если угодно, блестящий документ внутренней эмиграции. При желании в нем можно было даже найти вполне актуальные параллели. Но эту тоненькую книжку можно прочесть и по-другому: как притчу о гибели цивилизации под натиском варварства.

Восхитительный горный и лесной край, где живет и наслаждается жизнью талантливый трудолюбивый народ,

оказался во власти свирепого Лесничего. До сих пор он скрывался в своих владениях. Мало-помалу его присутствие начинает ощущаться как разлитый повсюду яд. Страх перед Лесничим и его ордами развязывает низменные инстинкты. Порча нравов ширится, как эпидемия. Народ созрел для рабства. Тщетно аристократия пытается спасти страну. Сволочь выходит из лесов, начинается гражданская война, и все рушится.

Невозможно понять, когда и где происходит действие; в книге нет истории, нет и живых характеров — это не реалистический и не психологический роман, а скорее роман-аллегория. Немногочисленные персонажи воплощают не столько социальные или психологические типы, сколько типы поведения. Книга написана изысканной ритмизованной прозой — порой не без риска впасть в красивость — и заставляет задуматься над вопросом, который кажется нам существенным для понимания феномена Эрнста Юнгера в целом.

15

Это все тот же вопрос о стиле.

Из дневниковых записей автора можно узнать о том, что сначала роман назывался иначе; новый заголовок — «На мраморных скалах» — отсылает к месту действия: уединенный домик, где живет рассказчик, стоит на береговом склоне под защитой сверкающих белых скал, за которыми, далеко на севере, начинаются леса. Вместе с тем это название прочитывается как символ, а может быть, и как некая формула творчества. «В нем выражено единство красоты, величия и опасности...»

Еще одно высказывание — из предисловия к «Излучениям», собранию дневников Юнгера (1941–1945):

«Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устаревает — идеальное чередование света и тени, тончайшее равновесие, которое выходит далеко за ее словесные пределы. Безукоризненная фраза заряжена той же силой, которая позволяет зодчему воздвигать дворцы, судьбе различать тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остается высоким дерзанием, оттого оно

требует большей обдуманности, сильнеешего искусства, чем те, с которыми ведут в бой полки...».

Какая велеречивость! И какая вера в могущество слова...

Критика отмечала парадокс «Мраморных скал»: отвратительные сцены войны, жестокости и разрушения описаны торжественным и чарующим слогом, который начинает подчас раздражать своей почти нарочитой гармонией, избыточной музыкальностью, каким-то неуместным великолепием. Можно предположить, что сам писатель отдавал себе в этом отчет. Не забудем, что это человек, которому несчетное число раз приходилось глядеть в глаза смерти; человек, выдавший виды. Почему же он не избрал путь, соблазвивший столь многих, путь «разгребателей грязи», отважных реалистов, тех, кто не гнушается называть вещи своими именами, кто предпочитает описывать гнусную действительность в адекватных ей формах, ее собственным помойным языком?

Потому что достоинство художника состоит в том, чтобы не поддаваться этой действительности, миссия художника — укротить ее. Потому что совершенная фраза побеждает тиранию. Проза требует абсолютного слуха. Стиль (а не идеология) переживает века. Стиль — это спасательный круг, за который можно схватиться. Это способ выстоять. Стиль, может быть, и есть последняя, высшая ценность. Некогда было сказано: стиль — это человек. Об Эрнсте Юнгере можно сказать обратное: человек — это стиль.

16

На рассвете 1 сентября 1939 года крейсер «Шлезвиг-Гольштейн» открыл огонь по польской крепости Вестерплатте в устье Вислы; рейх начал войну. Май следующего года — начало активных операций на Западе. Сохранилась фотография: 45-летний капитан Эрнст Юнгер (успевший получить еще одну награду за храбрость при спасении раненого) верхом на коне, во главе своей роты, въезжает во Францию. Некоторое время спустя Юнгер обосновался в парижском отеле «Рафаэль» неподалеку от Булонского леса: он прикомандирован к штабу командующего оккупационными войсками по Франции, его обязанности — почтовая цензура, подготовка документов плана «Морской лев» (неосуществленный проект вторжения на Бри-

танские острова), канцелярская война, которую командование ведет с партийными инстанциями.

Несколько офицеров высокого ранга составляют кружок интеллектуалов, где на равных правах принят капитан с бриллиантовым крестом на шее; здесь свободно обсуждают военную и политическую ситуацию; для этих людей Юнгер пишет программное сочинение, в конце войны нелегально распространявшееся в Германии под названием «Мир. Слово к молодежи Европы и молодежи мира». Служба не слишком обременяет Юнгера. У него есть друзья в Париже, он в приятельских отношениях с известными французскими писателями и художниками. Среди его знакомых не только коллаборационисты, но и участники Сопротивления. Вслух об этом не говорится.

«Тревога, налеты. С высокой крыши «Рафаэля» я видел, как дважды поднялось над Сен-Жермен-де-Пре мощное облако взрыва и на большой высоте уходили английские эскадрильи. Задача — разбить мосты через Сену. Способ и порядок операций, парализующих подвоз продовольствия в город, указывают на проницательный ум. При второй атаке, в лучах заката, я поднял бокал бургундского, в котором плавали ягоды клубники. Город со сверкающими на солнце башнями и куполами лежал передо мной во всем своем великолепии, словно цветок, раскрывшийся навстречу смертельному оплодотворению» («Второй парижский дневник», 1943).

17

Приведенный пассаж — один из часто цитируемых текстов Юнгера; эстет с бокалом вина перед жутким зрелищем бомбежки — словно бряцающий на лире Нерон при виде горящего Рима — воистину благодарная тема для критики. Два слова о жанре произведения, откуда извлечена эта цитата.

«К числу моих добрых дел принадлежит, может быть, то, что я кого-то вдохновил вести дневник. Как бы то ни было, дневник всегда представляет ценность — личную и архивную. Вдобавок он удовлетворяет внутреннюю потребность обозначить путь. Здесь присутствует и нечто сакральное; человек — наедине с собой. Хорошо, когда писать дневник начинают рано, еще лучше — когда его доводят до конца, до самой смерти» («Второй парижский дневник»).

«Достигнут библейский возраст. Довольно странно для того, кто в юности не чаял дожить до тридцати» («Семьдесят — мимо»).

«Siebzig verweht» — так называются четыре выпущенных к настоящему времени тома дневниковых записей, они начаты в 70-летнем возрасте. Но уже первая книга, «В стальных грозах», как мы помним, была обработкой фронтового дневника. Вот еще несколько книг аналогичного жанра: «Авантюрное сердце», «Сады и улицы», «Приближения. Наркотические сны», «Первый парижский дневник», «Заметки с Кавказа», «Второй парижский дневник». Некоторые из них, как уже сказано, ранее были объединены под заголовком «Излучения».

Литературный дневник, в сущности, представляет собой протест против литературы, против самой сути художественного творчества — его условной, игровой природы. Как хозяйка, которая устала нравиться, уходит к себе, чтобы отдохнуть от гостей, так писатель, автор дневника, хочет остаться наедине с собой, быть самим собой и больше никем.

Таковы дневники Томаса Манна, четыре пакета с надписью рукой автора по-английски: «without any literary value» («литературной ценности не представляют»). Таков знаменитый дневник Андре Жида — но уже в меньшей степени: написанный вроде бы только для себя, он является замечательным памятником литературы; ибо писатель подобен фригийскому царю Мидасу, у которого все, к чему он прикасался, превращалось в золото.

Дневниковые (в том числе путевые) записи Юнгера — это литературные тексты в полном смысле слова: они накапливаются, отшлифовываются и выпускаются в виде книг. И более того. Дневники Юнгера, которые ныне составляют несколько тысяч страниц, — возможно, лучшее из всего, что он написал.

18

Для читателя в России могли бы представить особый интерес записи, которые Юнгер вел зимой 1942 года во время инспекционной поездки на Восточный фронт (в общем корпусе дневников они занимают небольшое место). Как все дневники этих лет, они были опубликованы после войны.

«...В Ворошиловске я переночевал в здании НКВД, огромном, как все, что принадлежит ведомству полиции и тюрем.

Мне отвели комнатку со столом, кроватью и, самое главное, с невыбитыми оконными стеклами... Перед рассветом прибыл в Белореченскую, разглядывал, стоя на перроне, сверкающие со-звездия. Поразительно, как тотчас и на новый лад они пленяют душу, когда приближаешься к царству страданий... После обеда я присутствовал при допросе 19-летнего русского лейтенанта. Девическое лицо с нежным, еще не бритым пухом. На мальчишке зимняя шапка-ушанка, опирается на палку. Сын колхозника, учился в техникуме, перед тем как попасть в плен, командовал ротой гранатометчиков. Вид и движения крестьянина, ставшего слесарем; руки еще не забыли, как обращаться с деревом, но уже привыкли к железу. Разговор с офицером, который вел допрос: балтийский немец; Россия, по его словам, похожа на крынку молока, с которого сняли сметану. Новый слой еще не образовался или не имеет прежнего вкуса... Спрашивается, проникла ли безликая технизация в глубины индивидуума, поразила ли она плодоносный слой народа? Я бы ответил: нет, судя по впечатлению, которое производят лица и голоса людей в этой стране».

«У женщин, особенно у девушек, голоса не то чтобы мелодичные, но приятные. В них скрыта сила и веселость; кажется, что слышишь глубокую звенящую струну жизни. Похоже, что государственные преобразования прошли мимо этих натур... Впрочем, штабной врач рассказывал мне, что при медицинских осмотрах большинство этих девушек оказались нетронутыми; это можно заметить и по лицам, их как будто окружает серебряное сияние. Это не свет активной добродетели, но скорей отраженный, как свет луны. Пытаешься угадать, где же то солнце, что вызывает эту веселость».

«Рождество. Утром возвращение в Куринскую... На деревянном мосту провалилась лошадь и зависла в упряжи над пенным потоком. Какому-то унтер-офицеру удалось снизу перерезать постромки. Лошадь рухнула в воду и кое-как добралась до берега. Выше по течению я обнаружил два трупа, один был раздет до кальсон. Он лежал на дне ручья, и его посиневшая грудная клетка выпирала между камней. Правая ладонь подсунута под затылок, словно человек спит. Затылок в крови. С другого, видимо, пытались стащить гимнастерку. Огнестрельная рана в области сердца. Мимо тянутся вереницы горных стрелков с тяжелыми рюкзаками, горцы-носильщики

с амуницией, провиантом, мотками проволоки, облепленные глиной, с небритыми лицами, лошади — точно огромные крысы, вываленные в грязи. Раненых на плотах переправляют через поток и грузят в санитарные машины с тщательно замазанными красными крестами. И над всем этим гремит репродуктор пропагандной роты: «Тихая ночь, святая ночь». Время от времени его заглушают грохот орудий и могучее эхо в горах».

«Вечером в штаб-квартире праздник Нового года. К сожалению, мое настроение отравлено разговорами, которые стали уже чем-то обычным. Генерал Мюллер рассказывал о чудовищно постыдных делах службы безопасности после взятия Киева. Туннели с ядовитым газом, куда въезжают целые составы с евреями. Пока что это только слухи, но что убийства действительно совершаются в огромном масштабе — несомненно. И меня начинает тошнить от мундиров, погон, орденов, от вина, от оружия, от блеска всей этой жизни, которую я так любил... Старая рыцарственность, дававшая власть и силу дворянству еще в войнах Наполеона, даже еще в минувшую войну, — испустила дух. Нынче войну ведут технари. Что ж, человек достиг-таки состояния, о котором его давно предупреждали, которое описал Достоевский... Теперь он смотрит на ближнего, как на вошь, как на нечисть...» («Заметки с Кавказа»).

«Дочитал «Уединенное». Замечательно у Розанова родство с Ветхим Заветом: например, он вкладывает в слово «семя» в точности ветхозаветный смысл... Сперматический, семенной характер Ветхого Завета вообще, в противовес пневматичности, духовности Евангелий. Розанов скончался после 1918 года в монастыре; говорят, он умер голодной смертью. О революции он заметил, что она потерпит крах, так как более не дает никакой пищи мечтам. Рухнет все ее здание. Есть нечто привлекательное в том, что свои беглые заметки, род духовной плазмы или что-то похожее на становление тканевых структур, он набрасывает на досуге, перебирая коллекцию монет или валяясь на пляже» («Второй парижский дневник»).

19

Единственный сын Юнгера, семнадцатилетний Эрнстль, был арестован государственной тайной полицией за антинемецкие разговоры. Об этом тоже можно прочесть в дневниках.

Одноклассники якобы слышали, как Эрнстль сказал: если нам удастся заключить перемирие, то придется повесить Книэболо.

Отцу удалось добиться отмены смертного приговора. Мальчик был отправлен в штрафную роту и погиб в Италии.

«Книэболо. Многие, не исключая его врагов, находят в нем некое демоническое величие. Если это так, то это величие стихийно-примитивное, земляное, бесформенное и лишенное высоты и достоинства личности... Карло Шмид говорил, что немцам не хватает физиогномического чутья. Человек с внешностью, которую не в состоянии сделать привлекательной ни один художник и фотограф, человек, коверкающий родной язык, сумевший собрать вокруг себя толпу бездарностей... и все же во всем этом скрыта какая-то затягивающая загадка» («Второй парижский дневник»). «Книэболо», контаминация немецкого слова knien — стоять на коленях, и итальянского diavolo — дьявол, — так назван в парижских дневниках Гитлер.

В середине лета 1944 года бои с наступавшей Красной Армией шли уже у границ с Восточной Пруссией. На западе высадившиеся полтора месяца тому назад союзники находились на подступах к Нанту и Руану, на юге генерал Александер приблизился к Флоренции.

Запись от 21 июля: «Вчера вечером стало известно о покушении. И без того критическое положение обостряется до крайности. Покушение якобы совершил граф Штауфенберг... Мое мнение, что в поворотные моменты инициативу берет в руки древнейшая аристократия, подтверждается. Судя по всему, этот акт повлечет за собой неслыханную расправу. И еще трудней будет носить маску. Впрочем, я давно пришел к убеждению, что террористические акты мало что могут изменить, а главное, не принесут ничего хорошего...».

Бомба, оставленная в служебном портфеле полковником Шенком фон Штауфенбергом, взорвалась во время совещания в «волчьей норе» — главной ставке фюрера в лесах Восточной Пруссии. Несколько человек было ранено. Среди хлопьев стекловаты, которой были проложены стены барака, обломков мебели и осколков стекла сидел в разодранных брюках Гитлер, на левом локте у него оказался кровоподтек, барабанные перепонки лопнули. Придя в себя, он забормотал: «Так я и знал. Кругом изменники...».

Среди участников заговора были знакомые и друзья Юнгера; его непосредственный начальник, командующий силами вермахта во Франции генерал Штюльпнагель, успел в Париже окружить здания полиции, гестапо, СД и СС; когда стало ясно, что переворот не состоялся, он выстрелил себе в голову, потерял зрение, был подвергнут лечению и слепым повешен. Юнгер не был непосредственным участником заговора. Он был «лишен права носить оружие», проще говоря — уволен из армии.

20

Юнгер демонстративно отказался заполнить анкету комиссии по денацификации и до 1949 года не имел права печатать свои произведения в Германии, не разрешалось даже цитировать их в печати. В 1950 г. он поселился в Вильфлингене.

С этого времени и до самых последних лет он опубликовал немало новых книг: фантастические романы, близкие к жанру антиутопии, эссеистика, дневники. «Subtile Jagden» (труднопереводимое название, что-то вроде «Деликатной охоты»; 1967) — том полувоспоминаний-полуразмышлений об охоте за бабочками и жуками, о грибах, травах, блужданиях по немецким лесам и энтомологических экспедициях в экзотические уголки Земли. Повесть «Прибытие на Годенхольм» (1952) написана под впечатлением от знакомства с Альбертом Гофманом, швейцарским химиком, который синтезировал ЛСД, и опытов с «раздвигающими границы сознания» галлюциногенами. Как встарь, Юнгера отличает тяга к опьянению и холодный экстаз, посреди которого, как воин на поле боя, пребывает непоколебимый интеллект. Юнгер — типично «мозговой» писатель, но живущий в эпоху пострационалистическую, когда разум утверждает себя, так сказать, в неустанном саморазвенчании. Многократно отмеченная, постоянная черта Юнгера — холодноватая отчужденность наблюдателя. С годами его слог усыхал, освобождаясь от красоты, не теряя элегантности, и, можно сказать, что этот живой — все еще живой!³ — классик стал прозаиком скорее французского, чем немецкого типа. Недаром его больше, чем на родине, чтут по другую сторону Рейна. Короткие фразы, простой синтаксис (если при чтении фразы вслух у вас перехватывает дыхание, значит фраза плохая, учил

³ См. предыдущее примечание.

Флобер), латинская дикция, энергия, ясность. Примером может служить виртуозно написанный маленький криминальный роман «Рискованная встреча», о котором кто-то сказал, что его сочинил Мопассан, прочитавший Сименона.

Все же стихия, где этот ум чувствует себя в наибольшей степени à l'aise, — медитативно-философская проза. Было бы непосильной задачей суммировать мировоззрение Юнгера в немногих словах; проще — что и делалось не раз — наклеить на него несколько удобочитаемых этикеток. Биологизм, неоплатонизм. Мир живой природы многократно, как в зеркалах, отражен в истории: в них просматривается некоторая общая конструкция. Это мир бесконечных самоуподоблений, вечных образцов и их воспроизведений. В аналогиях угадывается единый космический ритм, единый замысел, лишенный, однако, первоисточника, который его замыслил. Присутствие Гераклита, Шеллинга и особенно Новалиса дает себя знать в отточенных, подчас нарочито энигматичных и всегда доставляющих эстетическое наслаждение фрагментах Юнгера.

Мы сказали — классик. Но Эрнст Юнгер отнюдь не памятник самому себе, не бесспорный и хрестоматийный, облитый глазурью классик, как, например, Томас Манн. Каждый новый юбилей Юнгера — повод для очередного сведения счетов. Для одних он слишком аристократ, старый соблазнитель и не пожелавший исправиться антидемократ, для других — что-то вроде Пифии. Внеидеологическая рецепция Юнгера начинается лишь в последние десятилетия.

Да это и понятно: Юнгер, как мы старались показать, — фигура в высшей степени сложная. Он принадлежит не одной, а многим эпохам, и его век был одновременно и веком Гитлера, и веком Сталина, веком Эйнштейна и Томаса Манна. А потому нельзя оценивать Юнгера только под одним углом зрения.

Могут спросить, чем интересен этот автор для русского читателя. В самом общем смысле — тем же, чем интересна и поучительна судьба Германии в XX веке, страны, у которой так много общего с Россией. От национализма, от настороженного противостояния миру — к европеизму — этот путь, пройденный Юнгером, предстоит проделать и многим представителям культурной элиты нашего отечества. Вместе с тем Юнгер — живая, зеленеющая ветвь мощной традиции, от которой не вправе отгораживаться русская мысль.

В этой статье было уделено некоторое внимание стилю Эрнста Юнгера. С годами — лучше сказать, с десятилетиями — дух и направление его книг, как мы видели, изменились. Стилль в основных чертах остался прежним. Этот стилль — идет ли речь о повествовательной прозе, дневниках или путевых записках — отличается изумительной концентрацией, доступной разве только поэтам, в значительной мере утраченной с крушением античной культуры и письменности, со смертью древних языков. Юнгер приучает своего читателя додумывать сказанное автором и опускает все лишнее, само собой разумеющееся и тривиальное; мысль писателя напряжена и эллиптическая, его «мыслеобразы» кажутся загадочными, как могут быть загадочными древние афоризмы или стихи, которые покоряют чем-то мерцающим и неоднозначным, чем-то параллельным логике.

Стилль Юнгера ставит вопрос о гуманизме. Это не привычный для русского культурного сознания популистский гуманизм, взывающий к старым заветам служения народу, родине и т. п. Юнгер — индивидуалист и одновременно гражданин мира — титул, который с гордостью носил Гёте. Но мир, в котором живет наш современник Юнгер, уже не тот мир, в котором он сам вырос, воевал, стал писателем, не говоря уже о мире Гёте. Это мир апокалиптический. И тут перед нами раскрывается некий секрет Юнгера. Быть может, доминанта его творчества. Высшая задача литературы в де-гуманизованном мире — отстаивать честь одинокой человеческой личности, стоять насмерть, как подобает мужчине. Историк Голо Манн сказал однажды о Юнгере, что он отдает приказы читателю, как офицер — солдатам. Это не так. Но Юнгер в самом деле не болтает, не фамильярничаёт с публикой и не стремится быть голосом народа — это слово вообще отсутствует в его лексиконе. В безупречной законченности его пассажей есть нечто вызывающее, — ведь в современной литературе, и немецкой, и, конечно, русской, определенно преобладает нелитературная стилистика. И все же: высоко дисциплинированный слог Юнгера воспринимается как эквивалент человеческого достоинства в мире, где это достоинство попорно как никогда прежде.

Наконец, Юнгер — это просто писатель, читать которого — удовольствие.

Сам о себе он сказал так: «Мой внутренний политический мир подобен часовому механизму, где колеса движутся навстречу и как бы вопреки друг другу; я и южанин, и северянин, и немец, и европеец, и космополит. Но на моем циферблате стоит полдень, когда стрелки сходятся».

1996

Владимир Порус
Тайна Клим Самгина¹

Самгин – пародия на особую разновидность русского интеллигента эпохи русских революций начала XX века. Этой социальной группе было свойственно стремление в кратчайший срок «пересадить» на почву российской действительности идеи и ценности европейской культуры, в первую очередь, принцип независимости и свободы личности. Осуществление этого принципа предполагает глубокую трансформацию форм общественного сознания и общественных институтов. В отсутствие таких преобразований, «личный принцип» вырождается в скептический индивидуализм и не может быть онтологическим основанием культуры.

Горькому удалось увидеть в Самгине «героя эры индивида», для которой характерно разочарование в универсальных культурных ценностях, отношение к ним как к «фикциям», которые нужны для приспособления к действительности, но не для ее преобразования.

Помню чувство, когда я впервые прочитал «Жизнь Клим Самгина». У каждого человека есть тайное, скрытое от чужих глаз пространство внутреннего мира, куда он впускает немногих – изредка и с опаской. Такие уголки, куда и самому заглядывать неловко. А если кто-то входит в это пространство, располагается в нем и рассказывает некую правду о тебе? Правду, какую не хотелось бы знать. Тем более понимать, что тайны нет, что ты – весь – выставлен на показ.

Клим Самгин входит в душу есенинским «черным человеком». От него не отмахнешься как от наваждения, и зеркало разбить – не получится. Еще понятно, если бы Самгин был «нелюдью», воплощением зла и носителем психопатического бреда, как Максимилиан Ауэ, «герой» «Благовоительниц» Джонатана Литтелла. Но Клим слишком знаком, обыденно реален. И если ты учуял его в себе, это надолго – как что-то такое, в чем трудно сознаться.

¹ Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Грант № 17-03-00185 «Отечественная литература в культуре современной России: философский анализ». Впервые опубликована в Ярославском педагогическом вестнике, N4, 2018, с. 257-265.

«Какую поистине тотальную разочарованность надо прятать в душе, чтобы все силы угрохать в гигантское жизнеописание НЕЛЮБИМОГО героя» [1, с. 70]. Роман похож на глыбу, от которой не отсечено слишком многого. Страницы, отмеченные гениальностью, как золотые прожилки в руде, блестят хрестоматийным глянецом на фоне тягучего, невыносимо подробного содержания. Сотни персонажей играют роль зеркал, в которых отражается в разных ракурсах и позах главный герой, чтобы затем исчезнуть, — кто в смерть, кто в забвение. Кажется, это даже не роман, а развернутый в четыре тома замысел романа. Рассказ, не доходящий до финала². Эта многословная недоговоренность, компенсированная авторскими ремарками-подсказками, как из суфлерской будки, относительно поступков или свойств характера героя... Она оставляет странное впечатление: уже все как будто сказано, а между тем главные вопросы — без ответа.

Горький писал «Самгина» мучительно долго — как будто исполнял тяжкую обязанность (первоначальный план — написать роман за год-полтора — растянулся на 12 лет и не был выполнен до конца). Писал, словно сводя трудные счета с самим собой, со своим участием в событиях, составивших канву жизни его героя.

Замысел, который Горький объяснил стране, приведенной к «великому перелому» в 1931 году, состоял в анатомическом исследовании внутреннего мира «типичного интеллигента», прошедшего скользкий путь от сочувствия революции и участия в ней до враждебного ее отрицания: «интеллигенция, которая живёт в эмиграции за границей, клеветает на Союз Советов, организует заговоры и вообще занимается подлостями, эта интеллигенция в большинстве состоит из Самгиных» [5, т. 19, с. 542]. Таким был публичный отчет Горького о своем замысле. Такова цена, которую он платил за свое вращение в жизни, скроенную по сталинским лекалам. И это было и осталось

² «Нужно учитывать, что «Жизнь Клима Самгина» не есть законченный, отделанный, цельный шедевр, — это в определенной степени и в некоторых частях еще живая запись творческого процесса, лаборатория, даже в определенных местах «полуфабрикат». Но недоделки, недоработки нельзя выдавать за достоинства, видеть суть и цель, опору и окончательный результат в том, что было лишь грубой «наметкой», «белыми нитками», которые убираются, когда накладывается основной окончательный шов» [10, с. 125].

одним из оснований, по которым писателя обвиняли в том, что он оскорбил и унизил всю русскую интеллигенцию. Более того — идейно благословил расправы над нею, физические и духовные. Но роман, живя собственной жизнью, не зависящей от политических и идеологических конъюнктур, противится простому и однозначному толкованию.

Он таит в себе загадку, которую Горький своим творческим завещанием (так он называл свой роман) оставил будущим поколениям. Он сам об этом говорил Валентине Ходасевич: «Сначала этот роман никто не поймёт, будут ругать, да уже и ругают. Лет через пятнадцать кое-кто начнет смекать, в чём суть, через двадцать пять — академики рассердятся, а через пятьдесят — будут говорить: «Был такой писатель Максим Горький — очень много написал и всё очень плохо, а если что и осталось от него, так это роман «Жизнь Клим Самгина» [13, с. 58].

Горький — первоклассный писатель. Невозможно, чтобы он не сознавал несовершенство романа, идеологическую «перегрузку» его центрального образа. И если он так говорил о нем, значит, тайна, скрытая в романе, слишком многое значила для него.

Лев Аннинский прав: конечно, Самгин — нелюбимый герой. Горький выворачивает наизнанку его душу, обнажая ее тайники. Если такова была цель, то она достигнута: объемный роман (полторы тысячи страниц!) был прочитан с яростным пристрастием. Многие узнали в Климе самих себя — и кто со стыдом, кто с негодованием отреклись от него.

Одно из предполагавшихся Горьким названий романа — «История пустой души». Чутье художника удержало его от прямолинейности, но роман действительно об этом: об отражении эпохи в пустоте.

Пустота эта — особого рода. Она — под яркой оболочкой, наподобие расписного шарика, надутого воздухом. Самгин образован, начитан, разбирается в философии, музыке, поэзии, живописи, легко улавливает носящиеся в интеллигентской атмосфере идеи, отбирает из них созвучные его настроениям и желаниям, чтобы при случае козырнуть ими как собственными «выстраданными» мыслями. На людей своего круга он производит впечатление глубокого, напряженно-духовного человека. Это ему льстит, он хотел бы слыть именно таковым.

Мало того, он и сам хотел бы верить, что это впечатление — верное. При удобном случае он демонстрирует свою причастность высокой культуре, ее «кодам», символам. Это возвышает его в собственных глазах и оправдывает явное или скрытое презрение к тем, от кого он отделен культурным барьером. «За нами — несколько поколений людей, воспитанных всею сложностью культурной жизни <...>. Именно мой демократизм обязывает меня видеть всю глубину различия между мною и полудикарями» [5, т. 20, с. 281].

Однако Самгин слишком умен, чтобы не сознавать несоответствие своего внутреннего мира «имиджу», с которым он предстает перед людьми. Он внимательно прислушивается к «внутреннему голосу», иронически, а иногда саркастически и злобно комментирующему жизненные ситуации. Его обычное состояние — непрерывная едкая рефлексия. Такая едкая, что он не вполне различает, какая часть его жизни — настоящая: та, о которой знают все, или та, что в подполье его ума и чувства. «Моя жизнь — монолог; а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его» [5, т. 22, с. 9].

Кажется, что-то похожее говорил лермонтовский Печорин. Но сходство поверхностное. Григорий Александрович жил, очертя голову, пытал судьбу, и не получая от нее ответов на свои вопросы, попадал под присмотр и скептический суд своей мысли. Почти все поступки Клима Ивановича совершаются им словно бы против воли, навязаны ему обстоятельствами. От них не уйти, но они не интересны ему — как связки между разговорами, в том числе с самим собой, составляющими все содержание его странного существования. Жизнь втягивает его в свои водовороты: убийства, болезни, смерть и страдания людей, теракты, наконец, революции. Но покругившись в них, он неизменно выбирается на кочку стороннего наблюдения и рефлексии. Научившись умно молчать, он редко бывает искренним. Искренность опасна, она обнажает, делает уязвимым. Об отдельных эмоциональных вспышках, когда Самгин говорит то, что думает, не заботясь о своем имидже, он потом вспоминает со стыдом и жалостью к себе.

Едкой рефлексии нужно питаться «извне», чтобы не стать пустой игрой в слова. Ее пища — сравнение с другими людьми.

Самгин ревниво всматривается в тех, кто его окружает, не упуская отметить свое превосходство над ними, а когда сравнение не в его пользу, смакует завистливую неприязнь. В юности он «считал необходимым искать в товарищах недостатки; он даже беспокоился, не находя их, но беспокоиться приходилось редко, у него выработалась точная мера: все, что ему не нравилось или возбуждало чувство зависти, — все это было плохо» [5, т. 19, с. 69]. С годами Самгин научается иронизировать и над этой мерой: умному человеку пристало понимать условность своих суждений. Иногда он нисходит до насмешливой лести самому себе: «В сущности — я бездарен» [5, т. 19, с. 313]. Ирония и рефлексия, сдобренные легким кокетством, могут сойти за искренность и приподнимают над обыденностью. Только бы про твою бездарность не проведали другие.

Но Самгин вовсе не считает себя бездарным. «Я — не бездарен. Я умею видеть нечто, чего другие не видят» [5, т. 22, с. 12]. Ему всегда — с юности до зрелых лет — необходимо уверяться в своей значительности, да так, чтобы и самому не распознать подмену и обман. Утомительно и скучно. Но что, если сомнения одолевают? Самгин привык сопоставлять себя с другими так, чтобы быть в гарантированном выигрыше. «Люди были интересны Самгину настолько, насколько он, присматриваясь к ним, видел себя не похожим на них» [5, т. 22, с. 150]. Быть не таким, как все, сопротивляться всяческому уравнению — принцип его самоопределения. Даже жизненный проигрыш, когда от участия в событиях остается горечь неудачи, он оборачивает в свидетельство своей значимости: «Всю жизнь я испытываю священную неудовлетворенность событиями, людьми, самим собою. Эта неудовлетворенность может быть только признаком большой духовной силы» [5, т. 22, с. 146].

Навык приспособления к реальности часто выручает Самгина. Когда обстоятельства складываются удачно и можно пожинать плоды успеха, он доволен собой и даже высокомерен: воображает себя «одной из тех личностей, бытие которых окрашивает эпохи» [5, т. 20, с. 281]. Но успехи проходят, а страх живет. Клим сравнивает себя с канатоходцем, балансирующим над пропастью: «Я ни с кем и ни с чем не связан, — напомнил он себе, — действительность мне враждебна. Я хожу над нею, как по канату» [5, т. 21, с. 122]. Упасть в действительность — обнаружить внутреннюю пустоту, чего Самгин боится больше

всего. Когда падение становится фактом, история «пустой души» прерывается.

Горький оставил роман незаконченным. Физически убрать со сцены своего героя, раздавленного человеческим потоком, вливающимся в революцию, он не решился. Пустоту не уничтожить вместе с телесной ее оболочкой. Д.Л. Быков заметил, что Самгин — как социальный тип — поразительно живуч: «Самгин встроится и в советский мир, и чудовищно в нем расплодится», «большая часть советской верхушки состояла из Самгиных — они ведь водятся не только среди интеллигенции» [2, с. 282]. Почему бы не в постсоветский, позволим себе спросить. Разве что из-за краткости жизненного срока...

Что такое эта внутренняя пустота Самгина? А.В. Луначарский выводил ее из принадлежности Самгина к *мелкобуржуазной интеллигенции* с ее межеумочным (внеклассовым) социальным статусом в эпоху революций и социальных потрясений. Горький, считал он, создал художественный тип интеллигента-индивидуалиста, всегда оказывающегося на перекрестке различных идей, которые втягиваются его внутренней пустотой, но не заполняют ее, а только дают возможность постоянной смены масок, соответствующих этим идеям [9]. Особую заслугу писателя философствующий нарком просвещения видел в том, что этот художественный тип оказался *разоблачительным*: «самгинство» стало клеймом, которым должен быть отмечен потенциал двурушничества, внутренней изломанности, готовности к предательству. Нет сомнений, что такая оценка в известный момент советской истории стала идеологическим аргументом репрессий, направленных против реального или мнимого, вымышленного «интеллигентского сопротивления» коммунистической диктатуре.

В этом ли состояла тайна, оставленная Горьким потомкам? Какая же это тайна, если «разоблачительная» интенция романа подчеркивалась и навязывалась читателю?

В романе множество аллюзий, намеков и прямых указаний на выморочность «интеллигентщины», к которой причислен Самгин. Психологические черты Клим Ивановича поданы как симптомы этой выморочности. Шаткий баланс между взятыми из культовых книг представлениями о чести, уважении к интеллекту, о «священном долге перед народом», критериями порядочности и возвышенности чувств — и скепсисом, презре-

нием к людям, чье существование срослось со «свинцовыми мерзостями», страхом за свою шкуру, слабоволием и лицемерием. Хождение над жизнью, как по канату...

Изумленный и напуганный кровавыми событиями 1905 года и последовавшей за ними оголтелой реакцией, Самгин сочувственно прислушивается к авторам «Вех», обвинившим интеллигенцию в том, что она стала подстрекателем масс к бунту против существующих порядков, в то время как сама она заражена нигилизмом, т. е. отрицанием абсолютных ценностей, и возводит подыгрывавшие настроениям масс требования «равенства» и «справедливости» в распределении материальных благ в ранг моральных постулатов. «Почему я не мог оформить мой опыт так же просто и ясно» — спрашивает он себя. Но затем отмечает с чувством гордости: «В этой книге есть идеи очень близкие мне, быть может, рожденные, посеянные мною» [5, т. 22, с. 223]. Самгин преувеличивает. Ему, очевидно, льстит созвучие идей, ставших предостережением русскому интеллигентскому «революционаризму» [3], его собственным критическим эскападам. Но тут обнаруживается диссонанс, в котором — все различие между «веховцами» и Самгиным.

Один из авторов «Вех», С.Л. Франк, писал: «Это умонастроение, в котором мораль не только занимает главное место, но и обладает безграничной и самодержавной властью над сознанием, лишенным веры в абсолютные ценности, можно назвать морализмом, и именно такой нигилистический морализм и образует существо мировоззрения русского интеллигента» [12, с. 86].

Однако Клим Самгин, в отличие от Франка, вовсе не уверен в том, что мораль обладает «безграничной и самодержавной властью» над его сознанием. Мораль, как он не раз убеждался, есть ширма, за которой люди прячут свои намерения и поступки; фон, на котором проступает благопристойный «имидж» интеллигента. Именно поэтому и следует беречь ее в целостности и сохранности — из соображений удобства. А от бунтарских замахов и позывов нет иной защиты, кроме готовой к насилию власти.

И он согласно кивает словам М. Гершензона (в романе его зовут Прейсом): «Между нами и нашим народом — иная рознь. Мы для него — не грабители, как свой брат деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз:

он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои. *Каковы мы есть*, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» [4, с. 89-90]. Гершензон счел необходимым разъяснить свои слова в примечании ко второму изданию «Вех»: «Эта фраза была радостно подхвачена газетной критикой как публичное признание в любви к штыкам и тюрьмам. — Я не люблю штыков и никого не призываю благословлять их; напротив, я вижу в них Немезиду. Смысл моей фразы тот, что всем своим прошлым интеллигенция поставлена в неслыханное, ужасное положение: народ, за который она боролась, ненавидит ее, а власть, *против* которой она боролась, оказывается ее защитницей, хочет она того или не хочет. «Должны» в моей фразе значит «обречены»: мы собственными руками, сами не сознавая, соткали эту связь между собою и властью, — в этом и заключается ужас, и на это я указываю» [4, с. 90].

Самгин мог бы подписаться под этими словами. Он боится и репрессий, совершаемых озверевшей с перепугу властью, и бессмысленного бунта разъяренной толпы, ненавидящей чуть ли не больше, чем власть, «чужаков», лишенных *человеческой*, то есть понятной массе, души. Всматриваясь в свое будущее, он видит две равно безрадостные перспективы: пойти на службу богатым «быкам», занять этой службой жизнь, бесславно принося ее в жертву какому-то равнодушно-жестокому богу — или столь же тщетно служить толпе «полудикарей», с которыми у него нет ничего общего, кроме сомнительной принадлежности к одному «народу».

И та, и другая перспективы связаны с признанием определенных идей как смысложизненных ориентиров, но Самгин видит в таких идеях только «фразы» — ширмы. Он пытается найти за этими ширмами себя, но ничего, кроме права на постоянное сомнение, предъявить в доказательство своей идентичности не может. «Заменяют одну систему фраз другой, когда-то уже пытавшейся ограничить свободу моей мысли. Хотят, чтоб я верил, когда я хочу знать. Хотят отнять у меня право сомневаться» [5, т. 22, с. 228]. Он цепляется за это право, как

цеплялся за брошенный ему ремень Борис Варавка, утопающий в полынье. И знает, что в решительный момент никто — как когда-то он сам — не станет рисковать жизнью ради чуждой и нежеланной цели. И останется только рефрен сомнения: «А был ли мальчик-то? Может, мальчика-то и не было?». Может, и не было сомневающегося во всем и превыше всего ставящего это свое сомнение Клим Самгина, русского интеллигента, затесавшегося в грозное время социальных потрясений?

Что значило в это время быть интеллигентом? В особом смысле, рожденном историческими условиями России, это значило, по словам Г.П. Федотова, относиться к группе, движению и традиции, объединяемым «идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей» [11, с. 71-72]. Слова эти были сказаны в 1926 г., уже после того, как духовная трагедия русской интеллигенции стала совершившимся историческим фактом. В них схвачена суть безвыходного противоречия между радикальностью требований личностной свободы как условия свободного развития общества и жизненными притязаниями большинства «народа», о судьбе которого, как они с той или иной степенью искренности полагали, пеклись интеллигенты.

Эта попечительская миссия, лежащая в подоплеке «служения народу», принимавшего квазирелигиозную форму и требовавшего от адептов героизма и самопожертвования, вырождалась в «вождизм» и идеологию «высокой цели, оправдывающей любые средства ее достижения». Любые — в том числе и те, которые разрушали основания культуры с ее моралью и смысложизненными ориентирами, которые были так важны Климу Самгину.

Самгин как будто не видит грани, отделяющей «служение народу» от властного стремления поставить народные движения на службу своим интересам и амбициям. Точнее, не хочет ее видеть, потому что это различие требует от него сущностного самоопределения, отказа от позиции вечного скептика.

Поэтому Самгин со страхом и недоверием относится к тем интеллигентам, которые с квазирелигиозным энтузиазмом берут на себя эту миссию. «У него была органическая неприязнь к этим людям красивых слов, к людям, которые, видимо, серьезно верили, что они уже не только европейцы, но и парижане» [5, т. 20, с. 390]. Он саркастически называет их «объясняющими господами», претендующими на то, чтобы их

мысли и ценностные установки были приняты без сомнений и колебаний. И эти претензии противны Самгину, так ценящему свой «имидж» критически-мыслящей и свободной личности.

Но в какой мере справедливо относить Самгина к интеллигенции? Если взять «определение» Г.П. Федотова, Самгин — не интеллигент: он не ставит перед собой идейных задач, скептически оценивает даже саму возможность своего участия в их решении. Он осознает беспочвенность интеллигентских идей, но его скепсис по отношению к ним не менее беспочвен. По условиям своей жизни — воспитанию, образованию, профессии, кругу интересов и эстетическим предпочтениям — он, так сказать, включен в «реестр» социальной группы, маркируемой этим термином. Он похож на интеллигента, как манекен в магазине готовой одежды — на человека, которому эта одежда предназначена.

Самгин — манекен русского интеллигента. Ему подобает слово-метка, вошедшее в философский обиход несколько десятилетий спустя после событий, описанных в романе. Он — *симулякр*, телесная и словесная оболочка «пустой души».

Эта пустота обнаруживается, когда Самгин входит в близкие отношения с людьми, уступая душевному и телесному голоду, пытаясь вырваться из собственного одиночества. Люди, особенно женщины, рано или поздно распознают в нем «чужое», равнодушное существо, более или менее успешно имитирующее чувства — сочувствие, любовь, дружбу, нежность, даже страдание. Пустота приемлет в себя все, что с настойчивой силой стремится заполнить ее. Самгин в разные периоды своей жизни позволяет себе увлекаться чужими идеями, даже иногда выдает их за собственные мысли. Большевицкая идеология влечет его напористостью, суровой волей к власти над народной стихией, «веховское» взывание к культурной миссии и проповедь служения высшим идеалам — культуртрегерской заботой, пропаганда единения народа и власти в годы мировой войны — ощущением прочности жизненных оснований. Идеи сталкиваются, поочередно уступая одна другой первенство во внутреннем мире Самгина и соответственно влияя на его поступки, но это только имитация духовной жизни, а не сама жизнь.

На чем держится эта имитация? Не следует искать ее основу в психологии нелюбимого героя горьковского романа. Наоборот, психологические черты Самгина «подогнаны» под

его роль симулякра. Нельзя сказать и то, что Горький вывел в Самгине *типичного* представителя русской интеллигенции, то есть показал, что это понятие обнимает собой множество «пустых душ», эволюция которых ведет их к роли озлобленных неудачников и клеветников на Страну Советов. Это неправда, в какие бы идеологические и политические драпировки ее ни укутывали большевистские идеологи, чей «социальный заказ» будто бы выполнял Горький. То, как этот заказ выполнялся, скорее, скрывало глубинный смысл его замысла — ту тайну, на которую он осторожно намекнул в упомянутом разговоре с В. Ходасевич.

Самгин — пародия на русского интеллигента. Он принадлежит социальной группе, которая характеризуется стремлением «одним махом», в одночасье пересадить на почву русской действительности идеи и ценности европейской культуры. Это «русские европейцы» особого типа: они из широкого спектра ценностей-универсалий, характеризующих европейскую культуру, прежде всего, восприняли как непреложное условие своего бытия принцип независимости и свободы индивида (личностный принцип). Этот принцип был выстрадан многовековой европейской историей, чтобы стать краеугольным камнем, онтологическим основанием идеального проекта культуры. В той мере, в какой этот проект осуществлялся в Европе и приобретал зримые черты — в цивилизационных формах — он был привлекательной целью и мечтой, «землей обетованной», куда стремились упования «русских европейцев». Отсюда их «нетерпение сердца», желание внедрить этот принцип в России, не считаясь с исторически обусловленными обстоятельствами. Отсюда же утопизм их мечтаний и неудачи проектов немедленной европеизации России.

Культурная онтологизация личностного принципа — процесс длительный и многосторонний. Его осуществление предполагает глубокие изменения всех сфер жизни, включая, помимо массового образования и формирования соответствующего культурного спроса, возникновение и развитие институтов частной собственности, правовых гарантий свободного инициативного участия граждан в экономических, политических и культурных предприятиях, а также сознательного притяжения и одобрения таких институтов большинством населения. При отсутствии или слабости этих факторов воплощение в жизнь

личностного принципа неизбежно встречает сопротивление традиционных устоев и социальных отношений. Это сопротивление может принимать агрессивные, репрессивные формы, опирающиеся на силу власти, стремящейся сохранить выгодный ей *status quo*. А сам принцип, приспособляющийся к этому давлению, меняет свое содержание, вырождается в индивидуализм, ищущий для себя «подпольных» форм, переходящий в потаенную сферу душевных переживаний. Перестает быть онтологическим основанием культуры.

По точному замечанию В.К. Кантора, «подлинный европеизм произрастает изнутри своей культуры — но в процессе преодоления и переосмысления, одухотворения и пресуществления ее почвенных основ... Не сумевший преодолеть свою почву, а потому беспочвенный русский европейски образованный человек был типичен для барско-интеллигентского большинства, не ощутившего еще ценности своего личного бытия, — основы европейского мирочувствия» [6, с. 3].

И это относится не только к «барско-интеллигентскому большинству» с европейским образованием, но и к той части служивой («разночинной») интеллигенции, которая также не преодолела свою почву, хотя «вышла из народа», получила доступ к образованию и выбилась в «продвинутые», более обеспеченные слои общества благодаря личным усилиям и способностям, и потому высоко ценила индивидуальное начало, действенную волю к жизненному успеху.

Отсюда противоречивый плюрализм интеллигентских мирочувствий: с одной стороны, болезненно обостренное желание «быть суверенной личностью», возвысить ее ценность, возвести в культ, с другой — неспособность и нежелание признавать эту суверенность в других, особенно в тех, кто не образован и не знаком с европейскими культурными ценностями, с третьей — душевный дискомфорт, рефлексивные терзания из-за своей неполноценности. Суверенность личности, обернувшаяся эгоизмом и раздутым самомнением.

«Самоценность личности» становилась чем-то вроде импортной тряпки, которой щеголяют при известных обстоятельствах, но сбрасывают, когда щегольство неуместно и опасно.

Таково парадоксальное устройство романа. Гигантские исторические события образуют фон, на котором перед глазами читателя мельтешит малопривлекательная пародийная фигур-

ка, почему-то приковывающая к себе внимание, словно бы это был действительно очень важный вопрос, к какому итогу придет сорокалетняя эпопея жизни адвоката Клим Самгина. Неужели это внимание удерживается подробной демонстрацией ничтожества претензий на духовное и социальное лидерство мелкобуржуазной интеллигенции? Стоило ли ради этой цели гордить такой масштабный огород?

Если даже первоначальный замысел Горького был именно таким, за долгие годы работы над романом писатель, скорее всего, осознал, что стоит перед иной, более глубокой проблемой.

Он понял, что его Самгин — не маргинальная фигура российской исторической сцены. Это «герой наступающего времени», его провозвестник. На сцену российской, да и мировой истории выходит новый персонаж, которому, как, вероятно, открылось Горькому, еще предстоит сыграть заметную роль. Эпоха революций может стать — и в России быстро становится — преддверием «эры индивида» [9], характеризующейся нарастанием отчужденности индивидов от целей, какими «организаторы и вдохновители» массовых движений объясняют и оправдывают неимоверность усилий, в том числе жертвенных, которыми опрокидываются существующие социально-экономические и политические порядки, меняются основные жизненные ориентации. «Эра индивида» наступает как реакция на угасание политической субъектности. «Люди становятся субъектами, т. е. существами, способными к «самозаконотворчеству», по принуждению обстоятельств, с которыми они не могут иным образом справиться, а не по зову своей нравственной природы. И эта свобода, и эта субъектная форма их существования есть для них средства преодоления возникших затруднений, а не самоцель» [7, с. 37]. Изменяются обстоятельства, и политическая субъектность (вдохновляемая *словами* о «свободе») перестает быть необходимой. Она сменяется иными формами субъектности, в первую очередь — такими, которые переносят всю активность индивида «вовнутрь» его духа, тогда как внешние формы его деятельности практически полностью соответствуют требованиям новых обстоятельств.

Иными словами, вслед за революционными всплесками всегда наступает время новой стабилизации социального мира, в котором условием более-менее сносного выживания индивида

становится успешность его приспособления к действительности. Разлад, который мог бы мучить его душу — между внутренней, «тайной» свободой и внешним срастанием с несвободным миром — был бы невыносим, если бы его нельзя было ослабить или вовсе устранить. Но большинство индивидов позволяют своему внутреннему миру изменяться по требованиям мира внешнего; «тайная свобода» бесславно угасает именно из-за своей сокрытости, привыкает к «укромному», относительно безопасному существованию. И это во многом облегчается гипертрофированным критицизмом по отношению к идеям. В том числе — к идее свободы: распознав в ней приманку для верующих в путь, указуемый «объясняющими господами», критически мыслящий Самгин разочаровывается в «свободе» как универсальной ценности, оставляя ее значимость только для своих внутренних переживаний. Внутри мира самгиных все ценности равны как полезные фикции, предназначенные, чтобы примирение с действительностью могло состояться в более удобных и комфортных условиях.

Горьковский «герой наступающего нашего времени» не успел осознать свою значимость как проекта всеобщего приспособленчества. Возможно, поэтому роман и остался неоконченным. Его дописала жизнь и сделала это вовсе не так, как предполагал Луначарский, да и сам Горький. Всего через несколько десятилетий после того, как «самгинизм» был идейно репрессирован, он восстал из мертвых, был реабилитирован и осознан как приемлемый модус индивидуального развития. Самгин вписался в действительность России на рубеже прошлого и нынешнего веков и стал едва ли не типичным представителем новой интеллигенции, сохранившей со времен Горького и Федотова разве что свое название — отзвук былого.

Историческое время выписывает сложные пируэты, иногда оно даже выглядит как движение по кругам с уменьшающимся радиусом — вплоть до стягивания в точку. Разумеется, правомерен вопрос о долгосрочности нового бытия Самгина как культурно-исторического типа. Здесь многое зависит от прочности и устойчивости основ, на которых выстроена современность. Трещины в этих основах теперь уже вряд ли возможно долго замазывать быстро высыхающей идеологической штукатуркой. Когда вопрос «Как жить дальше?» станет со всей возможной остротой, а идея свободы вновь обретет ценностно-универсаль-

ный смысл и перестанет быть лишь словом, обозначающим оптимум ориентаций индивида в лабиринте политических и экономических ограничений, политическая субъектность вновь заявит о себе как фактор социального и личностного развития, проблема «самгинизма» вновь актуализируется.

Горький глубоко запрятал тайну своего романа. Пожалуй, стоит попытаться ее раскрыть, чтобы уловить его пророческий смысл.

Библиографический список

1. Аннинский Л. А. Откровение и сокровение. Максим Горький и Андрей Платонов. [Текст] / Андрей Платонов: философское дело: сборник научных статей (под ред. В. В. Варавы, С. А. Никольского). Воронеж, Издательский дом ВГУ, 2014. С. 6-74.
2. Быков Д. Л. Был ли Горький? (Биографический очерк). [Текст] М.: АСТ, Астрель, 2009. – 348 с.
3. Гайденок П.П. «Вехи»: неуслышанное предостережение. [Текст] // Вопросы философии. 1992. № 2. С. 103-122.
4. Гершензон М. О. Творческое самосознание. [Текст] / Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 73-96.
5. Горький М. Собрание сочинений в 30 томах. [Текст]. М. Государственное издательство художественной литературы, 1949-1955.
6. Кантор В. К. Русский европеец как задача России // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры – Русское издание. № 1, 2004. С. 3. [Электронный ресурс]. – URL.: <http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss1.html> (дата обращения: 5.05.2018).
7. Капустин Б. О предмете и употреблении понятия «революция». [Текст] // Логос, 2008, № 6. С. 3-47.
8. Луначарский А. В. / Собрание сочинений в восьми томах, Т. 2. [Текст] М.: Художественная литература, 1964. – 702 с.
9. Рено А. Эра индивида. К истории субъективности. Пер. с французского. [Текст] М.: Владимир Даль, 2002. – 471 с.
10. Сухих С. И. Заблуждения и прозрения Максима Горького. [Текст] Нижний Новгород, «Поволжье», 2007. – 216 с.
11. Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции. [Текст] // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избранные статьи по

- философии русской истории и культуры. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 66-101.
12. Франк С. Л. Этика нигилизма (К характеристике нравственного мировоззрения русской интеллигенции). [Текст] / Франк С. Л. Соч. М., Правда, 1990. С. 77-112.
 13. Ходасевич В. М. Таким я знала Горького. [Текст] // Новый мир, 1968, № 3. С. 11-66.

Инга Матвеева, Игорь Евлампиев

Лев Толстой и русская революция: современный взгляд¹

2017 год — год столетия русской революции — с новой силой воскресил один из вечных русских вопросов: «Кто виноват?». Среди многочисленных ответов на него не потеряло актуальности знаменитое обвинение В.В. Розанова в адрес великой русской классической литературы: «Мы, в сущности, играли в литературе. «Так хорошо написал». И все дело было в том, что «хорошо написал», а что «написал» — до этого никому дела не было. По содержанию литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость бесстыдства и наглости, — как ни единая литература. В большом Царстве, с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленном, покорном, что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковывать, серп исполнить, косу для косьбы сделать («вывозим косы из Австрии», — география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только, «как они любили» и «о чем разговаривали». И все «разговаривали» и только «разговаривали», и только «любили» и еще «любили»². Общую интенцию работы Розанова — Россию погубила русская литература — спустя полвека подхватывает В.Т. Шаламов: «Русские писатели-гуманисты второй половины XIX века несут на душе великий грех человеческой крови, пролитой под их знаменем в XX веке. Все террористы были толстовцы и вегетарианцы, все фанатики — ученики русских гуманистов» (из «Манифеста о «новой прозе»»)³.

Именно русская литература, по мнению многих мыслителей и публицистов, порождая разрушительные идеи, явилась

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 18-011-00553а «Философское мировоззрение Л. Н. Толстого в контексте русской и западноевропейской философии XIX–XX веков».

² Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени // Розанов В. В. Собр. соч. Мимолетное. М., 1994. С. 415.

³ Варлам Шаламов о литературе: Письма [А. Ю. Шрейдеру]; [Манифест о «новой прозе»]; Кое-что о моих стихах / Публ. и коммент. Ю. Шрейдера // Вопросы литературы. 1989. №5. С. 241.

провокатором грандиозных исторических потрясений, которые переживала Россия в XX веке. Имя Льва Толстого в этих обвинениях занимает чуть ли не первое место.

Одним из основных «упреков» в адрес Толстого, содержащихся в работах русских философов, стало отрицание знаменитым писателем культуры. По словам П.Б. Струве, Толстой предал «анафеме почти все искусство»⁴. Несколько позже Н.А. Бердяев в статье «Духи русской революции» (1918) с максимальной резкостью повторил традиционные обвинения в адрес Толстого и однозначно соединил его имя с революцией: «Русская революция хотела бы истребить весь культурный слой наш, утопить его в естественной народной тьме. И Толстой является одним из виновников разгрома русской культуры»⁵.

Другим важнейшим обвинением стало «бесчувствие» Толстого-мыслителя и писателя к чужой личности. По словам Бердяева, «во имя счастливой животной жизни всех отверг он личность и отверг всякую сверхличную ценность»⁶. Абсолютную авторскую волю, не приемлющую иной воли и иной личности, в художественных произведениях Толстого выделял Д.С. Мережковский: «Можно бы почти сказать, что во всех произведениях его — одна-единственная личность, один-единственный герой — он сам. От Николеньки до старца Акима, от Левина до Пьера Безухова, от Платона Каратаева до дяди Ерочки — все он же, Толстой. Лицо его отражается во всех этих лицах, как в зеркалах, разлагается на все эти лица, как белый луч солнца на многоцветную радугу»⁷.

В религиозных представлениях Толстого видели сведение учения Христа к набору этических правил и норм. По мысли А.Л. Волынского, «Толстой берет учение Христа вне его чудной метафизической основы. Толстой режет, так сказать, ножом рассудка учение, которое предстало пред людьми

⁴ Струве П. Б. Лев Толстой // Русские мыслители о Льве Толстом. Тула, 2002. С. 215.

⁵ Бердяев Н.А. Духи русской революции // Бердяев Н.А. О русских классиках. М., 1993. С. 101.

⁶ Там же. С. 98.

⁷ Мережковский Д. С. Лев Толстой и революция // Мережковский Д. С. Собр. соч. Грядущий хам. М., 2004. С. 350–351.

в мистическом свете вечной жизни, бессмертия»⁸. Именно по этой причине большинство мыслителей отказывали Толстому в «метафизическом воображении»⁹.

В современных нам работах не ослабевает публицистический пафос этих обвинений, и истоки русской революции продолжают рассматриваться в непосредственной связи с деятельностью и творчеством Толстого. По мысли публициста и писателя Д.Л. Быкова, «без Льва Толстого никакой революции не могло произойти»; Господь, вложив в благополучного помещика и аристократа Льва Толстого фантастический талант для создания грандиозного, сопоставимого разве что с «Илиадой» и «Одиссеей», русского произведения — «Войны и мира», «думал получить русский роман, а получил русскую революцию»¹⁰.

Определяя мировоззрение Толстого как антиисторическое и нехристианское по своей сути, философ и писатель В.К. Кантор понимает влияние Толстого на русскую историю как антихристово деяние: «Говорят, что Толстого нельзя даже отдаленно помыслить, как антихриста, ведь это был абсолютно гениальный писатель, призывавший к добру и много сделавший реальных добрых дел. На это можно ответить, что антихрист и должен быть гением, иначе ему не прельстить все человечество»¹¹. В этом контексте не удивительно, что и большевистская революция, по мнению Кантора, оказалась многим обязана Толстому: «...Толстой ужаснулся бы, узнав, как отозвалось в судьбе России его слово. И тем не менее именно Толстой дал моральную санкцию действиям большевиков»¹².

Почему Толстого неизменно причисляют к виновникам, идеологическим зачинщикам социальных потрясений в России? Революционная ситуация начала XX века совпадает с периодом невероятной популярности и влияния Толстого как

⁸ Вольтинский А.Л. Нравственная философия гр. Льва Толстого // Русские мыслители о Льве Толстом. С. 60.

⁹ Струве П. Б. Лев Толстой. С. 214.

¹⁰ Быков Д. Русская революция как зеркало Льва Толстого // Быков Д. Блуд труда. Эссе. СПб., 2007. С. 244–245.

¹¹ Кантор В. К. «Крушение кумиров», или Одоление соблазнов (становление философского пространства в России). М., 2011. С. 92.

¹² Там же. С. 97.

в России, так и за рубежом. Толстой — это писатель с мировой известностью, создатель целого религиозного направления — «толстовства», и одновременно — это неизменный герой всех периодических изданий: по замечанию Н.Н. Страхова, «малейшие известия о том, что пишется и как живет в Ясной Поляне, газеты помещают наравне с наилучшими лакомствами, какими они угощают своих читателей, т. е. наравне с политическими новостями, с пожарами и землетрясениями, скандалами и самоубийствами»¹³. Толстой превращается в объект пристального внимания — фигуру, во многом определяющую массовое сознание. Действительно, любое слово яснополянского старца в 1900-е гг. тут же подхватывалось многочисленными посетителями писателя, последователями его идей, мыслителями противоположных убеждений. Так создавалась развернутая сложная мифология о писателе и деятеле Толстом.

В русской литературе «толстовская мифология» сопоставима разве что с пушкинской (в мировом масштабе — с «мифологией» Гете). Но если Пушкин оставлял лакуны, недоговаривал «о себе», что вело литераторов и исследователей его жизни и творчества к необходимости реконструкции внутреннего мира поэта, то в случае с Толстым все обстояло несколько иначе. Толстой — один из самых откровенных писателей, он сам о себе сказал все, что мог сказать. Но, несмотря на удивительную обнаженность его внутреннего мира, возможности «мифологизации» оказались неисчерпаемыми. Только здесь мифотворцы шли не по пути реконструкции, а по пути интерпретации. Над созданием сложной, развернутой «мифологии» Толстого трудились русские писатели, философы, общественные деятели и живописцы: жизнь и творчество Толстого являлись и продолжают являться неисчерпаемым источником для мемуарных и художественных истолкований, фундаментальных научных исследований и бесчисленных статей.

Толстой был для целого поколения ближайших и младших современников опорой, основанием, гарантией устойчивости мира. Можно привести множество высказываний современников Толстого, выражающих эту мысль. И.А. Бунин вспоминал свой диалог с А.П. Чеховым: «Вот умрет Толстой и все

¹³ Страхов Н. Н. Толки о Л. Н. Толстом // Русские мыслители о Льве Толстом. С. 67.

пойдет к черту! <...> — Литература? <спрашивает Бунин>. — И литература <отвечает Чехов>»¹⁴. В статье, посвященной 80-летию Толстого, А.А. Блок с беспокойством вопрошал: «А если закатится солнце, умрет Толстой, *уйдет последний генерал*, — что тогда?»¹⁵.

Апофеозом такого рода оценок можно считать слова Т. Манна: «В дни, когда бушевала война, я часто думал о том, что она вряд ли посмела бы разразиться, если бы в четырнадцатом году глядели еще на мир зоркие и пронизательные серые глаза старца из Ясной Поляны»¹⁶.

Но в русской публицистике, по мере развития революционных событий с начала XX века, все чаще звучала мысль о том, что Толстой является одним из вдохновителей этих событий, что его взгляды ведут не к моральному обновлению человечества, а к разрушению порядка и воцарению хаоса и анархии. Противостояние Толстого существующему общественному устройству и власти выражены в очень известных словах А.С. Суворина (от 29 мая 1902 г.): «Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династии»¹⁷. Такое положение Толстого в русской общественной жизни неразрывно связывало его имя и его проповедь с грядущими потрясениями.

П.Б. Струве признавал беспрецедентным мощное влияние Толстого на поколение, повзрослевшее в 1880-е гг. и вошедшее в общественную жизнь в 1890-е гг. Однако это воздействие, по мысли Струве, имело разрушительный характер: «...Толстой один из самых мощных разрушителей нашего старого порядка. Равнодушный к политике в тесном смысле, он проповедовал такие общие идеи и высказывал такие мысли по частным вопросам, которые имели огромное политическое значение, и этой

¹⁴ Бунин И.А. О Чехове // Бунин И.А. Собр. соч. Окаянные дни. СПб., 1994. С. 317.

¹⁵ Блок А.А. Солнце над Россией (Восьмидесятилетие Льва Николаевича Толстого) // Блок А.А. Соч.: В 2 т. М., 1955. Т. 2. Очерки, статьи и речи. Из дневников и записных книжек. Письма. С. 73.

¹⁶ Манн Т. Толстой (к столетию со дня рождения) // Манн Т. Собр. соч.: В 10 т. М., 1959–1961. Т. 9. С. 621.

¹⁷ Суворин С.А. Дневник. М., 1992. С. 316.

его проповеди была присуща вся та сила, которую давали гений и авторитет гения. <...> По своим *социальным* идеям Толстой по отношению к существующему обществу великий революционер»¹⁸.

Лев Шестов использовал для описания «разрушительных» устремлений Толстого «зоологическую» метафору, позаимствованную у Гейне: «...у негров существует поверье, что заболевший лев старается поймать обезьяну и разорвать ее, и таким способом излечивается. Толстой, обыкновенно, тоже так лечится»¹⁹. Резкую критику, которую Толстой направляет в адрес государства, церкви, института брака и т. п., Шестов объясняет сугубо эгоистическими причинами — стремлением великого писателя избавиться от страха смерти: «Он напал на культурное общество, прогресс, медицину, церковь и с неутомимостью и силой человека, только что взглянувшего в лицо смерти, наносил удары направо и налево, никому и ничему не давая пощады»²⁰.

Учение Толстого о «непротивлении злу силою» едко высмеивал В.С. Соловьев в своем предсмертном труде «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1900). Впрочем, главный аргумент Соловьева против учения Толстого не может не вызвать удивления. Соловьев считает, что все это учение держится только на вере в возможность непосредственного воздействия добра и любви на человека, душа которого подвержена злу, на веру в возможность искоренения зла добром и любовью. Эту веру Соловьев и подвергает сомнению. Можно было бы частично принять его критику, если бы он отрицал *абсолютную универсальность* действия добра и признавал необходимость в некоторых *крайних* случаях (в случаях *полной подчиненности* души человека злу) использовать и иные методы, помимо духовного действия добра и любви (именно так рассуждал позже И. Ильин). Но Соловьев заставляет участников изображаемого им диалога на вопрос о том, «известны какие-нибудь случаи, чтобы доброта доброго человека делала злого добрым или, по крайней мере, менее

¹⁸ Струве П.Б. Лев Толстой. С. 220–221.

¹⁹ Шестов Л. Разрушающий и созидающий миры (По поводу 80-летнего юбилея Толстого) // Русская мысль. 1909. Т. 13. Кн. 1. С. 43.

²⁰ Там же.

злым?»), решительно отвечать, что таких случаев никто никогда не видел и не слышал²¹. Получается, что в поздней своей работе Соловьев отказался от главного положения собственной этики, изложенной в капитальном труде «Оправдание добра», и пришел к отрицанию какого-либо существенного влияния добра в мире. Столь резкое изменение собственных взглядов почти на противоположные показывает сложность отношения Соловьева к учению Толстого; такую эмоциональную и очень субъективную реакцию можно объяснить только тем, что Соловьев осознал близость своих прежних взглядов к взглядам Толстого и захотел преодолеть эту близость в силу каких-то веских внутренних причин²².

В окончательной форме «обвинительный приговор» Толстому был сформулирован уже в эмиграции, и наиболее ярко — в работе И. Ильина «О сопротивлении злу силою» (1925). Эта работа имеет особенно важное значение для нашей темы: детально анализируя этическое и религиозное учение Толстого, Ильин пытается «строго теоретически» показать, какие из принципов Толстого являются причиной его «нигилистического» отношения к религии, государству, праву.

Главный тезис Ильина заключается в том, что учение Толстого не предлагает ясной и тем более последовательной позиции по отношению к проблеме зла и высших целей человеческой жизни, «граф Л. Н. Толстой и его единомышленники принимают и выдают свое бегство от этой проблемы за разрешение ее»²³. По мнению Ильина, все умопостроения Толстого внутренне противоречивы и легко опровергаются строгой философской критикой. Считая, что вся положительная часть учения Толстого сводится к формальной морали личного самосовершенствования, Ильин делает такое заключение: «Мораль Толстого как философское учение имеет два источника: во-первых, живое *чувство жалостливого сострадания*, именуемое у него «любовью» и «совестью», и, во-вторых, доктринерский

²¹ Соловьев В. С. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории // Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., 1988. С. 711.

²² Подробнее см. в книге: Евлампиев И. И. Русская философия в европейском контексте. СПб., 2017. С. 123–154.

²³ Ильин И. А. О сопротивлении злу силою // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1991–1999. Т. 5. С. 89.

рассудок, именуемый у него «разумом»²⁴. Именно господство формального рассудка, согласно Ильину, не дает Толстому увидеть сложность жизни и ведет к господству абстрактных понятий и принципов в его учении. Кроме того, Ильин считает, что по своему характеру учение Толстого обладает чертами эгоцентризма и субъективизма, Толстой якобы совершенно не видит «связанности людей в добре и зле».

«Понятно, — подводит итог Ильин, — что такому человеку естественно взывать к моральному самосовершенствованию и видеть в нем духовную панацею и неестественно воспитывать других и бороться с общественно-объективирующимся злом. В момент семейной, национальной, общечеловеческой катастрофы, вызванной победоносным взрывом зла, он будет по-прежнему опасно рефлексировать на свою внутреннюю моральную безошибочность и праведность и приглашать других в таком же «непротivлению», напоминая тех, кто в чуму предоставлял заразе распространяться и заботился только о своей личной незараженности»²⁵.

Парадоксальным образом мнение эмигрантского борца с большевизмом, идеолога белого движения, сходится с мнением главного идеолога большевизма — В.И. Ленина. В известной статье «Лев Толстой как зеркало русской революции», написанной по поводу 80-летия Толстого (1908), Ленин главной чертой взглядов писателя признает внутреннюю противоречивость, причем, как и Ильин, подчеркивает в качестве важнейшей негативной черты мировоззрения Толстого его идеал *личной* праведности:

«Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе. С одной стороны — замечательно сильный, непосредственный и искренний протест против общественной лжи и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом, который, публично бия себя в грудь, говорит: «я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенство-

²⁴ Там же. С. 90.

²⁵ Там же. С. 92–93.

ванием; я не кушаю больше мяса и питаюсь теперь рисовыми котлетками». С одной стороны, беспощадная критика капиталистической эксплуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии суда и государственного управления, вскрытие всей глубины противоречий между ростом богатства и завоеваниями цивилизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; с другой стороны, — юродивая проповедь «непротивления злу» насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срыванье всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: религии, стремление поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению, т. е. культивирование самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины»²⁶.

Понятно, что в советское время точка зрения Ленина полностью определяла отношение к Толстому, однако после того, как в 1990-е гг. было возрождено наследие русской религиозной философии, на первый план в осмыслении темы «Толстой и революция» вышло мнение Ильина и близких к нему мыслителей, таких как Д. Мережковский, П. Струве, В. Зеньковский и др. Но общий вектор оценок остается прежним: Толстой по-прежнему признается важнейшим идеологическим провокатором революционных событий, хотя и «непоследовательным» мыслителем. В советское время это вело к общей положительной оценке Толстого-мыслителя, в наши дни, наоборот, — к отрицательной (в духе процитированных выше высказываний Д. Быкова).

Однако внимательное отношение к накопленному историческому опыту заставляет нас с осторожностью относиться к суждениям, просто повторяющим то, что уже было сказано сто лет назад. Мы должны более критично отнестись к традиционным оценкам и без всякой предвзятости, исходя только из текстов Толстого, решить, есть ли реальные основания для утверждений, что великий писатель призывал к революции и во многом отвечает за ее исторические последствия.

Основные пункты «обвинительного заключения» в адрес Толстого, содержащегося в работах его критиков, мы бы сформулировали следующим образом:

²⁶ Ленин В. И. Полн. собр. соч.: В 55 т. М., 1958–1966. Т. 15. С. 181.

во-первых, Толстой резко критиковал самодержавный режим в России и тем самым способствовал протестным настроениям в обществе;

во-вторых, Толстой отрицал государственную власть и государственное устройство, т. е. был сторонником анархизма;

в-третьих, он проповедовал индивидуалистическую мораль, которая призывала людей к личному совершенству, но игнорировала духовное единство людей и их социальную солидарность;

в-четвертых, Толстой устранил из жизни людей религию (заменяя ее неким «суррогатом»), а вместе с ней и все духовные ценности, что способствовало распространению нигилизма, отказу от всех ценностей. Толстой видит только «животную» личность человека, но не видит высшего ее предназначения;

в-пятых, Толстой не признавал наличия в мире существенного зла и поэтому не предполагал никакой борьбы с ним.

По поводу первого пункта не может быть сомнений — в публицистических сочинениях Толстого и многих его художественных произведениях (особенно в романе «Воскресение») критика существующей власти и существующего общественного устройства бескомпромиссна и, строго говоря, является призывом к их уничтожению. Современное состояние русского общества видится Толстому как ситуация «страшного выбора»: «...продолжать ли, несмотря на все претерпеваемые от него бедствия, повиноваться, по примеру восточных народов, своему неразумному и развращенному правительству или, как до сих пор поступали все западные народы, признавшие вред существующего правительства, свергнуть его силою и установить новое»²⁷. Взгляд на западные страны заставляет думать людей, привыкших к своей благополучной, хорошо обеспеченной жизни (нерабочих), что путь свержения правительства и установление новой власти является вполне приемлемым и естественным, если считать благом «военное могущество и успех промышленности, торговли и технических усовершенствований и тот внешний блеск, до которого, при своих измененных управлениях дошли западные народы»²⁸.

²⁷ Толстой Л. Н. О значении русской революции // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М.; Л., 1928—1958. Т. 36. С. 320—321.

²⁸ Там же. С. 321.

Но сама идея «установления новой власти», по Толстому, не приведет к изменению, улучшению жизни, если иметь в виду благо всех. Главными принципами, на которых держится, по Толстому, любая власть — это насилие, обман и грабеж. И изменение власти, т. е. смена монархии на правительство любого толка и характера, ни к чему не может привести, так как «люди, ограничивающие произвол власти и составляющие собрания, делаясь обладателями власти, естественно подпадали тому же свойственному власти развращающему влиянию, которому подпадали самодержавные властители»²⁹. По мысли Толстого, везде, где будет власть, там будет насилие одних людей над другими, потому сама «власть должна быть уничтожена»³⁰.

Кажется, что и второй выделенный момент воззрений Толстого не вызывает сомнений, он отвергает не только русское самодержавие, но и любую государственную власть вообще, считая даже, что деспотический режим менее вреден, чем демократический, ведь последний пытается вовлечь в политический процесс весь народ и тем самым «развращает» его. Тем не менее в этой части взгляды Толстого не столь однозначны: теория «анархизма» должна рассматриваться в контексте религиозных представлений писателя, ее ни в коем случае нельзя считать «нигилизмом» (как утверждают многие), поскольку положительная идея безвластной организации общества в ней гораздо важнее, чем идея отрицания всех форм государства³¹.

В отношении третьего пункта «обвинений», весьма характерного для критиков Толстого, можно заметить, что тот же Ильин, который в книге «О сопротивлении злу силою» однозначно обвинял Толстого в индивидуализме и субъективизме, в более ранней статье «Основное нравственное противоречие войны» (1914), давал совсем иную характеристику его этике. Ильин выступал в роли искреннего «защитника» писателя от несправедливой критики Соловьева в упоминавшейся выше работе «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории»: по словам Ильина, в работе Соловьева «глубокие

²⁹ Там же. С. 322.

³⁰ Толстой Л. Н. К политическим деятелям // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 35. С. 205.

³¹ См.: Евлампиев И. И. «Анархизм» Л. Н. Толстого и его возможные философские основания // Русская литература и философия: пути взаимодействия. М., 2018. С. 180–195.

и предметные нравственные искания Л.Н. Толстого переданы без понимания в форме несправедливой карикатуры»³².

Основное нравственное противоречие войны, согласно Ильину, порождается требованием убийства неприятеля, тогда как в самом акте убийства происходит разрушение духовного единства, связывающего людей и делающего их жизнь осмысленной и благой. Ильин резко противопоставляет «любовь», связывающую людей, и «насилие», уничтожающее эту связь («сплошность», «сопринадлежность душ»): «насилие», по мысли Ильина, страшно тем, что «каждый разрыв в социально-духовной ткани, каждый акт отторжения, обиды и насилия умножается в душах людей <...>, передается от души к душе, особенно если сила любви не успевает вовремя погасить его разрушительный огонь и исцелить состоявшиеся разрывы»³³. Ильин совершенно справедливо усматривает причину отрицания Толстым насилия не в идеале личной праведности, а в необходимости сохранять и упрочивать *всеобщую духовную связь людей*.

В качестве центрального принципа своей этики Толстой полагал неразрывное духовное единство людей, в противоположность распространенному мнению об индивидуалистическом характере его морали; именно это единство он называет Богом, который живет в человеке. Наиболее ясно идея связанности людей выражена в этико-философской книге «Путь жизни» (1910).

«Все живые существа телами своими отделены друг от друга, но то, что дает им жизнь — одно и то же во всех. <...> Мало сказать, что в каждом человеке такая же душа, как и во мне: в каждом человеке живет то же самое, что живет во мне. Все люди отделены друг от друга своими телами, но все соединены тем одним духовным началом, которое дает жизнь всему. <...> Когда подумаешь про те миллионы и миллионы людей, которые живут такой же, как и я, жизнью, где-то за десятки тысяч верст, про которых я никогда ничего не узнаю и которые ничего не знают про меня, то невольно спрашиваешь себя: неужели между нами нет никакой связи, и мы так и умрем, не узнав друг друга? Не может этого быть. И правда, что этого не может быть. Как ни странно это, я чувствую, знаю,

³² Ильин И. А. Основное нравственное противоречие войны // Ильин И. А. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. С. 25.

³³ Там же. С. 15.

что есть связь между мною и всеми людьми мира, и живыми, и умершими. В чем эта связь, я не могу ни понять, ни высказать, но знаю, что она есть. <...> Только тогда человек понимает свою жизнь, когда он в каждом человеке видит себя»³⁴.

Здесь высказан принцип, который не позволяет назвать этическую и философскую систему Толстого «индивидуалистической» и «субъективистской», как это делает Ильин в своей поздней работе и как делают множество других исследователей. Если в своей духовной сущности люди соединены в некое единство, то личные усилия по упрочению и совершенствованию *собственной* духовной сущности ведут к совершенствованию *всех*.

Такое понимание сущностного единства людей опровергает высказанную Ильиным мысль о том, что для Толстого любовь к ближнему сводится к чувству «жалостливого сострадания», которое носит больше животный, чем духовный характер. На самом деле для Толстого любовь — это главная сила, соединяющая людей, и она имеет не животный, а духовный и даже *божественно-мистический* характер. Любовь приводит человека к пониманию того, что его существо не ограничено его телом и является бесконечным, т. е. охватывает все живое.

Понятое таким образом, взгляды Толстого имеют очевидный религиозный смысл, в связи с которым и четвертое «обвинение» оказывается ложным. Церковные критики писателя настойчиво доказывали полное отсутствие у него глубокой религиозности; но на деле целью религиозного учения Толстого было не противостояние официальной церкви, а стремление очистить исходные смыслы христианского учения от исторических искажений и наслоений. В результате он оказался ближе к подлинному учению Иисуса Христа, чем все церковное христианство, в котором учение Христа предстает в существенно искаженном виде³⁵.

В качестве главных аргументов несоответствия учения Толстого подлинной религиозности всегда приводилось, во-первых, отсутствие в его учении мистического элемента, без чего религия невозможна (известные утверждения «формализ-

³⁴ Толстой Л. Н. Путь жизни // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 45. С. 47–49.

³⁵ См. подробнее в монографии: Евлампиев И. И. Неискаженное христианство и его первоисточники // Соловьевские исследования. 2016. № 4; 2017. № 1–4.

ма» этики писателя), и, во-вторых, отрицание им бессмертия, что также является аксиомой для любой религии. О присутствии мистических элементов в религиозности Толстого было сказано только что и еще будет говориться ниже. Что касается идеи бессмертия, то в текстах Толстого мы находим противоречивые высказывания на эту тему, однако категорическое отрицание идеи бессмертия неизменно возникает только в связи с критикой церковных догматов; в других случаях идея бессмертия предстает как безусловно истинная. Вечная жизнь человеческой личности для Толстого несомненна, хотя о том, в какой форме будет продолжаться жизнь личности после смерти, он говорит в разных контекстах по-разному. Чаще всего он склоняется к идее нового существования в том же земном мире или в некотором подобном ему мире. В связи с таким пониманием бессмертия Толстой сравнивает смерть со сном: «... уничтожение последнего по времени сознания, при плотской смерти, так же мало может уничтожить истинное человеческое я, как и ежедневное засыпание»³⁶.

В поздних дневниках Толстого мы находим многочисленные фрагменты, в которых идея бессмертия становится отправной точкой для объяснения различных явлений обычной человеческой жизни. Например, в записи от 7 декабря 1895 г. читаем: «Жизнь есть увеличение любви, расширение своих пределов, и это расширение совершается в разных жизнях. <...> Это расширение нужно для моей внутренней жизни, и оно же нужно для жизни этого мира. Но жизнь моя может проявляться не в одной этой форме, она проявляется в бесчисленном количестве форм. Мне видна только эта»³⁷. Или вот как Толстой соотносит идею бессмертия с возможностью самоубийства: «Хорошо бы написать историю того, что переживает в этой жизни тот, кто убил себя в предшествующей: как он, натываясь на те же требования, кот[орые] ему предлагались в той, приходит к сознанию, что надо исполнить. И в этой жизни понятливее других, помня данный урок»³⁸.

³⁶ Толстой Л. Н. О жизни // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 26. С. 408.

³⁷ Толстой Л. Н. Дневник 1895 г. // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 53. С. 74.

³⁸ Там же. С. 79.

И в понимании идеи бессмертия, и в оценке других важнейших слагаемых христианской религиозности критика Толстым традиционных церковных представлений связана только с тем фактом, что эти представления являются искажением истинного, первоначального учения Христа, а Толстой стремится вернуться к подлинному содержанию христианского учения. В этом плане религиозные поиски Толстого оказываются созвучными основным устремлениям русской религиозной мысли конца XIX — начала XX века. Добавим, что достижения библеистики XX века оставляют все меньше сомнений, что церковное, ортодоксальное христианство, сформированное во II–IV веках за счет внедрения в первохристианство чуждых ему элементов иудаизма (прежде всего идеи грехопадения), является вторичной и ложной формой этой религии³⁹.

Наконец, обвинение Толстого в том, что он не признает зла в мире и отрицает борьбу с ним, также нужно признать несправедливым, обусловленным нежеланием понять учение писателя во всей его полноте. В одном из важнейших философских сочинений Толстого, трактате «О жизни» (1887–1888), рефреном звучит тема пронизанности земной человеческой жизни злом и страданиями. В этой книге сама «жизнь» неоднократно определяется Толстым как «стремление от зла к благу», однако автор вовсе не предлагает игнорировать зло, он считает вполне естественным для человека, погруженного в земную жизнь, остро испытывать окружающее его зло и страдать от него. Толстой решительно критикует те религиозные учения (сюда попадает и церковное христианство), которые предлагают мириться со злом земной жизни, обещая воздаяние и окончательное благо в загробной жизни, в посмертном существовании. ««Вся жизнь моя есть желание себе блага, <...> разум же мой говорит мне, что блага этого для меня быть не может, и что бы я ни делал, чего бы ни достигал, все кончится одним и тем же: страданиями и смертью, уничтожением. Я хочу блага, я хочу жизни, я хочу разумного смысла, а во мне

³⁹ Впервые эта точка зрения получила обоснование в известной работе Вальтера Бауэра «Ортодоксия и ересь в раннем христианстве» (Bauer W. *Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christentum*. (Beiträge zur historischen Theologie, Band 10) Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1934). См. также: Эрман Б.Д. Иисус, прерванное Слово. Как на самом деле зарождалось христианство. М., 2010.

и во всем меня окружающем — зло, смерть, бессмыслица. Как быть? Как жить? Что делать?» И ответа нет»⁴⁰.

Многие люди, осознав силу зла в окружающем мире, решают бороться с ним с помощью методов этого мира, т. е. через «сопротивление злу силой», но Толстой считает, что такая позиция означает уход от решения проблемы: ликвидация одного проявления зла при помощи насилия порождает другие его проявления и не ведет к искоренению зла в мире. По Толстому, задача состоит в том, чтобы совершать усилия, направленные не «по горизонтали», внутри самой земной, т. е. животной, жизни, а «по вертикали», имеющие целью раскрытие высшей, духовной, божественной, благой жизни внутри человека и непосредственно в его земном существовании. Высшая жизнь не имеет пространственно-временной определенности, как земная жизнь, и ее законы невозможно понять изнутри земной жизни. Вот как Толстой описывает переход от земной, животной жизни к жизни высшей, разумной:

«Силы пространственные и временные — силы определенные, конечные, несовместимые с понятием жизни; сила же стремления к благу через подчинение разуму есть сила, поднимающая в высоту, — сама сила жизни, для которой нет ни временных, ни пространственных пределов. <...> Человек начинает жить истинной жизнью, т. е. поднимается на некоторую высоту над жизнью животной и с этой высоты видит призрачность своего животного существования, неизбежно кончающегося смертью <...>»⁴¹.

Этот центральный элемент религиозной философии Толстого помогает прояснить многие недоразумения, связанные с оценками его творчества. В традиционных интерпретациях религиозного учения писателя его главными характеристиками признают формализм, чистый морализм, рационализм и в качестве самого главного — отрицание мистического элемента религии. Последнее кажется особенно очевидным, учитывая многочисленные фрагменты сочинений Толстого, в которых он подвергает резкой критике ложный «мистицизм» традиционного христианства.

Однако внимательное чтение трактатов Толстого ведет к прямо противоположному выводу: учение Толстого носит

⁴⁰ Толстой Л. Н. О жизни. С. 339–340.

⁴¹ Там же. С. 361.

радикально мистический характер — оно в гораздо большей степени мистично, чем традиционное христианство. Ведь критика Толстого относится к «вульгарной» и «натуралистической» мистике христианских обрядов, подобных обряду причастия, в котором хлеб и вино якобы превращаются в тело и кровь Христа. Но Толстой не только не отрицает, но полностью принимает мистику, характерную для великих систем философии: от Платона и Плотина до Фихте и Шопенгауэра. Подлинная, серьезная мистика, имеющая обоснование в сложных философских системах, предполагает возможность для человека перейти от земной реальности, существующей в пространстве и времени, в иную реальность, где реализуются высшие смыслы человеческой жизни. Но именно это и утверждает Толстой в приведенном выше фрагменте из трактата «О жизни». Высшая реальность «мистична», поскольку ее невозможно постичь и описать с помощью традиционных форм рационального познания, которые практикует наука. Не случайно важнейшей темой философских размышлений Толстого является отрицание притязаний науки на абсолютное познание жизни и всех основных составляющих человеческого бытия.

Конечно, понимание оригинальности представлений Толстого затруднено тем, что писатель использует традиционные понятия рационалистической философии — разум, сознание, закон — для характеристики высшей, истинной жизни. Но точно так же поступали и многие философы, на которых он равняется, например, И.Г. Фихте. Здесь важно отметить, что традиционные философские понятия Толстой использует в новом, «неклассическом» смысле. Можно сказать, что его религиозно-философское учение является оригинальной разновидностью «неклассической философии», которая активно развивалась во второй половине XIX — начале XX века. В частности, выразительные параллели можно найти между учением Толстого и философией Анри Бергсона, который, как и Толстой, поставил в центр своих размышлений понятие «жизни»⁴².

После того, как мы поняли главную идею религиозно-философского учения Толстого, нетрудно увидеть внутреннюю оправданность принципа «непротивления злу насилием». Ведь

⁴² См.: Евлампиев И. И., Матвеева И. Ю. Лев Толстой как один из родоначальников «философии жизни» (Лев Толстой и Анри Бергсон) // Философские науки. 2017. № 5.

зло является «законом» земного мира и нашей земной жизни — в этой жизни есть и «закон» сопротивления злу. Но если человек поднялся до высшей, духовной жизни, он перешел в другую реальность, где законы земного бытия уже не действуют. И подобно тому, как в этой высшей реальности нет характеристик пространства и времени, так в ней нет ни закона фундаментальности зла, ни закона сопротивления злу.

Нужно отметить, что такое понимание соотношения низшей, животной жизни и жизни высшей, духовной, обладающей мистическим смыслом и не подчиненной законам нашего мира, является общим для многих известных русских мыслителей религиозной направленности. Не останавливаясь на этой теме подробно, укажем только на поразительное совпадение в этом аспекте взглядов Толстого и Ф.М. Достоевского. Если учесть распространенное мнение о противоположности религиозных воззрений двух великих русских писателей, соответствие их поисков в этом вопросе становится еще более выразительным. В данном случае важную роль играет одно рассуждение Кириллова, героя романа «Бесы».

В разговоре со Ставрогиним Кириллов высказывает странное убеждение, что в мире «всё хорошо». Ставрогин удивленно переспрашивает: «Всё?». И Кириллов продолжает:

«— Всё. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это всё, всё! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — всё хорошо <Кириллов говорит о тяжело больной женщине с ребенком, которая приехала к его квартирной хозяйке>. Я вдруг открыл.

— А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?

— Хорошо. И кто разmozжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не разmozжит, и то хорошо. Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся моя мысль, вся, больше нет никакой!»⁴³.

Кириллов выражает очень важные аспекты религиозного мировоззрения Достоевского. В романе он выведен *мистиком*,

⁴³ Достоевский Ф. М. Бесы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1971—1990. Т. 10. С. 188—189.

который говорит о необходимости выйти из времени в вечность, в некоторое иное измерение бытия, где человек достигает совершенства. Это вполне соответствует идеям Толстого о переходе к высшей жизни. Но одновременно Кириллов наглядно показывает, что для того, кто перешел к высшей жизни, теряют смысл прежние моральные оценки. Он осознает совершенство мира, несмотря на все его трагические недостатки — даже несмотря на наличие в нем зла и смерти. И он парадоксально *уравнивает* позиции *непротивления злу* и *сопротивления злу*, говоря по поводу обесчещенной девочки: «И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо».

Те, кто возражал Толстому по поводу его принципа «непротивления», традиционно использовали именно пример обесчещенного ребенка. Можно ли спокойно смотреть на такое злое деяние и можно ли не вмешаться, чтобы воспрепятствовать ему? С позиции нашего мира — нельзя, но с позиции высшего мира и высшей жизни такой однозначности уже нет, в высшем мире действуют другие законы, точнее, там нет никаких законов, а высшая свобода не может иметь заранее заданной определенности.

От размышлений Кириллова невозможно отмахнуться как от нелепого идеализма, ведь точно такое же религиозное воззрение демонстрирует старец Зосима из романа «Братья Карамазовы», а его взгляды, безусловно, выражают собственное мнение Достоевского: «...посмотрите кругом на дары Божии: небо ясное, воздух чистый, травка нежная, птички, природа прекрасная и безгрешная, а мы, только мы одни безбожные и глупые и не понимаем, что жизнь есть рай, ибо стоит только нам захотеть понять, и тотчас же он настанет во всей красоте своей, обнимемся мы и заплачем...»⁴⁴. Конечно, «захотеть понять» в этом контексте означает как раз то мистическое усилие по переходу к высшей жизни, о котором говорит Толстой и которое подразумевается в словах Кириллова.

Еще более очевидное совпадение взглядов Достоевского и Толстого можно увидеть в одном суждении из подготовительных материалов к роману «Бесы». Достоевский первоначально предполагал вывести в романе «народного мудреца» Голубова, который высказывал истины, очень близкие к мыслям Толстого:

⁴⁴ Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 14. С. 272.

«Рай в мире, он есть и теперь, и мир сотворен совершенно. Всё в мире есть наслаждение — если нормально и законно, не иначе как под этим условием. Бог сотворил и мир и закон и совершил еще чудо — указал нам закон Христом, на примере, в живье и в формуле. Стало быть, несчастья — единственно от ненормальности, от несоблюдения закона»⁴⁵.

Нужно подчеркнуть, что, согласно Достоевскому, люди, поднявшиеся до высшей жизни, не просто принимают позицию «безразличия» в отношении ко злу, они оказываются способными гораздо более эффективно, чем люди, живущие низшей жизнью, *влиять* на саму земную жизнь, способны помочь другим в движении к той же высшей жизни и, значит, *реально обеспечить уменьшение власти зла*. Называя таких людей, людей подлинной религиозности, «высшими типами», Достоевский пишет в «Дневнике писателя»: «Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, — и это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении или через два-три десятка лет мысль гения уже охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, — и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какою-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей»⁴⁶.

Таким образом, только люди, целиком погруженные в земную реальность и в обыденную (животную) жизнь, могут придавать земному злу абсолютное значение и соответственно считать *физическую* борьбу со злом этически необходимой и обязательной для каждого. Если же видеть существование

⁴⁵ Достоевский Ф. М. Бесы. Подготовительные материалы // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 11. С. 121.

⁴⁶ Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1876 г. // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 24. С. 47.

высшей, духовно-мистической жизни, путь к которой открывает истинная религия, то нужно признать, что ни само зло, ни принцип (физического) сопротивления злу не является религиозно обоснованным, и отказ от него, как это делает Толстой, является необходимым для прития указанной истинной религии. Это вовсе не означает потворства злу, поскольку у людей, перешедших к высшей жизни, появляются другие, непонятные обычным людям способы противостояния земному злу, *мистические* по своей сути. Достоевский, как показывают приведенные примеры, полностью согласен с такой точкой зрения, хотя его никто и никогда не обвинял на основании этого в отрицании зла.

Мы уже говорили, что Д. Мережковский в своем раннем творчестве адресовал Толстому обвинения в том, что для него закрыта область «тайн духа» и что он хорошо знает только «мир плоти», т. е. наш земной мир в его самых примитивных проявлениях. Однако в поздних работах, написанных в эмиграции, Мережковский предлагал совсем другое, гораздо более глубокое, понимание мировоззрения Толстого. В его размышлениях о Толстом происходит принципиальный поворот, он осознает необходимость разделить этические нормы, регулирующие поведения человека в земном мире, и религиозные, описывающие наше бытие в высшем, духовном мире: «...«непротивление злу насилием» — сомнительная истина в этике, но несомненная в религии. От большого насилия к меньшему — таков этический путь, а религиозная цель — отрицание насилия абсолютное»⁴⁷. Это правильно отражает смысл соотношения этического и религиозного слагаемых учения Толстого.

Однако из всего сказанного мы все-таки можем вывести одно обоснованное возражение против этического принципа Толстого. Ясно, что *абсолютное* отрицание насилия в земной жизни столь же незаконно, как и абсолютное требование сопротивления злу силою в этике Ильина и других оппонентов Толстого. Абсолютное отрицание насилия означает прямое перенесение свойств высшей, духовной, божественной жизни на жизнь низшую, земную. К сожалению, многие рассуждения писателя дают повод к такому неправомерному смешению двух

⁴⁷ Мережковский Д.С. Л. Толстой и большевизм // Мережковский Д. С. Царство антихриста. Статьи периода эмиграции. СПб., 2001. С. 150.

форм жизни. Тем не менее, в том случае, когда Толстой до конца продумывал содержащиеся в его учении противоречия, он давал достаточно точный ответ и на этот вопрос. В книге «Царство Божие внутри вас» (1890—1893) Толстой утверждал, что переход от низшей жизни к высшей есть долгий и трудный процесс, и его смогли с достаточной полнотой реализовать очень малое количество людей. Все люди находятся в этом смысле на *разных* ступенях совершенства, поэтому и моральные заповеди для людей *различны*. Это означает, что принцип непротивления злу насилием нужно понимать как предельное требование, значимое только для тех, кто уже достиг предельного земного совершенства (как об этом говорит Кириллов). Те же, кто только движется к совершенству, должны руководствоваться «заповедями», которые не требуют полного отстранения от законов низшего бытия.

«В нагорной проповеди выражены Христом и вечный идеал, к которому свойственно стремиться людям, и та степень его достижения, которая уже может быть в наше время достигнута людьми.

Идеал состоит в том, чтобы не иметь зла ни на кого, не вызвать недоброжелательства ни в ком, любить всех; заповедь же, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться в достижении этого идеала, — в том, чтобы не оскорблять людей словом. И это составляет первую заповедь.

<...>

Идеал — никогда ни для какой цели не употреблять насилия; заповедь, указывающая степень, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не платить злом за зло, терпеть обиды, отдавать рубаху. И это четвертая заповедь. Идеал — любить врагов, ненавидящих нас; заповедь, указывающая степень достижения, ниже которой вполне возможно не спускаться, — не делать зла врагам, говорить о них доброе, не делать различия между ними и своими согражданами.

Все эти заповеди суть указания того, чего на пути стремления к совершенству мы имеем полную возможность уже не делать — того, над чем мы должны работать теперь, того, что понемногу мы должны переводить в область привычки, в область бессознательного. Но заповеди эти не только не составляют учения и не исчерпывают его, но составляют только одну из бесчисленных ступеней его в приближении к совершенству.

За этими заповедями должны и будут следовать высшие и высшие по пути совершенства, указываемого учением»⁴⁸.

Как видно, здесь Толстой достаточно гибко понимает моральные заповеди и нормы. Наиболее радикальные из них, в том числе и заповедь «непротивления злу насилием», он признает идеальными требованиями, которые относятся только к преобразенному, совершенному состоянию человека; в несовершенном состоянии они имеют другой вид, предстают в какой-то «ослабленной» форме, которую нужно понимать как очередную ступень на бесконечном пути к совершенству. Каждая такая «ослабленная» норма действительна только в определенных обстоятельствах, обусловленных степенью развития человека и человечества; и она непременно когда-то будет заменена другой нормой, более точно соответствующей состоянию человека. Ни формализма, ни ригоризма, традиционно приписываемых Толстому, в таком варианте выражения его этического учения найти невозможно.

Таким образом, если мы с должным вниманием рассматриваем религиозно-философское учение Толстого, все обвинения, на которых основаны выводы о том, что он явился чуть ли не главным идеологом революции, теряют свою обоснованность. Остается только публицистика, направленная против самодержавной власти, но в этой части Толстой не сказал ничего нового по отношению к той критике царского режима, которая звучала и до него, и после него. Современные обвинения в адрес Толстого как одного из основных «провокаторов» революции наглядно демонстрируют, с одной стороны, нежелание по-настоящему глубоко понять и принять наследие великого художника и мыслителя и, с другой — все еще продолжающееся непонимание подлинных причин революционных событий.

⁴⁸ Толстой Л. Н. Царство Божие внутри вас // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 28. С. 80–81.

Ольга Сливацкая

Всеединство как основа близости Бунина и Толстого

Тайна жизни моей, всякого человека, даже существа, в сознании отделенности в себе того, что по существу своему одно во Всем.¹

Л.Н. Толстой

Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною.²

И.А. Бунин

Бунин — художник толстовской ориентации. При всей очевидной разнице — масштабов, идеологических устремлений, жанрового репертуара и т. д. — между ними существует глубинное родство, на которое постоянно указывал сам Бунин. Одна из основ такого родства — идея всеединства. Идея фундаментальной важности, она столь сложна и столь многогранна, что исчерпать ее невозможно. Как кажется, во всей полноте она еще не поставлена. В этих предварительных заметках обозначим лишь контуры этой большой проблемы. При этом Бунин и Толстой не соположены как равные — этому препятствует разница масштабов, — а мир Бунина проецируется на мир Толстого с тем, чтобы выявить важнейшее основание их близости.

Если говорить словами Бунина, существует некий общий для двух писателей «звук». Бунин неоднократно говорил, что в основе рождающегося произведения у него лежит «звук», «какое-то общее звучание всего произведения», «призывный звук, из которого рождается все произведение». «Для меня главное — это найти звук. Как только я его нашел, все остальное

¹ Толстой Л. Н. Полн. (юбилейн.) собр. соч.: В 90 тт. М.—Л., 1928—1958. Т. 57. С. 114. В дальнейшем — в тексте с указанием тома и страницы.

² Бунин И. А. Собр. соч.: В 9 тт. 1967. Т. 9. С. 314-315. В дальнейшем — в тексте с указанием тома и страницы.

делается само собой» (9, 375)³. Наличие «звука» заставляло Бунина ощущать себя в первую очередь поэтом. Так же поэтами воспринимал он Тургенева и Чехова⁴, а о Толстом писал прямио: «великий поэт Толстой» (9, 125).

Что же такое «звук»? Для Бунина — это «самый общий смысл», «самое общее звучание произведения» (9, 375). Очевидно, что «звук» — из тех неопределяемых понятий, которых имел в виду Толстой, говоря о «мыслях, не подлежащих выражению слов» (46, 150). Но читателю это, тем не менее, внятно — если не логически, то интуитивно. Звук — это нечто сугубо индивидуальное, присущее только *этому* художнику, но идущее из самых глубин общего для всех бытия. Побудительное начало художественного творчества. То фетовское «не знаю я, о чем я буду петь, но только песня зреет».

Смысл бунинского понятия «звук» проясняют размышления Толстого: «Есть люди, одаренные в сильной степени нравственным и художественным чувством, и есть люди, почти лишенные его. Первые как будто сразу берут и знают интеграл. А вторые делают сложные вычисления, не приводящие их к окончательным выводам. Точно как будто первые проделали *все* вычисления *где-то* прежде, а теперь пользуются результатами (54, 37). «Звук» — это тот «интеграл», который художник берет сразу, до создания конкретных картин жизни. Это бытие, что существует «где-то прежде».

Но какова природа «звука» именно для Бунина? Доминантой мира Бунина является чувственный облик мира во всем его очаровании. Все чувственные проявления жизни: звук, цвет, запах, движение, покой, свет, мрак — это не только то, что в совокупности своей делает мир явленным и доступным восприятию. Они и внешняя оболочка жизни, и ее же глубинная суть. Это *Эрос*⁵ — тот интеграл, который Бунин берет всем своим искусством.

³ См. подробнее: Двинятина Т.М. Иван Бунин: жизнь и поэзия// Иван Бунин. Стихотворения. СПб, 1914. Т. 1. С. 5-6.

⁴ «несравненный поэт», (9, 226), «каким он был тонким поэтом» (9, 231), «как настоящего поэта» (9, 231).

⁵ См: Согласно Платону, «Эрос — сила, соединяющая все полярные состояния мира, обнимающая весь космос и всю земную жизнь во всех ее проявлениях, и любовное — как высшее проявление космического Эроса. Поэтому Бунин эротичен и там, где тема сексуальной любви отсутствует». О.В. Сливницкая «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М. РГГУ, 2004. С. 6.

Истоком такой доминанты является чувство Всеединства. То, что Бунин называет «звук», — это зов Всеединства. В Записной книжке 1944 г. Бунин делает выписку из Рабиндраната Тагора: «До сих пор я смотрел только глазами, теперь смотрю всем сознанием». Так же смотрю и я — «всем сознанием» уже давно и все больше и больше»⁶. Всеединство — это взгляд на *Всё* всем сознанием.

Первый вариант концепции всеединства был сформулирован в русской философии П.Я. Чаадаевым в работе «Философические письма». Чаадаев следовал немецкой философии, прежде всего системе Шеллинга.

Современные исследователи находят элементы философии всеединства у очень многих русских мыслителей 19 в. Но в окончательной и проработанной форме соответствующая концепция была создана Вл. Соловьевым. Под влиянием Соловьева она стала главной тенденцией русской философии нач. 20-го в. Ее развивали такие известные мыслители как С. Франк, Е. Трубецкой, Л. Карсавин, П. Флоренский, А. Лосев и др.⁷.

Всеединство — это первичное единство Всего, из которого происходит все дальнейшее разделение. Это источник всех разнообразных явлений нашего мира: космических, антропологических, психологических, эстетических, географических и исторических, рожденных пространством и временем, жизнью и смертью, интимные движения одной человеческой души — и вселенские катаклизмы. Все резонирует со всем, в каждом единичном проявляется единое.

Как писал о всеединстве П. Флоренский, «Растения, камни, птицы, животные <...>, атмосферные явления, цвета, запахи, вкусы, небесные светила и события в подземном мире сплетаются между собой многообразными связями, образуют ткань всемирного соответствия»⁸. Он же писал с Соловьеву сыну Кириллу: «Что я делал всю жизнь? Рассматривал жизнь как единое целое, как единую картину и реальность, но в каждый

⁶ Цит. по: Двинятина Т.М. Записные книжки И.А. Бунина 1944 г.: свод жизни и путеводитель по творчеству // Труды СПб института культуры. Т. 215.

⁷ См. Евлампиев И.И. История русской философии. Изд. 2, СПб: РХГА, 2014.

⁸ Флоренский П. Природа // «Литературная Грузия», 1985, № 9. С. 104.

момент или, точнее, на каждом этапе своей жизни, под определенным углом зрения»⁹.

Тексты Бунина насыщены прямыми высказываниями и точечными афоризмами, отражающими идеи всеединства: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет» (1, 401), «Люблю ее за счастье слиянья/ В одной любви с любовью всех времен!» (1, 150), «Но в радости моей – всегда тоска, В тоске всегда – пленительная сладость» (1, 270), «Достигайте в несчастьи радостей мук беспредельных!» (1, 162). Таких готовых цитат у Бунина так много, что очевидно: *они не вытекают из смысла рассказанного и не являются его фоном. Они априорно составляют смысл этого конкретного фрагмента бытия, независимо от его содержания.*

Фрактал¹⁰ всего бунинского мира – это «Легкое дыхание». В мироздании есть только легкое дыхание. Оля Мещерская – его воплощение. А ее мужчины, ее история и ее смерть – все это кристаллизация первоначальной стихии единства всего: прелести ее жизненности и – именно поэтому – неизбежности ее гибели, ее легкого дыхания, и этого весеннего ветра, в котором ее легкое дыхание растворилось *снова*¹¹.

Состоящий из самоценных частных, бунинский мир как целое не тяжел, а, напротив, легок и прозрачен. Это достигается тем, что между всеми художественными частностями ослаблены силы сцепления. У Бунина все эстетические категории представлены в своей свободе и своем «самостоянии».

Бунин – прозаик – и поэт. Тип писателя, совмещающего в себе поэта и прозаика, характерен для литературы как начала Золотого, 19-го в., так и начала Серебряного, 20-го в. Что преобладает в Бунине? В читательском восприятии он в первую очередь прозаик. Сам же Бунин выше ценил в себе

⁹ Цит. по: Григорьева Т.П. Китай, Россия, Всечеловек. М. «Акрополь», 2011. С. 69.

¹⁰ Фрактал – одна из универсалий бытия. Это нелинейная структура, сохраняющая самоподобие при неограниченном изменении масштаба. Фракталы самоподобны и различаются только масштабами. См. подробнее о фракталах и их значении для искусства: Сливацкая О.В. «Истина в движении.» О человеке в мире Толстого. СПб: Амфора. 2009. С. 50-52.

¹¹ См.: Сливацкая О.В. «Повышенное чувство жизни» Мир Ивана Бунина. М., РГГУ, 2004. С. 75-78.

поэта. По-видимому, ближе к истине то, что поэтическая и прозаическая стихии у Бунина равноценны. Это встречается нечасто. Обычно что-то преобладает: либо это поэт, пишущий прозу, либо прозаик, создающий стихи. В этом смысле Бунин ближе всего к Лермонтову, у которого, как кажется, эти стихии равноправны.

— Мастер малой формы. Но владеет и всеми жанрами большой: помимо романа и повестей, он создает такое жанровое образование как «Освобождение Толстого», которое можно было бы определить как эссе, если бы это допускал его объем. И, наконец, миниатюры: то ли мгновенная зарисовка, то ли мелькнувшая мысль, то ли фрагмент чего-то большего.

— А в пределах малой формы: то остросюжетные, то с ослабленным сюжетом, то с сюжетом, который можно восстановить гипотетически, а то и совсем бессюжетные; то с композицией классической, аристотелевой, то с композицией, не совпадающей с диспозицией, т. е. последовательностью событий в реальном времени.

— Эпические повествование — и психологический этюд.

— Пейзажное полотно — и философское размышление.

— Персонаж, судьба которого очевидна — и тот, чья едва угадывается.

Такое многообразие форм свойственно всем художникам нового времени, но у каждого из них есть своя доминанта. Бунин же в этом смысле бездоминантен: у него все представлено с равной степенью свободы. Силы сцепления между отдельными эстетическими элементами ослаблены. Поэтому они и комбинируются столь свободно, не конфликтуют, не сталкиваются, а как будто бы парят в беспредельном свободном пространстве. Это пространство — первичная художественная стихия, из которой свободно черпается все. В этом отношении его художественный мир — эстетический эквивалент реального мира. Это сопоставимо только с одной из ключевых категорий ренессансной культуры, которая называлась *varietà* или «разнообразие»¹². Пафос *varietà* как пафос необозримости микрокосма противостоит иерархизму: в мироздании все в равной степени ценно.

¹² См.: Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. Гл. 2, раздел 1. «Слово, ключевое для понимания типа культуры» М.: Искусство, 1990. С. 68-70.

Чувство Всеединства у Бунина первично. Это не аура, *порождаемая* ситуацией, событием, характером и глубинами чувств. Оно *порождает* ситуации, события, характеры и чувства. В отличие от Толстого, у Бунина мысли о Всеединстве сразу же являются в художественном тексте как данность, как предпосылка и смысл того, о чем повествуется. У Толстого же эти мысли как будто постоянно заново рождаются, домысливаются, развиваются или отвергаются. Картина жизни у него, как правило, предстает в «бесконечной сложности всего живого» (19, 41) и из нее не может быть извлечен *смысл* как нечто застывшее и итоговое. Поэтому не совпадает у художников и функция афоризмов. У Бунина они иногда всплывают из картин жизни, но чаще этим картинам предшествуют, поясняют их суть и закрепляют в вечности. У Толстого — как свидетельствуют об этом его *Дневники* и *Записные книжки*, — каждая отдельная мысль вновь и вновь переосмысливается, формулируется чуть-чуть по-иному, часто с почти неуловимой разницей. Но редко дорастает до афоризма¹³. В завершенных художественных текстах их немного¹⁴.

Очевидно, что Бунин значительно уже Толстого, и поэтому в общей для них проблематике он проявляет себя ярче. У Толстого она часто заслоняется другими проблемами и мотивами. У Бунина же она господствует — и в виде прямых деклараций, и в виде важнейшего фактора, определяющего эстетику. Симптоматично, что среди текстов, содержащих эти прямые декларации и указывающих на их генезис, одно из первых мест занимает книга «Освобождение Толстого». В ней Толстой осмысливается Буниным в свете близкой обоим художникам проблематики Всебытия. Тем самым он прямо указывает на Толстого как на своего прямого предшественника.

Идея Всебытия — для Бунина больше, чем прямая манифестация, чем рассыпанные всюду мысли и т. д. Она для него именно всё. Ибо мироощущение Бунина — космическое¹⁵, а значит, вовлекающее в свое «актуальное я» и беспредельное

¹³ О природе афоризма см. главу о Герцене.

¹⁴ Разумеется, каждый помнит афоризм, открывающий «Анну Каренину». Вслед за первой фразой обычно читают на одном дыхании: «Все смешалось в доме Облонских» так, как будто это тоже афоризм — такова сила инерции эстетики этого жанра.

¹⁵ См: Сливцкая О.В. «Повышенное чувство жизни». С. 52-83.

«Всё». Стало быть, космизм и Всеединство — это один, общий, часто совпадающий круг идей. Сопряжена с этим кругом идей и ориентация Бунина на Восток. В восточной культуре, как известно, идеи Всебытия имеют фундаментальную значимость¹⁶.

Прямые формулировки буквально пронизывают все творчество Бунина: и прозу, и поэзию, и литературно-критические статьи, и мемуары, и т. д. Но если ограничиться несколькими, наиболее репрезентативными текстами, особенно бессюжетными, то будут очерчены все контуры этой проблематики. Таковы философский этюд «Цикады» (первое название «Ночь»), первой очерк «Воды многие» и книга «Освобождение Толстого».

Всеединое — и в этом его суть — это единый комплекс разных проявлений бытия.

Для обоих художников Всеединое — это Бог, а Бог — это Всеединое, т. е. это полные синонимы. Толстой так прямо и писал: «Сознать себя отделенным существом значит познать существование того, от чего отделен, познать существование Всего — Бога» (55, 290). Себя он ощущал частью этого Всего: «То, что я называю своей жизнью, есть сознание божественного начала, проявляющегося в одной части Всего» (55, 256). «*Всё* — слиться с Богом, со *Всем*» (52, 101). Бунин, ссылаясь на Александру Львовну, приводит слова Толстого: «Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознает себя ограниченной частью» (9, 24).

Бунин утверждал: «...иною представления о Боге, кроме Толстовского (его последних лет) не выдумаешь»¹⁷.

¹⁶ Идея всеединства — «это удивительное явление медиальной между Востоком и Западом мысли». Моисеев В.И. Логика всеединства. М: Per se. 2002. С. 32. См подробно: Григорьева Т.П. Дао и Логос (встреча культур). М. 1992. Одна из первых работ о восточных мотивах у Бунина: Сливичкая О.В. Бунин и Восток (к постановке вопроса) // Материалы межвузовской научной конференции, посвященной творчеству Бунина, Елец, октябрь 1969 г. // Воронеж, 1971; Marullo Thomas If You see the Buddha/Studies in Ivan Bunin. — Northwestern Studies University press 1999; Смолянинова Е.Б. Буддийский Восток в творчестве Бунина. Автореферат канд. дисс. — СПб, 2007.

¹⁷ Устами Буниных. Франкфурт—на-Майне: Посев, 1982. Т. 3. С. 147.

Центральная проблема Всеединства – антропологическая: человек и Всё. У Толстого: «Есть два сознания: одно – отделенности от Всего, другое – единства со Всем» (55, 234). «Я – духовное и потому внепростран(ственное) вневременное бесконечное вечное существо, отделенное от своего начала (знаю, что слово и понятие отделенности есть понятие временно-пространственное, но не могу иначе понимать). И это отделенное существо рвется из своих пределов, как сжатый газ; и в том жизнь, что оно, сознавая свою духовность, свое единство со Всем, стремится соединиться с ним. В этом стремлении, усилении сознания, в этом трепетание божеской жизни <...>» (55, 9). «Отношение же наше ко Всему – отношение клетки ко всему органическому миру» (55, 13).

«Всё – слиться с Богом, со *Всем*» (52, 101). «Жить значит чувствовать, сознавать себя центром вселенной, Всего» (57, 22). «Человек сознает больше или меньше всё или я, смотря по возрасту» (48, 127).

«Что такое я? Я? Я ничто само по себе. Я – только известное отношение. Только отношение мое действительно есть. Отношение к чему? Ко *всему* и ко *Всему*. Ко *всему* значит ко всем таким же отношениям, и ко *Всему* – к совокупности всего, чего я понять не могу, но что должно быть и потому есть» (55, 194).

«Жить значит чувствовать, сознавать себя центром вселенной, Всего» (57, 22).

Особого внимания заслуживает мысль, высказанная в письме к В. Черткову от 19 ноября 1909 г.: «Сознание есть не что иное, как чувствование себя в одно и то же время и всем, и отдельной частью *Всего*. Не чувствуй себя человек *всем*, он не мог бы понимать, что такое отдельная часть *всего*, то самое, чем он себя чувствует. Не чувствуй же он себя отдельной частью, он не мог бы понимать, что есть Все. Двойное чувствование это дает человеку знание о существовании *Всего* и о существовании своего отдельного существа и проявляется в жизни любовью, т. е. желанием блага тому, чем человек себя чувствует: желанием благ *Всему* и желанием блага своему отдельному существу» (89, 157).

То же пишет и Бунин в «Ночи»¹⁸: «...есть самое неотразимое доказательство моей причастности чему-то такому, что во сто

¹⁸ Раннее название «Цикады».

крат больше меня, и значит, доказательство моего бессмертия: во мне есть, помимо всего моего, еще некое нечто, очевидно, основное, неразложимое, — истинно частица Бога». «Вкусите и будете как Бог. Но «Бог на небе, мы же на земле». Вкушая, для земли, для земных форм и законов, умираем, Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен» (5, 298).

«...человек должен был сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую часть мира, огромного и вечно живущего» (9, 131). «Нет никакой отдельной от нас природы, <...> каждое движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214).

Сами слова «Всё», «Всеединое», «Всебытие» употребляются художниками так же часто, как и Бог.

У *Толстого*: «Разум единит людей тем, что приводит их к единству. Любовь — тем, что влечет к соединению со Всем» (55, 65). У *Бунина*: «...мое прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все...» (9, 34), «...и все отличаются всё возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения» (5, 303), «...уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином» (5, 306).

У обоих понятие Всеединое синонимично понятию Бог.

Толстой: «Бесконечное, которого человек сознает себя частью, и есть Бог» (9, 35)¹⁹. *Бунин*: «Бог бесконечен, безграничен, вездесущ, безымянен» (5, 298). Широко известны слова Бунина: «Нет никакой отдельной от нас природы, <...> каждое движение воздуха есть движение нашей собственной жизни» (6, 214). Они созвучны другим: «Жизнь моя — трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною» (5, 314-315), «...единая жизнь совершает свое таинственное странствование через тела наши» (5, 318). «Как эта скорбь и жажда — быть вселенной// Полями, морем, небом — мне близка! <...> Та сладостная боль соприкасаясь душой со всем живущим...» (1, 425). «Нет в мире разных душ и времени в нем нет!» (1, 401). Эта душа — единая у всех: «Но, казалось, душа всего человечества. Душа тысячелетий была со мной и во мне» (5, 318). «Поистине только одна, единая есть душа в мире» (5, 91).

Всеединое — вне времени и вне пространства.

¹⁹ Цитирует Бунин.

У Толстого: «Меня смущала мысль о том, что без времени я не могу себе представить ничего. Когда я говорю, что все, что я вижу во времени, в последовательности, уже есть, я как будто говорю, что все что будет, уже есть, но я только не могу этого видеть. Но такое представление есть представление все-таки во времени. Понимать же существование вне времени нужно так, как я понимаю себя в том, что я называю воспоминанием: я понимаю себя и 5 лет, и 10, и 15, и 20, и 21, и всех времен в одном. Я — все, что мне казалось, было во времени, и когда умру, буду все то, что я был во всей моей жизни. Я соединю все своей жизнью. Жизнь моя исключает время. Но мало того, что я весь я во все время моей жизни, я — то, что был мой отец, дед, бабушка, все люди: я все это ношу в себе я — даже все, что буду после моей смерти <...> Я — всё, но осознаю только часть и от того, во времени. Смысл жизни, то, что я представляю целью ее (для меня), есть ничто иное как сознание ее своего божественного начала, вечности, бесконечности. И потому представляется, что цель жизни есть расширение. Но это не цель, а свойство сознания. И к единению со всеми существами прошедшего, настоящего и будущего: прошедшим, понимая жизнь всего мира и особенно людей; в настоящем — общаясь с людьми; в будущем — служа им. Для меня это все происходит во времени. Для себя я — одно цельное существо, составленное из меня, прошедшего через время, для высшего же существа я — только выражение его ограниченного сознания (55, 14-15).

«Бесконечность вещества как во времени, так и в пространстве очевиднее всего показывает нам недействительность вещественного мира. <...> Если вещественный мир начался миллионы лет тому назад и до начала этих миллионов лет прошли еще миллионы и до тех еще миллионы, и так без начала (тогда как разум требует определения начала каждого явления) и так же не может не продолжаться бесконечно и не может иметь конца, т. е. цели (а разум требует цели всякого явления) и самое вещество не имеет составных частей, так как может быть бесконечно делимо и никогда не может найти пределы, так как бесконечно велико: за планетами солнце, за солнцем Геркулес, за Геркулесом млечный путь, за звездами млечного пути еще звезды» (55, 78-79).

«Так что жизнь в сновидении показывает, какую должна быть жизнь настоящая до — и посмертная, не связанная про-

странством и временем. Жизнь такая, в которой я могу быть всем, везде, всегда» (55, 64).

Бунин: «У меня их нет — ни начала, ни конца» (5, 300), «вне всяких законов времени и пространства» (5, 302-303), «Будто я был всегда и всюду» (5, 305).

Идеи Всеединства, особенно мысли о единой душе, лежат и в основе эстетических представлениях Бунина. В этюде «Ночь» (5, 302) Бунин говорит о двух разрядах людей. Одни наделены способностью «особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и прочих, <...> не только способностью перевоплощения и, кроме того, особенно живой и особенно образной (чувственной) Памятью». Для этого «надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков очень долгий путь существования и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью» (5, 302). Одни люди «умствования», другие «действия», «житейского строительства» (5, 306). Первые — уже откликнувшиеся на древний зов «Выйди из Цепи!» — жаждут раствориться, исчезнуть во Всеедином.

Это люди «райски чувственные в своем мироощущении» (5, 306), наделены особой Памятью тех чувств, что пережили их далекие предки. Даже в их внешнем облике есть что-то атавистическое, животное. Таков был Толстой. Рисуя его портрет, Бунин замечает, что в нем было даже что-то «зоологическое», «немножко гориллы» (9, 93). Из таких людей выходят художники, способные пробуждать дремлющую эмоциональную память в других людях, и у них происходит «расширение сознания»²⁰. По существу, речь идет о том, что современная наука называет генетической памятью²¹. На ней основано восприятие искусства. На ней основана и эстетика самого Бунина. И в этом заключается его серьезное расхождение с Толстым²².

²⁰ См: Толстой о «расширении сознания»: 55, 31; 56, 13.

²¹ Это понятие распространилось и на историю литературы. См.: Сергей Бочаров. Генетическая память литературы. М. РГГУ, 2012.

²² См.: Сливичкая О.В. «Что такое искусство?» (Бунинский ответ на толстовский вопрос)//Иван Бунин Pro et contra/Антология. СПб: РХГИ. 2001. С. 465-279.

Для Толстого основная функция искусства — коммуникативная. Оно призвано «заразить» читателя чувствами и убеждениями художника, поэтому эти писатели должны нести в себе истину. Бунин же не императивен. Он ни к чему не призывает, он только излагает свои убеждения.

Все это дает чувство «повышенной жизни»²³, а значит, и обостренное чувство смерти: «это закон: «степень чувства жизни пропорционально степени чувства смерти», — и никогда не оставляло его» (9, 157).

Симптоматично, что именно в книге о Толстом сосредоточены мысли Бунина о Всеединстве. Часто Бунин цитирует Толстого таким образом, что трудно отличить, чья это мысль: Толстого или самого Бунина.

* * *

Идея всеединства у *художников* изоморфна их поэтике и проявляет себя в разных ее аспектах. Разница между Буниным и Толстым в том, что поэтика Бунина более стабильна: ее основные принципы остаются относительно неизменными в течение всего творческого пути, в то время как Толстой прошел долгий путь через кризисы, которые проявляют себя и в особенностях поэтики.

У Бунина, как у Толстого, форма повествования — экстенсивная. Независимо от жанра и объема текста повествование рвется за его пределы. Безначальность и бесконечность как имманентные свойства бытия вступают в конфликт с неизбежной отграниченностью художественного текста.

Исследования творческой истории романов Толстого показали, какую проблему для него составляли начало и конец. Варианты начала «Войны и мира» показывают, что автор медлил с началом действия, сосредоточившись на предварительных очерках характеров будущих героев. В результате он отказывается от экспозиции, потому что обращение к предыстории не решает проблемы: возникает потребность в предыстории и самой предыстории и т. д. Поэтому повествование начинается *in media res*. Вечер у Анны Павловны Шерер. Сразу же появляется Пьер, которому предстоит стать одним из главных

²³ Об этом монография: Сливичкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М.: РГГУ. 2004.

героев. Очевидно, что за плечами у него уже большая часть биографии, насыщенной событиями, начиная с истории его незаконного происхождения. Автор сначала излагает ее и помещает в начало романа, а затем снимает, оставляя лишь отдельные факты или беглые разъяснения, разбрасывая их в разных фрагментах текста лишь в той мере, в какой они необходимы. Князь Андрей тоже появляется зрелым человеком с оставшимся в прошлом отрезком жизни, в котором история его брака (женился ли он без любви или разлюбил потом?), размышления, которые привели его к нынешним духовным исканиям. Какова история отношений Пьера с семьей Курагиных? Какова история старого князя Болконского? Что за отношения у него были с Потемкиным? С князем Василием? На все это в тексте остались намеки, а в черновых вариантах изложено подробнее. Можно сказать, что ретроспекция в романе минимальна либо отсутствует вовсе.

Особенно сложной была для Толстого проблема концов. Он многократно менял варианты завершения «Войны и мира» в поисках такого, который оставлял бы ощущение, что конца нет, как не было и начала, что жизнь с ее войной и миром распахнута в бесконечность.

У Бунина много законченных рассказов, производящих впечатление отрывков. В этом отношении репрезентативен рассказ «Клаша» (1914 г.). В нем нет ни начала, ни конца. Это вырванный как будто наугад фрагмент провинциального быта с его устойчивостью, гармонией, органической близостью к первичным основам бытия. Основное впечатление, что это не законченный рассказ, а экспозиция к ненаписанной повести или, еще точнее, глава (и не начальная) из романа, в которой вводятся новые герои и начинается прорезываться сюжет для того, чтобы тут же оборваться, — но не в том месте, который подсказан логикой отношения героев, а в том, где подходит к раме, наложенной автором на картину провинциальной жизни. История не дорассказана, но это не значит, что рассказ не дописан. Он лишен временной перспективы, но в нем глубока перспектива пространственная. Поле рассказа заполнено подробностями, которые не ведут никуда. В совокупности своей они создают «образ мира», а каждая в отдельности свидетельствует о прелести жизни, в чем бы она ни проявлялась.

Близость с Толстым здесь очевидна. Нет необходимости говорить о толстовских деталях (и лейтмотивных, и экспозиционных, и случайных, и якобы случайных). Все эти детали выявляют вторую тенденцию в художественном мире обоих писателей. Наряду с экстенсивностью — интенсивность.

Симптоматично, что такой близкий Бунину художник как Ю.К. Олеша, именно это поставил Бунину в упрек: «Бунин замечает, что, попадая на упавший на садовую дорожку газетный лист, дождь стрекочет... Но есть ли необходимость выделять из повествования такую деталь, которая сама по себе есть произведение искусства и, конечно, задерживает внимание помимо рассказа?». Дело в том, что детали у Бунина не вторичны по отношению к целому, а автономны и равноправны с ним. В своей сугубой чувственности Бунин прямо следует Толстому. Он задерживает внимание на каждой отдельной детали. Являясь мельчайшим фрагментом общей картины мира, эта деталь служит одновременно общему, сохраняя ценность единичного. Бунин не стремится к развязке сюжета или к концу исчерпавшего себя повествования, а останавливается на каждой отдельной детали.

«Задерживает внимание,» потому что внимания достойно всё. Повествовательный движущийся текст — и неподвижная завершенная частность, большое и малое, рассказ и «помимо рассказа» — все это проявления Всего. Текст, насыщенный деталями-подробностями²⁴, становится «точечным»: он усеян точками, каждая из которых — и целое, и часть целого. П. Флоренский в статье «Точка» утверждал, что точка — это знак единого, и в ней соединилось *всё*²⁵.

В тексте и Бунина, и Толстого стремление «за» (У Бунина: «понимаешь — за!» (6, 270)) сопрягается со стремлением *вглубь*. Художественный текст — это не картина, распластанная на плоскости, а объемная модель жизни: постижение бытия во всех его измерениях, и глубинных в том числе, т. е. Всё.

Чувство Всеединства определяет и антропологию обоих писателей. Как известно, Толстой расширил индивидуальное до «срезов общей жизни». При этом «общая жизнь» у него не

²⁴ См: О.В. Сливацкая «Повышенное чувство жизни». С. 256.

²⁵ Статья, написанная на Соловках, не была опубликована. См.: Григорьева Т.П. Китай, Россия и Всечеловек. М.: Новый Акрополь, 2011. С. 28.

поглощает характер²⁶. Человек Толстого настолько индивидуален, что его герои навсегда вошли в жизнь читателей как реальные живые люди. Он и уникален, и универсален: будучи единственным, человек Толстого воплощает всеобщее.

У Бунина же равновесие уникального и универсального нарушается. Индивидуальность у Бунина бывает выражена очень резко. Но это не характер, а характерность, характер же растворяется в общей атмосфере рассказа, его эмоциональной ауре. Эта аура первична: она порождает и события, и чувства, и сам характер.

Изоморфность поэтики и мироощущения проявляет себя и в стиле. Такая стилистическая доминанта Бунина как острая оксюморонность имеет своим источником то единство полярностей, что присуще чувству Всеединства: «Но в радости моей — всегда тоска, / В тоске всегда — таинственная сладость» (1, 270), «И сердце в тайной радости тоскует...» (1, 404), «звонящее молчание» (5, 308), «Стократ блаженная тоска» (1, 139) и многое, и многое другое. Эти полярные состояния не находятся в конфликте, ибо они единосущны²⁷.

Оксюмороны встречаются и у Толстого, но в его стиле они не доминируют: в своей парадоксальности они слишком остры, слишком выступают над эпически спокойным тоном повествования. Хотя именно толстовское «живой труп» стало хрестоматийным примером оксюморона: еще одно подтверждение необъятности и универсальности Толстого.

Мы начали с великого вопроса Пьера: «сопрягать, но как сопрягать все?». Сопоставление Толстого с самыми разными художниками отчасти отвечает на этот вопрос. Все сопряга-

²⁶ Под «характером» мы понимаем толкование, данное Л.Я. Гинзбург: «Деятельный век открыл характер. Привел свойства в динамическую связь взаимодействия, соподчинения, противоречия. Этой системой управляли доминанты, позволяющие понять человека как разновидность той или иной типологической модели». Лидия Гинзбург. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. — Искусство — СПб, 2011. С. 320.

²⁷ Подробно см.: Сливичкая О.В. «Повышенное чувство жизни»: мир Ивана Бунина. М. РГГУ, 2004. С. 46-48.

ется со Всем — и в великом, и в малом. Сопрягаться не значит сочетаться, а значит резонировать. Резонансные волны распространяются повсюду, во всех направлениях, создавая Единство всего. Предшественники, современники, последователи Толстого и в России, и во всем мире разными своими струнами резонируют с Толстым, а значит, сопрягаются друг с другом. Таков ответ на вопрос Пьера.

Всеединое как всеобщий резонатор создает единство большого мира, озаренного гением великого Толстого.

Эмилия Обухова

«Жить как бегущая вода...»

*13 (26) марта исполнилось 110 лет со дня рождения
русского поэта Марии Петровых*

При жизни я была так глубоко забыта,
Что мне посмертное забвенье не грозит.
Мария Петровых

О поэте Марии Петровых вспоминают нечасто. Наши современники почти не знают стихотворений Марии Сергеевны. Она и раньше, при жизни, была известна больше как переводчица и в этом достигла высокого мастерства. Была великолепным редактором, таким, что Анна Ахматова не отправляла свои книжки в печать до тех пор, пока «Мария Сергеевна не посмотрит». Глубокое знание русского языка и особенное чутье к языку у нее были удивительными. Но самое главное то, что она была прекрасной личностью, она умела любить людей, умела разглядеть в них их лучшие черты, высоко ценила чужое творчество. О творчестве самой же Марии Сергеевны написано немного, и почти все статьи о ней — это скорей жизнеописания или воспоминания друзей, но отнюдь не изучение ее поэзии. Почему так получилось? Есть несколько причин, прежде всего — у Марии Петровых никогда не было известности, популярности, которая обычно привлекает литературоведов. Возможно, дело еще в том, что стихи Марии Петровых (далее — МП), кажется, не требуют особых пояснений, их не надо разгадывать, как произведения Осипа Мандельштама или поэмы Марины Цветаевой — это ясные, прозрачные строки, понятные и близкие даже не подготовленному к чтению поэзии читателю.

Поэт обычно похож на свои стихи. Такой и была Мария Сергеевна — ясной, прямой, строгой и тихой. До шестидесяти лет у нее почти не было публикаций — ведь ее мир ни в чем не соответствовал духу времени сталинского режима. И потому она не искала славы, «не ходила по редакциям», существовала без читателя. Тихо отступила, писала в стол и всегда оставалась верной себе. Поэтому стихи МП легко отличить от

поэзии некоторых ее современников, которым в разной мере приходилось вписываться в социалистическую современность. Богатый внутренний мир ее позволял МП создавать поэзию бесконтактную, внутри себя, и при этом ощущать себя автором — в своем духовном пространстве. Может быть, поэтому почти все стихи МП диалогичны, и часто это диалог либо с самой собой, либо с другими воображаемыми собеседниками: это и вопросы, и возможные ответы, восклицания, выводы, опасения — и все это чистая правда, не фантастика, и все это событийно крепко связано с действительностью. МП, кажется, одна такая во всей русской поэзии.

Имя ее так и осталось малоизвестным до наших дней и может быть поэтому представляется даже таинственным. Близкий многолетний друг МП — Арсений Тарковский так и назвал свою статью о Марии Сергеевне «Тайна Марии Петровых». Уж он бы зря не произнес это слово «тайна», но, правда, тайну так до конца и не открыл. Хотя назвать МП, почти незнакомую русскому читателю, большим поэтом — это и есть уже открытие тайны.

МП жила в окружении больших поэтов, это был ее мир, родная почва — мир, достойный ее. Ей покровительствовал Пастернак, она была близким другом Ахматовой, бывала в доме Мандельштама. Многолетняя дружба связывала ее с Тарковским и Самойловым, с коллегами-переводчиками. Биографию МП можно найти в прекрасных очерках (лучше, кажется, и не напишешь), авторы которых Шуламит Шалит и Михаил Копелиович. Их можно прочитать в Интернете.

Чужие стихи Мария Сергеевна читала постоянно, всегда откликалась на них в письмах, радовалась публикациям друзей, отредактировала множество книг стихотворений и переводов разных поэтов. А свои стихи она писала и прятала, знакомым читала их редко и только очень близким, а от публикаций отказывалась решительно. Эта особенность ее характера, кстати, напоминает другого поэта 19-го века, американскую затворницу Эмили Дикинсон. То же отношение к публичности, к славе. Сравните, это написала Мария Петровых:

На миру, на юру
Неприятно мне и одиноко.
Мне б забиться в нору,
Затаиться далёко-далёко.

Чтоб никто, никогда,
Ни за что, никуда, ниоткуда.
Лишь корма и вода.
И созвездий полночное чудо...

А это написала Эмили Дикинсон за столетие до МП:

Я — Никто. А ты — ты кто?
Может быть — тоже — Никто?
Тогда нас двое. Молчок!
Чего доброго — выдворят нас за порог.

Как уныло — быть кем-нибудь —
И — весь июнь напролет —
Лягушкой имя свое выкликать —
К восторгу местных болот.

Но, в отличие от Дикинсон, МП не была затворницей.
Хотя затворницей назвала себя однажды:

Жизнь моя, где же наша дорога?
Ты не из тех, что идут наизусть.
Знаешь, затворница, недотрога —
Есть ведь такое, чем я горжусь.

Она работала редактором, у нее даже состоялись несколько авторских выступлений. Известно записанное Лидией Чуковской мнение Ахматовой о том, почему МП не публикует своих стихотворений: «...Мария Петровых — один из самых глубоких и сильных поэтов наших. Она читала вам свои стихи? Убедились?.. А ей всю жизнь твердили: вы — не поэт. Она поверила. У нее теперь психоз: нигде не читать свои стихи и никому не давать печатать их. Даже когда предлагают, просят». Так получалось, что Ахматовой была известна причина, по которой Мария Сергеевна уклонялась от публикаций. Это правда, но не вся, конечно.

МП родилась в 1908, она была намного моложе всех четырех гениальных поэтов, их высоту и недостижимость сознавала так ясно, что после них и в их время просто не позволяла себе быть поэтом тоже.

Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака —

Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.

Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе.
Звезда в ответе за звезду.
Для нас четырёхзначность эта —
Как бы четыре края света,
Четыре времени в году.

Их правотой наш век отмечен.
Здесь крыть, как говорится, нечем
Вам, нагоняющие страх.
Здесь просто замкнутость квадрата,
Семья, где две сестры, два брата,
Изба о четырёх углах...

Но, все же, и она была замечательным русским поэтом, об этом ей много раз говорили и Пастернак, и Твардовский. На этом настаивал Маршак, он очень хотел опубликовать стихи МП, но она не позволяла. В ней крепка была эта установка — на молчание. Кроме нежелания публиковать свои стихи, когда пишут Ахматова и Пастернак, Мария Сергеевна могла иметь и другие веские причины скрывать свое творчество. «Я не носила стихи по редакциям, — писала она в своих биографических записках. Было без слов понятно, что они «не в том ключе»». Очень личное, сокровенное было во всех ее стихах. Ее подруга, поэт и переводчик Вера Звягинцева написала о ней:

*Покажись, безымянное чудо!
Что ты там притаилась одна?
Ты откуда такая, откуда,
Что и слава тебе не нужна?!*

Почти все стихи МП — обращения к реально существующему собеседнику, к любимому человеку или близкому другу. Разве это для всех? Но все же нельзя сказать, что ее стихи только для избранных. Лидия Корнеевна Чуковская, как-то уговорившая МП почитать ей стихи, сказала потом, что это все ей так близко, что, кажется, эти стихи про нее и для нее. Это и есть высокий критерий поэзии.

Но больше всего у МП стихотворений, имеющих единственного адресата. Так и в этих самых известных стихах,

которые Ахматова назвала шедевром среди стихотворений о любви в 20-м веке.

Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Назначь мне свиданье
в том городе южном,
Где ветры гоняли
по взгорьям окружным,
Где море пленяло
волной семицветной,
Где сердце не знало
любви безответной.
Ты вспомни о первом свидании тайном,
Когда мы бродили вдвоём по окраинам,
Меж домиков тесных,
по улочкам узким,
Где нам отвечали с акцентом нерусским.
Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,
Но вспомни, что даже на мусорной свалке
Жестянки и склянки
сверканьем алмазным,
Казалось, мечтали о чём-то прекрасном.
Тропинка всё выше кружила над бездной...
Ты помнишь ли тот поцелуй
поднебесный?..
Числа я не знаю,
но с этого дня
Ты светом и воздухом стал для меня.
Пусть годы умчатся в круженье обратном
И встретимся мы в переулке Гранатном...
Назначь мне свиданье у нас на земле,
В твоём потаённом сердечном тепле.
Друг другу навстречу
по-прежнему выйдем,
Пока ещё слышим,
Пока ещё видим,
Пока ещё дышим,
И я сквозь рыданья

Тебя заклинаю:
назначь мне свиданье!
Назначь мне свиданье,
хотя б на мгновенье,
На площади людной,
под бурей осенней,
Мне трудно дышать, я молю о спасенье...
Хотя бы в последний мой смертный час
Назначь мне свиданье у синих глаз.

Этот страстный монолог, заклинание, плач, даже крик, обращен к одному единственному человеку. Не важно даже к кому, это, в конце концов, давно известно, но поэт произносит все эти слова не за письменным столом, не для того, чтобы записать (ну, написано, и неизвестно, знал ли вообще о них адресат), она выкрикивает их всей своей чистой распахнутой душой, а они обращены только к нему. Только бы услышал! В них предчувствие смерти (меньше, чем через три года Александр Фадеев покончит с собой), в них буквально материализовано глубокое экзистенциальное переживание — у самой бездны на краю. Но удивительно то, что эти очень личные стихи потрясают любого читателя, музыка стиха неотступно зовет за собой. Попробуйте прочитать эти стихи дважды и они уже не отпустят, внутри вас будет долго звучать их мелодия.

Где-то написано, кажется, то ли в воспоминаниях Лидии Корнеевны об Ахматовой, то ли в записях самой МП, что все они, Ахматова, Чуковская и Петровых, плохо воспринимали (понимали!) страстные, рваные стихотворения Цветаевой, ее слишком сильно выраженные чувства, ее стихотворный крик. Все эти три поэта и прекрасных ценителя русской поэзии сошлись в том, что Цветаева была слишком откровенна и эмоциональна, особенно в поздних своих произведениях. Но взгляните, как сама МП в этих своих стихах взлетела на такую же высоту, на какой Марина Цветаева была в «Новогоднем», в ее монологе к Рильке. Только Рильке тогда уже умер, а Фадеев еще только приближался к своему уходу — неотвратимо.

Давно я не верю надземным широтам,
Я жду тебя здесь за любым поворотом, -
Я верю, душа остается близ тела
На этом же свете, где счастья хотела,

На этом, где все для нее миновалось,
На этом, на этом, где с телом рассталась,
На этом, на этом, другого не зная,
И жизнь бесконечна — родная, земная...

Сравните, у Цветаевой в «Новогоднем» многое так близко стихам МП, обращенным к Фадееву и отрицающим разлуку смертью. Странно, но Мария Сергеевна не замечала своей переключки с Цветаевой и позже, в своих воспоминаниях о поэтах, написала:

«Поэзию Цветаевой я, к стыду своему, узнала поздно — в конце 30-х годов. Она, конечно, огромный поэт и многое у нее я люблю, но не все, потому что, видимо, слишком дорожу в искусстве лаконизмом, гармонией, скрытым огнем». И это после «Назначь мне свиданье...» МП пишет о скрытом огне!.. Или вот другие ее стихи, где чувства отнюдь не скрыты, нервы предельно напряжены:

Не взыщи, мои признанья грубы,
Ведь они под стать моей судьбе.
У меня пересыхают губы
От одной лишь мысли о тебе.
Воздаю тебе посильной данью -
Жизнью, воплощенною в борьбе,
У меня заходится дыханье
От одной лишь мысли о тебе.

МП даже считала себя виновной в смерти Фадеева и, думается, в каком-то смысле это и было правдой. Ведь так случилось, что она полюбила человека из другого мира, из мира палачей, благополучных, сытых. Сама же она была жертвой, палачи уничтожили столько близких дорогих ей людей, что, может быть, она еще и поэтому отказывалась публиковать свои произведения — не хотела «их» касаться, печатать свои стихи там же, где писали «они», открывать «им» свою душу. Можно легко представить, что рядом с таким светлым, чистым человеком менялся и сам Фадеев, и все эти годы, до его гибели, в нем происходило, не без влияния МП, осознание своей страшной роли в судьбах тех, кто не вернулся из лагерей или уже возвращался, потеряв близких и годы жизни.

Как жить, когда владеют мной
Три слова: я тебя убила.

О, если бы весь шар земной
Я обошла, — найдется ль сила
Спасти меня, чтоб я забыла
Хоть на мгновенье, хоть во сне
О том, что кровь твоя на мне.

Потому, возможно, она и написала, что его смерть их соединила: «В тот страшный час твоей, нет, нашей смерти, Соединившей, разлучившей нас».

Мария Петровых познакомилась с Ахматовой 3 сентября 1933 года. Ахматова привела ее в дом Мандельштама. Мандельштам увлекся ею, и хотя она не ответила на его чувство, но дружба, несомненная духовная близость в их отношениях присутствовали безусловно. Мария Сергеевна понимала, что рядом с ней гений. Он посвятил ей бессмертные стихи, которые начинаются строчкой «Мастерица виноватых взоров...». Кто-то из близких, вспоминая, удивился, почему «мастерица». Кажется, она никогда не была жеманной, кокетливой или вообще неестественной. На нескольких известных фотографиях ее взгляд действительно чуть виноватый, застенчивый. Она их, эти виноватые взоры, не мастерила, они ей были присущи от природы. Просто мягкость ее характера и редкий дар подолгу молчать и слушать собеседника производили сильное впечатление. И это было ее природным качеством.

Какой она была? Вот отрывок из воспоминаний Михаила Ландмана в очерке Шуламит Шалит:

«...в неё влюблялись многие. Кроме Мандельштама, Пастернака, очарованы ею были в разное время и Эммануил Казакевич, и Александр Твардовский, и Павел Антокольский... Словом, она была женщиной, которая вызывала сильные чувства у многих соприкасавшихся с ней людей... И причиной этому была какая-то неуловимая внутренняя сила, обаяние личности — не только ума, а какой-то потрясающей детскости и суровости, открытости и сдержанности...»

Известно, что во время войны Мария Сергеевна с дочерью уехали в эвакуацию в Чистополь, там были многие поэты и писатели. Туда же приехала Цветаева с сыном, но для нее не нашлось места в Чистополе и она вынуждена была уехать в Елабугу, где осталась в одиночестве и вскоре погибла. Странно было узнать про то, что вскоре после смерти Цветаевой Пастернак занимался организацией вечера поэзии МП.

Невозможно было поверить, что чуткая добрая, привычная к состраданию, именно привычная, МП не заметила тогда этой трагедии. Радовалась своему взлету, успеху на этом вечере. Да, тогда в Чистополе все бывшие друзья отступились, не помогли Цветаевой, не спасли ее. А Мария Сергеевна написала об этом через 34 года:

Памяти М. Ц.

Не приголубили, не отогрели,
Гибель твою отворотить не сумели.
Неискупаемый смертный грех
Так и остался на всех, на всех.
Господи, как ты была одинока!
Приноровлялась к жизни жестокой...
Даже твой сын в свой недолгий срок —
Как беспощадно он был жесток!
Сил не хватает помнить про это.
Вечно в работе, всегда в нищете,
Вечно в полете... О, путь поэта!
Время не то и люди не те.

1975

Эти стихи — покаяние. МП, только она одна была способна, хоть через много лет, осознать тот страшный коллективный грех. Ведь все они были близкими Цветаевой людьми, Пастернак, Лидия Чуковская, Тихонов, и никто не раскаялся. Только Маруся (*так* ее называли многие). И это было ее природным ощущением — за все трагедии она брала вину на себя: за смерть Фадеева и смерть Цветаевой. Пастернак тоже написал стихи «Памяти Марины Цветаевой», вскоре, в 1943-м, которые заканчиваются бессмертной строфой:

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

Но в его стихах нет ни покаяния, ни просьбы о прощении. А у МП есть. У нее до последних дней было это переживание общей вины, боль коллективного предательства, хотя она в действительности с Цветаевой не была близка, да и мало что могла сама для нее сделать тогда.

Этот мой очерк о Марии Сергеевне Петровых — всего лишь напоминание о прекрасном русском поэте. В жизни своей и в поэзии она осталась на недостижимой духовной высоте:

Одна на свете благодать —
Отдать себя, забыть, отдать
И уничтожиться бесследно.
Один на свете путь победный —
Жить как бегущая вода:
Светла, беспечна, молода,
Она теснит волну волною
И пребывает без труда
Все той же и всегда иною,
Животворящею всегда.

1967 г.

Юрий Колкер

Минимы, или письмо к философу

...Ты льстишь мне, приглашая меня к участию в твоём сборнике. Я не мыслитель, а только сочинитель; всем, что во мне живо, отвечаю на вопрос *как?*, а не на вопрос *что?*, между полюсами *быть* и *казаться* дрейфую (увы мне) ближе ко второму, южному. Но верно и то, что разного рода непосильные соображения, спекулятивные и заносчивые, если не оригинальные, у меня водятся и покою мне не дают. Поэтому принимаю твоё приглашение — с благодарностью, но при одном непременном условии: ты печатаешь присланное от слова до слова, *включая и это моё обращение к тебе* (и не правя мой стиль под московскую гребёнку), или же отвергаешь всё целиком, что не повлечёт за собою ни малейшей обиды с моей стороны. У меня пунктик, своего рода старческая идиосинкразия: с недавних пор могу писать прозу только в форме письма к одному человеку; моё *urbi et orbi* кончилось. В письме обращаюсь к своим. Чужие вольны прочесть, но мне до них дела нет. Конечно, *в городе и мире* существуют родственные мне души, — благословляю их из моего затворнического вертепа, в следующей инкарнации раскрою им объятия, как уже делал в молодости, а в этой инкарнации знать их всё-таки не хочу; круг людей, с которыми я готов говорить, замкнулся; старика за это не упрекнёшь.

Пишу же я *для тебя* вот что: *comédie à tiroirs*, то да сё, клочки по закоулочкам, недодуманное, а лишь намеченное. Интересовали меня в жизни две вещи: поэзия и история; и ещё три вещи: религия, философия и лингвистика. Об этом и бормочу. Но больше всего меня интересовал я сам: отсюда — этот капризный способ изложения...

Ла-Рошфуко (да-да, не поправляй меня, я знаю, как писать это имя) потому называет свои наблюдения максимы, что в них словам тесно, а мыслям просторно. У меня — наоборот. Поэтому я и думаю, что название минимы для моих фрагментов — самое подходящее.

Минима первая

Начинаю с начала: со страны, которую называю Путляндией, потому что имени *Россия* она недостойна.

Невозможно больше сомневаться: петровский эксперимент провалился. Малюта Скуратов окончательно восторжествовал над Пушкиным, стащил его с пьедестала, глумится над ним. Сбылось старое пророчество.

Когда в 1994 году, через десять лет после безвозвратной, казалось, эмиграции, я впервые приехал в город на Неве, я увидел Россию, воспрянувшую после страшной затяжной болезни, слабую, но выздоравливающую и — ту самую: открытую всему живому и подлинному, обращённую лицом к Пушкину.

Когда в 2013 году я в последний раз навестил этот город с переменчивым именем, опять увидел мою родину: Петроградскую сторону, страну моего детства, — впечатление было иное: вот город, построенный другим народом для другого народа. Петербург был пуст.

Спрашивается: когда же именно умерла Россия?

Не в 1918 году, нет. Волошинское «С Россией кончено» — пророчество, но ещё не констатация. Как ни страшна, как ни бесчеловечна была Совдепия, в своей жестокости перекрывшая все мировые рекорды, считая от ассирийцев, в ней, в её катакомбах, жила память о России и вера в Россию. Пушкин оставался путеводной звездой. Многие тысячи пусть *советских*, но честных людей, не всегда вполне и сознавая свою миссию, хранили и поддерживали великие русские культурные традиции XIX века. Россия была жива и в эмиграции. Владимир Вейдле, православный мыслитель и патриот, произнеся страшное: «Россия не удалась», тут же выпустил книгу *Задача России*, проникнутую верой в её (России) возрождение.

Россия умерла вот когда: когда тысячи стали твердить «За державу обидно!». Не за человеческое достоинство, не за Пушкина и Толстого, не за сто миллионов, убитых неизвестно ради чего, не за отечество, а за государство с волчьим оскалом, грозящее всему миру боеголовками. Вот как переводятся эти подлые слова: «Сам я ничтожество (и даже догадываюсь об этом), и сосед мой такое же ничтожество, неспособное думать и творить, но все мы вместе, вся наша многомиллионная совокупность ничтожеств — великий народ!». Самое страшное рабство — когда раб считает себя свободным.

Россия умерла, когда вернулся советский гимн: бездарная музыка и бездарный, два раза перелицованный, ничего уже

не значащий текст. Подлость совершилась среди бела дня, на глазах у всех — и никто не охнул. Злая чернь рукоплескала.

Тут самое время спросить: а когда родилась Россия? И приходится ответить: в 1699 году. Петр Первый привез Россию из Европы в своём обозе, приобрёл её в ходе великого посольства вместе с мамурой, топором для отсечения голов. До этого — никакой России не было: была Московия. Слова *Россия* нет на языке ни у Петра, ни у кого из его окружения. Оно, это слово, ещё в младенчестве пребывает; оно впервые было написано кириллицей в 1518 году, в год Лютера, а латиницей и того позже. В 1698-1699 годах Европа принимала у себя посольство царя Московии, иначе ещё именовавшейся Северо-Западной Татарией.

Пётр думал, что страну, ненавидевшую Запад, простиравшую объятия к Востоку, можно сделать западной, европейской и *христианской* (да-да!) посредством мореплавания и мамыры. Он продвинулся в этом. Успехи поначалу были разительные. Петербург на два столетия сделался культурной меристоймой Европы. «Россия ответила на реформы Петра через сто лет громадным явлением Пушкина», говорит Герцен; а мы добавим: самого общеевропейского поэта за всю историю Европы. Русская литература XIX века — впервые (и на такой короткий срок!) — поставила Россию в один ряд с большими (в культурном смысле) европейскими западными странами: Британией, Францией, Италией, Германией, Голландией.

Но произошло это потому, что возник *русский народ*, которого не было до Петра. Кто составил гордость и славу новой страны? Тургенев и Карамзин — носители откровенно татарских фамилий; Державин тоже из татар. Предки Лермонтова — в Шотландии, предки Пушкина — в Африке, предки Боратынского, Некрасова, Чайковского, Лобачевского и Бунина — в Польше, предки Фонвизина, Цветаевой и Ахматовой — в Германии. Вся действительная слава России добыта этим народом *в петербургский период его истории*. И с этим народом — покончили. Кто?

Слово *крестьянин*, как известно, — татарское искажение слова *христианин*, презрительная кличка для обозначения подъяремной массы безропотных пахарей. Так уж устроено человечество: везде, во всех странах, больше всего обид и унижений доставалось кормильцу, работавшему на земле. Везде его

попирали и топтали. По Заболоцкому «правда кривду вызвала на бой, и одолела кривда, и крестьяне с тех пор живут, обижены судьбой». Это одна версия, а вот другая, ей не противоречащая: исторически работать на земле стали те, кому не хватило дерзости и ума стать купцом, дерзости и жестокости — стать воином. Самые робкие, уступчивые и покладистые, самые не-притязательные. Отсюда и крепостное право... Но, конечно, нигде рабство не господствовало так долго и не носило такого унижительного характера, как в России. Нигде крестьянин не был так тёмен, невежествен и туп, — туп, это необходимо подчеркнуть, и в нравственном отношении. Как это ни горько, а теперь, после Гулага, не признать этого нельзя. Русская литература XIX века идеализировала мужичка-кормильца, возвестила миру, что мужик скажет спасибо сердечное своим радетелям и просветителям. Мужик и сказал это спасибо — Гулагом. Мужик, русский крестьянин, самая низкая человеческая порода в Европе, вчерашний раб, выучившийся грамоте и получивший докторскую степень по философии, — он убил Россию... Заметь, пожалуйста, что всё это я говорю тебе не как представитель другого народа, а как выходец из этой самой тупой рабской массы, у которой христианская Троица была Христос, Богородица и малоазийский Никола-Угодник. Я — Чистяков по матери, мои предки — ярославские крепостные на тридцать поколений вглубь. С ними за спиной я утверждаю: крестьяне в Московии и России не были не то что христианами, это понятно: *они не были русскими*. Русские — петровская формация, генетический сплав деятельных, способных и *совестливых* представителей многих народов Запада и Востока. И вот с этими-то русскими, на минуту ставшими в XIX веке совестью христианской Европы, расправилась Совдепия, а завершила их уничтожение — Путляндия. «С Россией кончено...» Сегодняшним московским думакам, которые теперь все сплошь доктора наук, хоть они и остались рабами и деревенщиной, — за державу обидно. Рабство у них в крови.

Петербург опустел в 1918 году с переносом большевистского правительства в Москву. Мотивировка была — близость Маннергейма и Прибалтики с остатками белой армии. Действительная же причина — внутренняя *подсознательная* потребность мужичка-христофора, натянувшего марксистский фрак, повернуться спиной к Западу: то есть — вернуться к

Московии, к Малюте Скуратову. Большевики, конечно, сами этого не понимали, что совсем не удивительно и не ново. Традиции и нравственные парадигмы преспокойно перешагивают через смену этноса. Личная воинская доблесть была первым достоинством кельтов Галлии — и до самого Вердена оставалась первой добродетелью французов, вышедших из смеси галлов с тевтонами.

Можно и то добавить, что представление о враждебном Западе выросло из вражды к католицизму, из церковного раскола. Это дело очевидное. А вот что не совсем очевидно: сегодняшняя ненависть к США и страх перед США (страны, от которой Россия не видела ничего, кроме добра и помощи) выросли у дипломированных потомков мужика-христофора из ненависти к католической Польше и страха перед Речью Посполитой, некогда крупнейшей страной Западной Европы, которой только лень и недалёковидность помешали расправиться с Московией. Польша, конечно, ещё и тем была ненавистна Московии, что олицетворяла прогресс и просвещение. В ней университеты возникли раньше, чем в Москве (при Филарете) появилась первая светская *низшая* школа. Первый русский учебник грамматики пришёл из Польши.

Страна, сегодня называющая себя Россией, не имеет права на это имя в первую очередь потому, что Россия понимала себя как интегральную часть западной *христианской* цивилизации, а Путляндия во всём Западе без разбора видит врага, и даже свою религию, пресловутое православие (больше похожее на идеологию, чем на религию), противопоставляет христианству как целому, всему христианству. Конечно, и географически Путляндия не Россия. Нет и не может быть Руси без Киева, Чернигова и Пинска. Новгород, где впервые утвердились варяги-русь, даже в период полной своей зависимости от Киева никогда не считал себя Русью. «Мы словеньски» — вот их самоназвание.

Конечно, слово *русские* гораздо старше слова *Россия*, и московские князья с полным правом называли себя русскими, потому что происходили от Рюрика. Но их землепашцы были русскими в том единственном смысле, что состояли подданными и рабами русских князей. *Русского народа они не составляли.* Такого народа не было до Петра. Нет его и сейчас.

Минима вторая

Помню мой спор о смысле жизни с одной задумчивой француженкой в предгорьях Альп. Она сказала:

— Смысл жизни — в общении.

Я возразил:

— Смысл жизни в том, чтобы продолжиться после смерти. В этом состоит биологическое задание человека и былинки. Если живое существо чувствует, что биологическое задание выполняется им хорошо, неудовлетворённости жизнью и вопроса о смысле жизни у него не возникает. Волчица, из года в год рожающая по несколько щенков, умирает (гибнет; волки не доживают до старости) счастливой. Праотец Авраам тоже прожил счастливую жизнь. У него было восемь сыновей, и он знал, что долго будет жить в них после смерти, даже верил, что положил начало целому народу. От животных, растений и микробов человека отличает только одно: мысль, воплощённая в слове. Человек может не только свои гены послать в будущее, но ещё и память о себе, слово о себе: славу (*слава* и *слово* по-русски, конечно, выросли из одного корня). Для иных второй способ продолжиться после смерти (слава) дорожке первого (генов): для Горация («нет, весь я не умру»), для Наполеона, для Герострата, перехитрившего (и высмеявшего) человечество ценой мучительной смерти. Мы не слышим о потомках Александра или Гомера, но этих двоих человечество забудет не раньше, чем прекратит своё существование. Их потомство — слава.

Дальше я рассказал моей француженке о поэте Сергее Есенине. В моём поколении о нём знали все (хоть не все любили его стихи): знали, что в жизни он был повеса, весельчак, забудьга и хулиган. Мало кто знал, что начинал Есенин иначе: страстными и мучительными поисками смысла жизни, религиозными метаниями, чтением книг, которые невозможно связать с Есениным в годы его зрелости. И что же? Поиски смысла жизни разом для него кончились в 1915 году, когда его (тоже разом, внезапно) стали охотно печатать шесть московских газет. В одно прекрасное утро он проснулся известным поэтом. В это утро поиски смысла жизни кончились для него раз и навсегда. Смысл был найден. Есенин послал слово о себе в будущее, к нам, за пределы своей биологической жизни. Этого оказалось достаточно, чтобы быть счастливым.

Ещё, помнится, я рассуждал перед француженкой о том, что властолюбие, которое, конечно, тоже работает в человеке как поиск смысла жизни, — всего лишь производная от славы и слова; по отношению к ним властолюбие вторично. Чингисхан хотел царить над вселенной, а при этом обладал, сам того не зная, генетической меткой, которую послал в будущее вместе с легендой о себе. Сегодня эту метку несут семнадцать миллионов человек, его прямые потомки, но они не составляют единого народа, — поэтому Авраам счастливее Чингисхана.

Моя задумчивая собеседница не согласилась со мною:

— Нет, всё-таки смысл человеческой жизни — в общении с другими людьми.

Сейчас я думаю, что её ответ правильный, хотя и мой тоже правильный. Одно не противоречит другому. Только — общение нужно понимать расширительно, и в качестве расширительного понятия годится понятие Бога, даже — бога.

Боратынский обмолвился, что и на необитаемом острове, в полном одиночестве, он бы отделявал свои стихи с той же тщательностью, что отделявает. Он был религиозен, в «сладких звуках» (говоря языком Пушкина) прозревал «молитву», в стихах — служение... кому? этого он додумать не хотел. Но ведь и я, убеждённый атеист, тоже совершенствовал бы мои стихи на необитаемом острове. Едва в моём сознание забрезжит стихотворная строка, Бог (или бог) тут как тут, мой атеизм отступает в тень. Think not thou canst weep a tear / And thy Maker is not near. Едва стихотворение закончено, я опять атеист и «подёнщик, раб нужды, забот»; печной горшок мне дороже бэльведерского мрамора.

Христианский отшельник живёт в пустыне и питается акридами — ради спасения своей души, не душ единоверцев. Он общается только с Богом, не с людьми. Ему нет дела до людей, он любит одного Бога. Но свою страстную молитву он возносит словами человеческого языка, родного языка, общего для него и ещё многих. Он живёт прочувствованным *словом* своей молитвы — и в этом, сознательно или бессознательно, принадлежит большой человеческой общности. Спроси его, хочет ли он славы, он ответит: «Изыди, сатана!». Его слава — в Боге... а между тем об этом эремите вспоминают столетиями, причисляют его к святым, воодушевляются его примером. И получается, что он, служба Богу, служил людям.

Декабрист Лунин доживал свой век в самом строгом заточении, чуть ли не в яме на цепи, в полной изоляции от себе подобных — и в совершеннейшем счастливом упоении. Он, конечно, тоже был верующим христианином, но не это было для него главным, его общность со многими осуществлялась не единственно в Боге, а ещё и в сознании того, что он — герой, принадлежащий истории. Он служил свободе и верил, что его подвиг будет жить веками. Он служил свободе вообще, но в первую очередь — свободе отечества, свободе близких ему людей. Свою общность с ними он тоже осуществил в слове: в письмах из Сибири. Эти письма — тоже своего рода молитва и стихи, но есть и отличие. То, что у Боратынского и христианского отшельника полностью заслонялось сладкими звуками родного языка и присутствовало в подсознании, Лунин продвинул в сознание. Он прямо хотел славы.

Я тоже отшельничаю и тоже живу звуками родного языка... языка умирающего (так мне чудится с берегов моего обитаемого острова). Стихи, хотя я и гоню их взашей, не вполне покинули меня и в старости. Я продолжаю сочинительствовать в стихах и в прозе, твердя себе и другим, что пишу «для себя», «для немногих близких». А в Бога — не верю... Нет ли тут самообмана? Нельзя ли продвинуть мысль ещё на полшага вперёд?

При самом беспощадном взгляде на себя получается вот что: я совершенно искренне не хочу быть прочитанным в стране, сегодня именующей себя — без всякого на то права — Россией. У меня нет с нею ничего общего, и даже язык теперь общим быть перестал. Но мой молитвенный взгляд то и дело обращается в прошлое России, к Пушкину и карамзинистам, с ними я чувствую неразрывную связь и дорожу ею. Это одно. Это понятно, это — на уровне мысли и сознания. А вот что я могу вывести из подсознания лишь в качестве насильственной догадки, в качестве жестокой насмешки над собою: я мечтаю о славе в потомстве. Повторю ещё раз: это только моя догадка на мой счёт, в моём сознании ничего этого нет. Рассудком я славу презираю («всё вечности жерлом пожрётся») и вижу другое: что моё потомство в кириллице будет еще безобразнее, ещё подлее сегодняшних вроде-бы-русских братьев по разуму; что Слово, звуки сладкие и молитвы — значат для людей всё меньше год от года, век от века; я знаю

совершенно точно, что никакой славы у меня не будет, я не хочу её хотя бы уже потому, что она, если б случилась, непременно изуродовала бы мой облик: ведь даже с текстами Пушкина и Некрасова сегодняшние вивисекторы делают, что хотят, устраивают над ними настоящую Лубянку... Не говорю уж, что человеку, не верящему в загробную жизнь, посмертная слава только смешна.

В чём же дело? А вот в чём: в биологии. Жизнь везде и всюду осуществляется в сообществах. Биологическое задание каждого сообщества — продлиться как можно дольше. Продуктом жизнедеятельности сообщества и является тот самый Бог, который объединяет особей через века или километры. Бог — *социобиологическая реальность* общественной жизни... то есть собственно жизни, потому что нет жизни вне общества. Если говорить о человечестве, то Бог — это *все люди*, от первого до последнего, сколько их ни живет и ни жило и ни будет жить на Земле: все, взятые разом, выведенные из времени и пространства, сведённые в единственную геометрическую точку, лишённую измерений. Когда человечество прекратится, умрёт и Бог.

Но если так, то невозможно сомневаться: бог... если угодно: Бог... пусть ещё глубже упрятанный в генах, не ведающий ни слова, ни сознания, ни даже подсознания — существует и у животных и растений, ведь мы, при всём нашем Слове, всё-таки животные, у нас органы и скелет устроены как у других млекопитающих, у нас 98% общих генов с бессловесными шимпанзе (сейчас говорят: 90%, но и это немало; а один общий ген у нас, хм, — с картофелем). Тогда — бог тем сильнее, чем сильнее общность организмов. Получается, что волк, живущий стайей, религиознее медведя, который «самой природы меньшевик»... А муравей — да-да — религиознее человека. Вот уж у кого никогда не бывает ни одиночества, ни вопроса о смысле жизни!

Минима третья

Бог всемогущ... но он не может изменить прошлого, ведь так? Здесь граница его всемогущества, давно отмеченная самими религиозными философами. На это возразили научные фантасты 1950-х годов, придумавшие машину времени; помогли

Богу, прославили его. На это, вслед за ними, возражаю я в моей детской поэме *Осень в Карфагене*, где отправляюсь под знамёна Ганнибала, помогаю ему выиграть битву при Заме... и обнаруживаю, что мне возвращаться некуда: нет на свете моей родины, моей Петроградской стороны. Ещё раньше всемогущество Бога (без мысли о Боге) утверждали в Китае, где каждая новая династия переписывала историю под себя. Не чужды этого рода набожности и другие народы... Что забыто, того ведь и не было; значит, Бог всемогущ без оговорок!

Скажут: есть вещи, которые нельзя вытравить из памяти человечества. Но кто нам сказал, что человечество — венец эволюции? Настанет день... конечно, не день, а точка Омега-2, день протяженностью в большие тысячи если не миллионы лет, когда на основе ветхого вида **homo sapiens sapiens** возникнет другой биологический вид. В этот день, при наступлении точки Омега-2, человечество прекратится (для нас произойдёт светопреставление, Армагеддон) — и в сознании тех, кто вытеснит человека, не будет ни Александра и Цезаря, ни Архимеда и Ньютона. Окажется, что их — не было. Разве мы знаем что-нибудь о великих особях среди неандертальцев? Совершенно так же *следующие* ничего не будут знать о нас. Гордость современной науки, ускоритель частиц в ЦЕРНе, предстанет сознанию их палеонтологов чем-то вроде каменного топора австралопитеков...

Конечно, Бог не может отменить прошлого (скажут нам физики) только до тех пор, пока не превзойдена скорость света, а пространство *в целом и главном* остаётся трёхмерным (мы знаем, что одно связано с другим; что пространство и время — одно в двух лицах). Мы хорошо знаем, что пространство искривляется и что это свидетельствует о наличии большего числа измерений, чем три, но полноценных измерений, доступных воображению вида **homo sapiens sapiens**, по-прежнему пока что три... а математика преспокойно оперирует бесконечномерными пространствами. Не уперлись ли мы лбом в стену? Не близки ли к исчерпанию наших человеческих возможностей? Не брезжит ли небывалое, не проглядывает ли через осознание нашей ограниченности (и ограниченности Бога) новый биологический вид?

Тут к месту пофантазировать. Отчего бы виду *homo sapiens sapiens* не дать начало не одному, а сразу нескольким новым

биологическим видам? Существовали же на земле несколько видов гоминид одновременно... Два-то биологических вида на нашей человеческой основе просто напрашиваются. Человечество уже в наши дни слишком несомненно делится на тех, кто посещает рок-концерты, и тех, кто не включает телевизор. Невозможно поверить, что те и другие — один биологический вид. Но уживутся ли два столь разных вида на одной планете?

Фантазируем дальше. Из чего вышла жизнь? Из ритма: из морской волны и солнечного луча, тоже ритмизованного, пульсирующего. Лишенное ритма мертво. Биологический вид, который сменит вид хомо-сапиенс-сапиенс, уступит место другому, другой — третьему... Всё сущее опять покроют воды... и венцом биологической эволюции станет отказ от биологии: тот же самый луч, то же самое животворящее электромагнитное колебание, хоть, может быть, уже не от нашего ветхого солнца исходящее... бесконечная череда двоичных состояний, через лёгкий наложенный ритм несущая в себе всё: и Гомера, и Александра, и тебя, и меня... Весёленькая картина!

Минима четвёртая

«Онтогенез повторяет филогенез...» Так, кажется? Но Геккель ошибся; даже хочется сказать: соврал. Вот уж Аристотель, который, конечно, в первую очередь был биолог и об эволюции видов догадывался, посмеялся бы над этим соображением! Всё у Геккеля оказалось притянутым за уши, а ведь великий был муж, тут спору нет.

На дворе стояла эпоха всеохватных теорий. Если теория не объясняет всего, она не теория. Отсюда, конечно, и Маркс с его эсхатологической историософией. Главное, чтобы всё было стройно... чтобы телеологическое тепло угадывалось... чтобы Творец во всём своём человекообразном величии за всем этим присутствовал... и чтобы нам вся эта мирозданческая стройность была понятна, укладывалась в нашем углу сознания. А если факты не укладываются в простые и стройные теоретические соображения, тем хуже для фактов. Ответом на телеологию Руссо явилась гильотина, ответом на телеологию Маркса — Гулаг.

Иные из всеохватных теорий выдержали проверку временем, устояли. Но ни за дарвинизмом, ни за теорией относительности, ни за квантовой механикой, ни за теорией Большого

взрыва с миллиардами разбегающихся галактик всеблагого Творца разглядеть что-то не удаётся. Уж больно они бесчеловечны. Павел Флоренский (с интегралом Римана в кармане ряссы) тут мне возразит, и не он один. Богословам приходится брать в соображение успехи физики; философам тоже. Есть даже мысль, что физика и стала в наши дни богословием и философией... что без интеграла Римана Бога не узреть...

Последним всплеском теоретического величия, насколько я вижу, была генетическая спираль Вотсона и Крика (не только их, как мы теперь знаем, но это другой разговор). Дальше — опять же, насколько я вижу, — *эпоху идей сменяет эпоха методов*. Говорят, Murray Gell-Mann сделал в физике больше Эйнштейна... но картину мироздания он как будто бы всё же не перевернул с ног на голову, как тот.

Эпоха методов принесла с собой настольный компьютер и компьютерного типа устройство, помещающееся в ладони ребёнка. Вот у тебя барахлит лап-топ, и ты вызываешь специалиста (заметь, пожалуйста, что если ты пожелаешь меня поправить, написать *лэптоп*, как пишут сегодняшние москвиты, то я публикацию снимаю; к их хамскому произношению я подлаживаться не готов). Специалист, человек обычно молодой, а то и просто мальчишка (вспомни, как упоительно молодел профессор в годы нашей юности! но всё-таки мальчишкой он не стал), подходит к твоему лап-топу не с теорией, а с методом проб и ошибок: как врач к больному. Он может быть лучшим специалистом в мире, но он опирается скорее на свой опыт, чем на фундаментальные знания. Теория больше не в чести. Компьютер — ещё совсем не робот, а только слуга (без которого мы шагу ступить не можем), но и он уже — в точности как живое существо — не укладывается в теорию, описывается теорией лишь в общих чертах; он — индивидуальность.

Срастание человека с роботом, предсказанное фантастами, наступает семимильными шагами, но — за нашей спиной: так, что мы этого не слышим, не замечаем; и совсем не так, как ожидалось. Почему не допустить, что девятый вал биологической эволюции, человеческая мысль, является теперь главным двигателем эволюции — и что следующий за нами биологический вид станет шагом в сторону выхода из биологии? Кто нам сказал, что биологическая жизнь — вершина жизни?

Минима пятая

Начнём с максимы: ни одна человеческая мысль полностью не вычленяется из воплотившей её формы, материальной и эмоциональной.

Паскаль называет человека мыслящим тростником. Какое выразительное сравнение! Как много сказано в двух словах! Сколько тут поэзии!.. Я, между прочим, убеждён, что эта *метафора* пришла на ум философу как неизменный элемент стихотворения, как звукопись, звукосмысл: *la canne pensant*. Это уж потом, чудится мне, он исправил *canne* на *roseau*: «L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant...». Исправил, испугавшись, что его за поэта примут... Но разве он не был поэтом? В своих ранних геометрических открытиях, в своем знаменитом законе (лишь по видимости простом, а на самом же деле головокружительно абстрактном) он — мыслитель. В своих писаниях он — поэт.

А древние философы? Все они дошли до нас, сегодняшних обывателей, не столько стройной системой своих представлений, сколько своими краткими метафорическими высказываниями, иногда — ошеломляющими оксиморонами. Невозможно сомневаться: они упивались выразительными возможностями эллинского языка, и форма изречения (хоть они и не сознавали этого) значила для них не меньше, чем смысл изречения. Не собираю коллекцию этих древних философических тропов. Она у всех на слуху — и подтвердит мою правоту для тех, кто не чужд поэтического слуха.

У философов, не расставшихся с лексиконом, не обратившихся только к языку формул, фонетика работает в сторону подтверждения смысла. У поэтов — и того больше. Звукопись в стихах, в наши дни в первую очередь рифма, скрепляет поэтическое высказывание в смысловом отношении, придаёт ему достоверность и убедительность, иногда заставляет поверить в невозможное. Иностранцы слависты не находят слов для выражения своего восторга по поводу двустигмья раннего Заболотского:

Прямые, лысые мужья

Сидят, как выстрел из ружья

— и не понимают, что ошеломляющее сравнение целиком вышло из созвучия, которого нет в их родном языке. В этом и состоит главное назначение рифмы, если угодно, её определение,

совершенно очевидное, а вместе с тем почему-то никогда нигде и никем не сформулированное: рифма делает невозможное достоверным. Разница же вот в чём: поэт клянётся, что звук ему важнее смысла, иногда грозит и вовсе от смысла отказаться в пользу звука (но у настоящего поэта такого не происходит). А философ, обходящийся средствами словаря и синтаксиса, клянётся, что звукопись ему напрочь не нужна, а при этом чеканит звучные афоризмы, чует, что противоречит себе, — и с досады поносит поэтов, гонит их взашей из своего идеального государства.

Случайно ли вся философская классика XIX века написана по-немецки? Нет, разумеется. В немецком языке, в его семантическом строе, в его звуке, нашлось нечто, делающее мысль убедительной... да-да, в характере немца заложено нечто этакое особенное, но характер-то немца сформировался вместе с немецким языком, больше того, неразрывен с этим языком, который, возможно, и есть квинтэссенция немецкого народного характера.

Вот промежуточный вывод: до Эйнштейна и Бора философ по необходимости должен был быть талантливым писателем, человеком поэтически одарённым. Без этого он бы не донёс до нас своих мыслей, пусть самых блистательных. Сократ, говорите? Но Сократ присутствует в нашей жизни только благодаря поэтическому дару Платона, презиравшего поэтов.

Сократ мыслил словом звучащим, Платон — словом написанным. Евклиду и Архимеду для выражения мысли потребовалась линия. Декарт связал линию с числом. В XIX веке все согласились, что Бог мыслит дифференциальными уравнениями... но в какой графике? ньютоновой или лейбницевой? Почему между двумя формами записи дифференциала возникло соперничество? Не всё ли равно с точки зрения *чистой мысли*, какими линиями изобразить дифференциал и дифференциальное уравнение?

Теперь попробуем вообразить себе мысль вполне расчеловеченную: освобождённую от (и выраженную, то есть соощённую человеком человеку, без) посредства звука, слова, линии или цвета. Возможно ли такое внутри вида *homo sapiens sapiens*? Мысль, освобождённая от материальных носителей, от чувств! Не будучи религиозен, я говорю: расчеловеченная мысль — вот что такое Бог.

*март-апрель 2018,
Хартфордшир*

Памяти
ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА

Михаил Блюменкранц
Памяти друга

За годы существования нашего альманаха «*Вторая Навигация*» (немногим более 20 лет) из жизни ушли многие замечательные люди, которые на протяжении длительного времени более или менее активно принимали участие в его издании — Г.С. Померанц, Г.С. Кнабе, Б.В. Дубин, Вяч.Вс. Иванов, Л.М. Баткин. Последняя тяжелая утрата — Витторио Страда.

Ушла плеяда людей выдающихся, ярко и глубоко мыслящих, тонко чувствующих, точно формулирующих. Людей, которые самым фактом своего существования задавали современникам подлинный масштаб человеческой личности.

Каждый из них заслуживает отдельного рассказа. Но я хотел бы несколько строк посвятить нашей недавней утрате, с самой глубокой признательностью вспомнить дни, проведенные в общении с Витторио Страдой.

Впервые о Витторио я узнал в конце 60-х, в журнале «*Иностранная литература*» была опубликована гневная статья, обличавшая ревизионистов Роже Гароди и Витторио Страду. Аллергия на советский официоз диктовала невольную симпатию и интерес к обоим ревизионистам. Позднее, уже во времена перестройки, мне посчастливилось познакомиться с Витторио и его женой Кларой, и симпатия переросла в чувство дружеской привязанности.

Витторио обладал несомненным талантом к общению. Он держался с благородной естественностью и непринужденностью, без малейшего намека на какую-либо позу, а привычка слегка подтрунивать над собой придавала общению приятную легкость, основанную на доверии к собеседнику, и уверенность в отсутствии двойного дна.

Знакомство наше, вначале заочное, произошло благодаря Г.С. Померанцу, передавшему мою статью о Ф.М. Достоевском Витторио Страде для альманаха «*Россия*», где она и была напечатана в конце 80-х годов. Когда Витторио с женой через несколько лет приехали в Москву (невъездной в Россию в течение многих лет Витторио Страда в начале *перестройки* стал работать атташе по культуре в итальянском посольстве), я получил приглашение его навестить. Так состоялось наше

личное знакомство. Квартира, в которой поселились Страды, находилась в Померанцевом переулке. С первых же слов возникло чувство, что мы давно знакомы, не было никакой неловкости и напряженности, которые часто возникают при первых контактах. Витторио как раз недавно побывал на митинге Жириновского и живо рассказывал, что мимикой и стилем поведения тот напомнил ему его детские впечатления от выступлений Муссолини. Потом разговор зашел о русской интеллигенции. Страда поделился своим наблюдением, что интеллигенция как тонкий слой, который всегда, даже в советские времена присутствовал, перестала существовать как слой, а сохранились лишь его отдельные представители. Поскольку интеллигенция являлась озоновым слоем российского общества, то, как оказалось в дальнейшем, наблюдение, сделанное тогда Витторио, зафиксировало первые признаки наступившего вскоре кислородного голодания.

После переезда в Мюнхен мы нередко встречались с Витторио и Кларой, как у них дома в Венеции, так и в Мюнхене. Но чаще всего мы съезжались в Инсбруке. Страды проводили лето в итальянском Тироле, так что и для нас, и для них Инсбрук лежал как раз на середине пути. Целый день мы гуляли по городу, разговаривали, обсуждали как злободневные темы, так и «вечные вопросы» соотношения добра и свободы на извилистых путях современной европейской цивилизации.

Споры возникали у нас довольно редко, поскольку взгляды на ближайшие исторические перспективы, как правило, совпадали. В основе этого единства взглядов лежал, скорее всего, не пессимизм, а «катастрофический оптимизм». В одном из последних телефонных разговоров Витторио неожиданно спросил, что я думаю о современной ситуации в мире. Я ответил, что она мне очень напоминает ситуацию перед Первой мировой войной, — очередной острый конфликт в борьбе за сферы влияния. Витторио согласился, сказал, что он тоже так думает.

При этом трагическое восприятие жизни, как мне представляется, Страде свойственно не было. Он был большим жизнелюбом. Мне редко доводилось встречать людей с такой потрясающей витальной энергией и позитивным настроением, с таким живым и бережным интересом к людям, с такой некротимой волей к познанию и жаждой осмысления нашей ускользающей от осмысления и познания действительности.

Для меня Витторио Страда был и остается не только замечательным ученым — славистом, автором глубоких и талантливых книг и научных статей, но прежде всего человеком живой, щедрой и по-настоящему прекрасной души.

Витторио — незабываемая часть нашей жизни. Подаренное нам на годы и годы дружество будем помнить всегда. И явленный нам пример любви к жизни, к литературе, философии, истории, острый интеллектуальный интерес и безукоризненный вкус, неизменная тактичность в отношениях — за все за это наша неизбывная сердечная благодарность.

Адриано Дель Аста

«Жизнь прожить – не поле перейти»

Воспоминания о живом человеке

Как описать слависта Витторио Страду, скончавшегося в Венеции 30 апреля, незадолго до своего восьмидесятидевятiletия?

Хотя он был человеком огромной культуры, мы не станем описывать его как эрудита, с головой ушедшего в научные исследования, способного процитировать самые малоизвестные источники, чтобы дать полное и оригинальное описание изучаемого явления. Разумеется, Страда был *еще* и эрудитом, но это определение не является исчерпывающим.

Страда был *еще*, особенно в ряде областей, выдающимся славистом, хотя и это определение страдает неполнотой. Ольга Седакова по праву называла его «патриархом мировой славистики»: он действительно сделал очень много, чтобы познакомить Запад с такими писателями и мыслителями, как Пастернак, Бахтин, Булгаков, Солженицын. Кроме того, если говорить о русистике, он был автором основополагающих трудов – например, фундаментального издания работы Ленина «Что делать?», итога строгого научного изучения и одновременно доказательств безусловной приверженности своему делу. Много лет спустя сам Страда говорил об этом в интервью, появившемся в журнале «Новая Европа»: «Чтобы освободиться от Ленина, которого я считал и продолжаю считать человеком выдающимся и очаровательным, как бывает очаровательно зло, чтобы понять Ленина, я потратил годы на чтение его работ – и не только его работ, но и работ его противников, всего, что читал он сам. Написанное двадцать пять лет назад о книге Ленина «Что делать?» имело для меня терапевтическое значение – не в смысле, что я совершил абстрактное, банальное, очевидное разоблачение, а в том, что мне хотелось разглядеть самому и показать другим механизмы культуры и мысли в русской и европейской культуре и в марксизме». Позднее, после публикации этого образцового труда, Страда выступил ответственным редактором «Истории русской литературы» (в семи томах, над которыми он работал вместе

с такими крупнейшими славистами, как Ефим Эткинд, Жорж Нива и Илья Серман) – знаменитая французская славистка Сесиль Вессье назвала ее просто «сказочной». Очевидно, что речь идет о фундаментальных исследованиях русской культуры, но, как было сказано выше, даже этим не исчерпывается роль Витторио Страды.

На самом деле он был много кем *еще*: *еще* он был философом, хорошо знавшим самых современных мыслителей, *еще* он был историком, умевшим соотносить происходящие в России события с развитием всемирной истории, наконец, еще он был политологом, увлеченно исследовавшим глубинную природу политических систем. Позднее, в другом интервью журналу «Новая Европа», которое подводило итоги пройденного политического пути и одновременно позволяло осознать глубину мысли Страды, его способность ясно разглядеть идеологические корни советского тоталитаризма, он признается: «...для меня все началось с борьбы за свободу слова, прежде всего, литературного. Потом я пришел к критике однопартийной системы, а оттуда к критике идеологии, на которой основывалась однопартийная система, с вытекающей из нее цензурой. Отталкиваясь от опыта критики действительности, которая казалась неприемлемой, подавляющей, угнетающей, можно было дойти до самых корней: и тут на самом деле или приходилось довольствоваться представлением о «плохом» Сталине, что было невозможно, поскольку по-детски наивно считать виновным во всем одного Сталина, или нужно было углублять исторический анализ, вести разговор о первых годах революции. [...] Это была медленная эволюция, приведшая меня к решительному, выстраданному **антикоммунизму**, хотя [...] это был рациональный антикоммунизм; к полному отказу от коммунизма я пришел путем анализа и критического изучения после того, как по собственной воле пережил опыт коммунизма, не совершив при этом чего-то такого, в чем я должен раскаяться и чего должен стыдиться».

Разумеется, все это – серьезные размышления, к которым в ближайшем будущем предстоит вернуться и углубить их, поскольку они, несомненно, вписали страницу в историю культуры современного мира, однако нужно признать, что даже это не объясняет важность интеллектуальной работы Страды: за ней стоит любовь – большая, чем все названные дисциплины вместе взятые, разумеется, любовь к культуре, а также лю-

бовь к политическим идеалам и к реальности как таковой, во всех ее исторических и художественных проявлениях, но главное — любовь к человеку, к тому, что делает нас людьми. Во вступлении к автобиографии сам Страда подчеркивал, что написанные им работы — «итог пережитого, а не только научных исследований». Возможно, ключ к фигуре Витторио Страды скрыт в понятии «жизнь», в том, что он рассматривает жизнь во всей ее бесконечной сложности, а главное — в таком случае все становится предметом исследования, у которого нет конца и нет границ, которое пытается разглядеть подлинную сущность всех вещей, сталкивает всякую вещь с ее правдой.

Сам Страда писал: «Как гласит любимая Борисом Пастернаком русская пословица, «Жизнь прожить — не поле перейти». Нет заранее предначертанного прямого пути, ошибка — часть движения, так же как ошибка — часть истины, если вы стремитесь ее найти, а не считаете, что уже обладаете ей». Этими словами Витторио Страда завершил автобиографию лет пятнадцать тому назад, когда, по его словам, он «увидел дальний край поля своей жизни». Теперь мы знаем, что до края было еще далеко, последовали годы напряженного творчества: книги, конференции, путешествия, встречи, дружба — насыщенная и активная жизнь до самых последних месяцев и даже до последних недель, когда он выпускал новые книги («Империя и революция. Россия 1917-2017» в 2017 году, «Долг убивать. Исторические корни терроризма» в начале этого года), строил дальнейшие планы.

Сейчас эта жизнь на самом деле достигла края — края, но не конца, потому что, как сказал пожилой священник на похоронах другого близкого мне человека: «не плачьте: вы думаете, что этот переход от жизни к смерти, а это переход от смерти к жизни».

Думаю, Витторио подписался бы под этими словами — не только потому, что, «будучи далеким от церковных обычаев», он был «католиком по воспитанию и христианином по убеждениям», а потому, что подобное отношение к истине всегда отличало его жизнь и интеллектуальные поиски. Поиски правды, жизнь, были для него чем-то большим, чем «поле перейти», — бесконечным путем, который стоит «дороже истины, которую ты получил, не прилагая усилий», на котором всякое решение задачи является правильным, поскольку проливает свет на следующие задачи, как неоднократно говорил (и писал) мне Витторио Страда.

Он любил Россию за то, что в ее культуре он обрел своего рода «духовного попутчика, странствие которого бесконечно». Та же Ольга Седакова заметила в этой связи, что трудно было найти человека, «настолько интересующегося всем, что происходит в России [...], настолько восприимчивого ко всему искреннему, интересному, важному, что появлялось в нашей культуре».

Очевидно, что и сейчас странствие продолжается, ибо оно бесконечно. Продолжается благодаря всем авторам, которых мы назвали выше и знакомству с которыми немало способствовал Страда: от Бахтина (которого он открыл), до Булгакова (Страда первым опубликовал без купюр «Мастера и Маргариту»), Пастернака (Страда вел переговоры с издательством «Фельтринелли» от имени создателя «Доктора Живаго», желавшего непременно опубликовать свой роман) и Солженицына (Страда представил в Италии многие его книги, для него Солженицын стал «решающим ориентиром») — все это авторы, с которыми сейчас он продолжает беседовать, «идя по лунной дороге».

Он шел бесконечным путем, который начался очень далеко — далеко во всех смыслах: все авторы, которых мы только что упомянули, были христианами, но Страда, как было сказано выше, поначалу воевал на другой стороне. Несмотря на католическое воспитание, Страда начал научную карьеру как марксист, тема его диплома — «Аспекты советского диалектического материализма. Теоретическая проблематика в последнее десятилетие развития философии в СССР». Будучи марксистом, как это ни парадоксально, в 1956 году он вступил в ряды ИКП, когда многие выходили из партии, разочарованные подавлением Венгерской революции: Страда надеялся, что хрущевское разоблачение сталинизма продолжится, что трагедия в Будапеште — последняя пропасть, из которой можно подняться, когда коммунизм вернется к исконным, чистым идеалам. Позднее он поймет, насколько наивными были подобные надежды, однако выбор был сделан. Так, в 1957 году он получил трехгодичную стипендию на обучение в аспирантуре в Советском Союзе.

Шел конец пятидесятых годов, получить стипендию для учебы в СССР было непросто, особенно если учесть, что выделял их ЦК КПСС. Дальнейший путь Страды был связан с критическим отношением, которого было уже не изменить: он занимался научной работой, постоянно беседовал с людьми. Поначалу это подтолкнуло его дистанцироваться от идеологии,

исключавшей возможность подлинно научного исследования, а затем и от основанного на этом целого мира.

Он все больше отдалялся от идеологии, становясь вечным аутсайдером, «эксцентричным» персонажем, который не довольствовался готовой истиной и отрицал «политически окрашенную правду». Впрочем, несмотря на католическое воспитание и последующее сближение с марксизмом, Страда с самого начала был критически настроенным ленинистом: он рассказывал, как в юности начал борьбу в рядах коммунистических левых сил, почти «сам того не желая», в силу «природной тяги» к справедливости, а не из-за семейных традиций или идейного выбора.

Непростая история расставания с коммунизмом, в которой были и неприятные происшествия, и шантаж, и отречение, доказала редкую интеллектуальную честность и смелость Витторио Страды. Рискуя собственным благополучием, Страда ни за что на свете не отказался бы от критического взгляда, поэтому непосредственное столкновение с противоречиями реальной советской жизни не могло не наложить отпечаток на его идейные и политические воззрения, а значит и на выборы, которые приходилось делать.

Поняв, что реформировать систему невозможно, Страда стал ее яростным критиком, который никому не делал поблажек и не прикрывался мифом о коммунистической мечте с человеческим лицом – напротив, эта идея казалась ему «все более убогой, несуразной и беспочвенной, особенно из-за показного заискивания «дружественных» органов печати и конформизма «правильных» интеллектуалов, включая «советологов» и «русистов», которые боялись выступить как серьезные и свободные критики, а иногда просто не были на это способны».

Оценка была однозначной, объявляя ее, Страда не искал утешения или политических союзников, которые пригодились бы ему, чтобы не остаться в полной изоляции – что и произошло, ведь в те годы занимать подобную позицию означало, к примеру, потерять возможность получить визу и приехать в Советский Союз. После 1968 года, когда во время возвращения из СССР у него изъяли записи бесед и открытое письмо Солженицына по поводу публикации на Западе «Ракового корпуса», Страда сразу же стал персоной нон грата и, что еще хуже, предателем, которого более или менее открыто разоблачали и очерняли – например, в романе преданного режиму писателя Всеволода Кочетова.

Тем временем, пока ИКП продолжала его бичевать, Страда из-за идеологических разногласий (то есть невозможности согласиться с позицией все менее свободных левых сил) разорвал сотрудничество с издательством «Эйнауди», продолжавшееся с начала шестидесятых годов (сразу после возвращения из СССР) и дававшее ему средства к существованию: это был самый настоящий прыжок в пустоту, в том числе с точки зрения заработков. Впрочем, отказавшись от этой работы, Страда начал карьеру в другой сфере, где он оставит глубокий след, – карьеру преподавателя в престижном Венецианском университете, где Страда трудился без перерыва до выхода на пенсию в 2003 году (если не считать очередную «командировку» в Россию: в 1992 – 1996 годах он был директором Итальянского института культуры в Москве). Все это время борьба и полемика не ослабевали – напротив, порой дело почти доходило до дипломатических инцидентов, как в 1977 году, когда Страда должен был участвовать в Международной книжной ярмарке и когда ему опять не дали визу. Все разрешилось счастливо благодаря вмешательству самого Эйнауди, который пригрозил не привозить на ярмарку свое издательство (нельзя не упомянуть об этом и не отдать дань уважения Эйнауди) и вынудил советские власти мгновенно отменить свое решение. Однако напряжение продолжало выплескиваться в той или иной форме, в том числе потому, что даже в подобной ситуации Страда тогда еще не вышел из партии. «Потом, – вспоминал он в одном из интервью журналу «Новая Европа», – произошел случай, о котором я никогда не рассказывал, но который имел решающее значение и убедил, что не стоит держаться за человеческие отношения – не с партией как чем-то абстрактным, а с членами партии, которых я знал, уважал и которые были моими друзьями [...]. Это случилось, когда в 1979 году мне опять не дали визы и, по сути, шантажировали. [...] Все повторилось снова, снова отказали в визе, в итальянской печати снова стали появляться обличения, интервью и т. д. и т. п., потом мне позвонил известный коммунистический деятель [...]. В ходе разговора я понял, что он звонит от имени советского посольства, он сказал: смотри, ты можешь поехать, но тебе не надо видеться в Москве с диссидентами. Как же я мог с ними не видеться? Они были моими друзьями... Однако в тот миг во мне сработал механизм, похожий на то, как вели себя партизаны (помню, что это сравнение сразу же пришло

мне на ум): когда тебя допрашивает фашист, не грех и соврать. И я ответил: раз так, я постараюсь с ними не видеться. Потом, в Москве, я встретился с диссидентами, встретился публично, я вывез их материалы и т. д. и т. п. Но во время телефонного разговора, который сегодня кажется мне просто диким, [...] я спросил себя: ради чего я остаюсь с этим людьми? Тогда-то и была обрезана пуговина».

Разрыв был резким, окончательным, ясным. Впрочем, невозможно понять, насколько ясной была позиция Страды, насколько тяжелым было принятое решение, а главное – понять его логику, не вспомнив замечание, которое Страда сделал в своей автобиографии, когда ему уже не нужно было искать союзников или хотя бы рассчитывать на симпатию и он мог с гордостью заявить, что разоблачал обреченный на поражение режим: он повиновался не логике поиска врага, не логике чистого антикоммунизма, поскольку судьба всякого «анти», – неоднократно подчеркивал Страда, – оставаться «заложником явления, против которого оно борется из самых добрых побуждений». Мысль о позитивном начале, которое должно превалировать над всем остальным, помогает еще вернее осознать подлинный масштаб личности Витторио Страды: он сражался за позитивное, без усталости говорил об этом, даже когда столкновение казалось жестким и не оставляющим шансов достигнуть взаимопонимания. Пример коммунизма чрезвычайно интересен именно с этой точки зрения.

Витторио Страда сделал ставку на то, что критический подход к идеологии возможен, что только так можно понять, на чем она основывается: поняв это, можно избежать повторения ошибок идеологии, а главное – повторения ее логики. Из этого спора Страда вышел победителем. И это позволяет нам осознать все его величие, намного превышающее научные и прочие заслуги, ведь только так мы можем на самом деле понять многое в истории XX века и решить многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся в начале XXI века.

Хотя уже было ясно, что Страда – яростный и непримиримый противник тоталитаризма, он продолжал вести себя так, как было для него естественно: оставался открытым для новых знакомств, для всего, что казалось подлинным и прекрасным, в каком бы лагере это ни рождалось. Он объяснял это «внутренней логикой», которая никогда его не подводила, порывом, нетерпимостью к логике разделения на лагеря, любовью

к свободе — всем, что подталкивало его «делать выбор, порой непонятный для остальных».

На этом пути он мог совершать ошибки, но, как мы говорили в начале, «ошибка – часть движения, так же как ошибка – часть истины, если вы стремитесь ее найти, а не считаете, что уже обладаете ей».

Поскольку отношения с истиной представлялись ему бесконечным путем, разочарование в коммунизме вовсе не означало, что Страда расстался с «идейным» энтузиазмом: раз за разом он задумывался над новыми проблемами, но даже узкоспециальные исследования (например, в последних книгах, посвященных терроризму и значению империи) отличали широкий взгляд, размышления о человеке, о судьбах России и Европы, до сих пор не утратившие актуальности. Для Страды все это было тесно переплетено, он был глубоко убежден, что Россию не отделить от Европы, от ее гуманистической и христианской культуры.

Он и сам принадлежал этой культуре, она его сформировала. В этой связи Страда рассказывал, что вначале его интерес к России подогревали две вещи: чтение Достоевского и революция. Очарование революции заключалось, главным образом, в вопросах, которые она поставила касательно человека, общества и способов подарить людям подлинную справедливость. Любовь к Достоевскому так и не прошла, писатель всегда оставался «товарищем по бесконечному духовному путешествию» по той простой причине, что в центре всего у Достоевского – человек, постоянно сомневающийся в себе, не прекращающий поиски истины, ибо он не может избавиться от ощущения тайны, которая пронизывает действительность и подталкивает человека к чему-то, что определяет его как такового, хотя и не принадлежит ему. Именно этот постоянно звучащий вопрос делает человека настоящим человеком: вопрос бесконечный и непрерывный, как жизнь, ее смысл, как истина.

Возможно, вовсе не любопытная подробность и не частное, личное обстоятельство то, о чем, сразу после ухода Страды, вспомнил историк Андрей Зубов. Однажды, гуляя вместе по Венеции, они зашли в пустынную церковь. Страда задумался: «Я часто прихожу в церковь, – сказал он, – и спрашиваю, в чем смысл моей жизни, исполнил ли я волю Божью».

Перевод с итальянского Анны Ямпольской

Андрей Зубов

Витторио

Он не дожил одного месяца до 89 лет, завершив свой земной путь вчера, 30 апреля. Я имел счастье знать его лично и его русскую жену Клару Алексеевну с мая 1991 года. Мы познакомились на конференции в Кортоне — маленьком этрусском городке на вершине горы над Тразименским озером. Тогда в мире бесчисленно организовывали конференции о России, о том чуде обрушения коммунистического чудовища, которое вдруг случилось в ней за считанные годы, даже месяцы. Крупнейшие «советологи» Запада наконец смогли вступить в диалог с теми учеными из России, которые до того считались невыездыми, а большей частью и обреченными на немоду полным запретом публикаций. А за самиздат, как известно, до года 1987 и сажали, и ссылали.

Конечно все мы в России знали о Витторио Страда — удивительном итальянском русисте, который начал с увлечения коммунизмом, а потом через еврокоммунизм пришел к христианскому консерватизму. О нем писали в памфлетах на страницах советских газет, его лекции транслировали западные голоса. Он знал Россию так, как не знали ее мы, и не уставал знакомить с ней и студентов, и западную публику, и нас самих.

Помню, на той конференции в Кортоне в мае 1991-го, после моего выступления ко мне подошла элегантная итальянская дама и на чистейшем русском языке сказала — профессор Зубов, да вы просто правый кадет. Я неловко отшутился — скорее, левый октябрист. Дама эта была Кларой Яновской-Страда, супругой Витторио. Когда-то, в середине 1950-х, она, дочь ссыльного польского инженера и ссыльной же татарки, чуть ли ни в калошах из автомобильных покрышек на босу ногу приехала с Дальнего Востока в Москву поступать на филфак МГУ. И поступила, и познакомилась с молодым итальянцем, одним из тех, кому было позволено, в качестве бонуса за их коммунистические убеждения, учиться в Москве. О том, через какие круги КГБ пришлось пройти Кларе и Витторио, чтобы стать мужем и женой, они оба потом рассказали в воспоминаниях. Но в их случае зло было побеждено любовью. Не это ли открыло Витторио путь к источнику всяческого Добра и полноты Любви?

Но вернемся к Кортоне. Клара оказалась пророком. И я был рад сказать им об этом в конце 2016, когда меня избрали в политсовет Партии народной свободы, то есть кадетской партии.

После той встречи в Кортоне мы скоро стали близкими друзьями. Витторио был назначен директором института Данте в Москву. Мы стали ужинать вместе, то у них на Остоженке, то у нас на Плющихе. А порой и в их прекрасном доме на Джу-декке, в Венеции, а потом и в их горном доме в Сан-Кандидо, в Тироле. Глубоким разговорам не было конца, обмену книгами, совместным участием в проектах. Витторио написал прекрасные разделы в «Историю России. XX век», мы с ним были соредакторами книги «Россия на переломе. 1991-2011», в которой все авторы предупреждали о наступающем реванше авторитаризма и советчины в нашей стране. Витторио очень настаивал на скорейшей публикации книги, как и все деятельные интеллектуалы, он верил в силу мысли и силу слова. Увы, та книга прошла незамеченной, но всё написанное в ней сбылось.

Помню наши дни в другом маленьком горном итальянском городке — Пенне. Тоже этрусской крепости, ставшей потом самым северным городом Неаполитанского королевства. Вокруг были Апеннины, высокогорный национальный парк. В свободные от конференции часы мы вместе гуляли по улочкам города или по луговым склонам. Там я доверил Витторио свою сокровенную мысль о правопреемстве с докоммунистической Россией, как способу выйти из порочного круга тоталитарного сталинизма. Да, это так, ответил Витторио. Я иностранец и могу только Вас поддержать, но если бы я был русским, я бы посвятил этому всю жизнь. — Я и посвятил этому жизнь, дорогой Витторио, во многом благодаря тому Вашему совету.

Как-то, гуляя по Венеции, мы зашли в огромный собор на стрелке канала Гранде и канала Джудекки. Службы не было. Собор, наполненный тонким запахом ладана, старого камня и воцаным ароматом скамей, был пуст. Я как-то не заметил, осматривая сокровища храма, что Витторио нет со мной. Нашел его скромно примостившимся на скамеечке рядом с чашей для омовения пальцев. Сел рядом. Витторио был глубоко задумчив. «Андрей, я часто захожу в пустые соборы, слушаю их тихий гул и думаю. Зачем я, сделал ли я то, что Ему угодно?» Старость, грусть, раздумья...

Конечно, я стал уверять его, что он в расцвете творческих сил. Он только грустно качал своей патрицианской головой.

А ведь был он бодр необычайно. В 2010 году мы отправились на велосипедах из Сан-Кандидо в Лиенц и он неизменно был первым на всем 60-километровом пути. Дождался меня в придорожных тавернах, пил кофе и приветствовал «Коме ста, иллюстро профессоре!». Работал он, и работал напряженно, до последних месяцев своей жизни. И Россию посещал до последнего. Помню его звонок в декабре, на их Рождество. Тогда мне впервые показалось, что у него нелады с речью. «Что с Вами, Витторио, Вы больны?» — «Да, не очень хорошо» — впервые услышал я от него.

И еще я учился у него рыцарски верному отношению к жене. Он любил и уважал Клару безмерно, но чуть-чуть подтрунивал над ней, называл Клареттой, и всегда старался, чтобы она чувствовала себя первой в их интеллектуальном и любовном единстве. Как-то Клара тяжело заболела. Мы все боялись самого худшего. И в это время Витторио по делам должен был быть в Москве. Он приехал, позвонил. Как обычно, я позвал его к нам на Плющиху на ужин. — Нет, ответил Витторио — на этот раз нет. Давайте поужинаем где-нибудь в ресторане. Я и Клара были всегда так счастливы быть у вас, что я не могу прийти к Вам, когда ей плохо.

Удивительный человек, у которого я не уставал учиться и буду учиться еще долго. Один из тех даров Божьих, за которые мы всегда в долгу и перед Подателем дара, и перед самим даром.

Царство небесное и вечный покой тебе, дорогой, незабвенный друг Витторио, — Виктор Иосифович Дорога, как он сам, смеясь, называл себя на наш манер.

Зинаида Миркина

Жизнь под взглядом

Когда мне было восемнадцать лет, в моей жизни случился такой эпизод: я столкнулась с нашей очень властной домработницей, не дававшей мне накормить обедом мою соученицу, которая в эвакуации нередко подкармливала меня. Домработница выхватила у меня из рук тарелку со словами: «Ты норовишь все отдать, вынести из дому. Не дам!». Я была очень худой, сравнительно маленькой. Она — большая, сильная. Я в бессильной ярости хлопнула кулаком по столу. Справедливость была полностью на моей стороне. Я права, но... вдруг я вспомнила мою подругу, которая была для меня первым учителем жизни — очень тихую, кроткую и сильную своей тишиной. Она далеко. Она меня видеть сейчас не может. И узнать о моем яростно сжатом кулаке не сможет никогда. Но я чувствую ее взгляд. И под этим взглядом кулак мой разжался навсегда. На всю жизнь.

Да, я была права, справедливость на моей стороне, но как потом скажет мой будущий муж «стиль полемики важнее предмета полемики». Я ясно чувствовала, что под этим взглядом мой яростно сжатый кулак — кощунство.

Так чувствовал Григорий Померанц Божий взгляд. Он Его не представлял, не выдумывал. Но чувствовал сердцем. Ясно. Точно.

В Евангелии от Иоанна сказано, что Слово — это Бог. И люди тут же превратили божественное Слово, которое создало нас, в то слово, которое создали мы сами. Однако, Бог — не наше создание. Мы — создание Божье.

Бог, создавший нас, не представим, и ни в какие созданные нами слова не вмещается.

Что мы чувствуем, оставшись наедине с собой? Может быть, — ничего. Нам пусто и скучно. А может быть совсем иначе.

У Энтони де Мелло есть притча, в которой ученик спрашивает Мастера, что такое Просветление?

Мастер отвечает: «Это когда ты сидишь один в лесу, или у моря, или у гор, и ясно чувствуешь, что с тобой разговаривают.

— Кто?

— Да вот море, горы, лес.

— Какой ужас! — говорит ученик.

— Какое счастье — отвечает Мастер. — Но ты так привык жить среди шумных, заметных вещей, что не замечаешь их Сути. Жизни не замечаешь. Души своей не замечаешь. Ты еще не пробудился к жизни. Ты мертв и не замечаешь этого».

Так вот, по-настоящему жив тот, кто живет под взглядом невидимых глаз и ясно чувствует, что именно этому взгляду от тебя нужно. Взгляд этот просвечивает Душу насквозь. Каждое движение Души Ему видно. И Душе этот взгляд виден. Не глазам — Душе. И живущий под этим взглядом знает, каким-то внутренним знанием, минующим ум, что БОГ ЕСТЬ.

Душа чувствует Его. Может быть, шестое чувство и есть чувство Бога. Но это не подобно нашим пяти чувствам, которым доступны лишь части. А шестое чувство — это чувство Целого.

Известен такой диалог одного знаменитого летчика с не менее знаменитым священником, в прошлом — хирургом.

— Я летал по небу — сказал летчик-герой — избородил его, видел облака, простор, а Бога не видел ни разу.

— А я разрезал грудную клетку — ответил бывший хирург — видел сердце, а Душу — никогда. Вскрывал череп. Видел мозг. А мысли — ни единой.

Можно не знать никаких слов о Боге, но мыслить, но любить (это главное) и чувствовать себя воистину живым. А когда чувство углубляется, сознание расширяется, ты вдруг ощущаешь всей душой, что есть не отдельные, не связанные друг с другом части, фрагменты, а нечто Целое. Вот это таинственное Целое, включающее тебя внутрь Себя...

И вдруг само собой возникает слово Бог, короткое и емкое, как вздох. Люди, открывшие в себе чувство Целого, почувствовавшие, что БОГ ЕСТЬ, ощущают полноту жизни.

Это прекрасно, но не так-то легко. Это ведь значит быть открытым боли. Чувствовать боль.

Тот, Кто был распят, чувствовал боль величайшую. И не только физическую. Он чувствовал боль за всех людей. Один за всех. Но он был не просто ЖИВЫМ. Он был самой ЖИЗНЬЮ ВЕЧНОЙ. Чувствовал нераздельную связь со всем живым. Не только жил под невидимым взглядом, но Его собственный взгляд сливался с Тем Высшим в ОДНО.

Как это живое чувство Бога далеко отстоит от всех наших убеждений, представлений, от всех, созданных нами самими, слов! Слово, творящее нас, совсем не похоже на слова, сотворенные нами.

Среди моих сказок есть одна, написанная по мотивам буддийских джатак (рассказы-легенды о перевоплощениях Будды). В данной джатаке Будда родился в царской семье и стал царевичем Сутасомой. Полюбив Сутасому людоед Калмашапада преобразился. Он узнал, что есть мудрость не только звериная — правда силы, но и человеческая — сила правды. И доблесть не только звериная — побеждать других, но и человеческая — побеждать самого себя. Он полюбил Сутасому и выполнил его последнее самое трудно требование: «по-настоящему любит только тот — сказал Сутасома — кто отдает жизнь любимому не один раз, а сто тысяч раз».

Говорят, Калмашапада долго жил и пережил Сутасому. Но всю жизнь каждое утро и каждый вечер он затихал, опирался на свой огромный посох и спрашивал: «Ты доволен мной, Сутасома? Так ли я поступал, как ты хотел?».

Такие слова, обращенные к невидимому Богу, и есть настоящая молитва.

Гриша так именно и жил. Среди всех дел он находил время и место для паузы созерцания, по существу, для тихой и целодухренной молитвы — жизни под взглядом Бога.

В «Гадком утенке» есть такие строки: «Я сделал только два-три шага в Глубину. Этого совершенно недостаточно для нашего спасения. Это чуть больше нуля. Но это действительные, а не воображаемые шаги, и они не потеряют смысла, если переменятся все слова».

Такие действительные, а не воображаемые шаги он делал всю жизнь. Всегда доходил до Сути, а не застревал на поверхности. Все поверхностное, наши оболочки, его не интересовали. Он был живым, совершенно живым человеком, и ясно чувствовал, что такое истинная жизнь. Это жизнь Души, Жизнь целого человека, а не выделяющейся, оторванной от Целого части.

Хорошо известен описанный в «Утенке» эпизод, как он выбрал себе второе место в жизни, навсегда отказавшись от первого. Три человека, три товарища гуляли по лагерной трассе и каждый хотел так или иначе убедить других в том,

что он самый умный. Одним из трех был Гриша. Он молчал, но с ужасом увидел, что он тоже думает о себе, как о самом первом. Он воистину увидел себя и ужаснулся.

Кришнамурти говорил, что если бы мы увидели свою зависть так, как видим кобру, мы бросились бы бежать от зависти, как от кобры. «Имеющий глаза, да видит» – говорится в Евангелии. Гриша ВИДЕЛ. И потому ни одному из бесенят, копошащихся в наших душах и смеющихся над нашей слепотой, не удавалось над ним посмеяться. Обмануть его, укрыться от его взгляда ни бесенятам, ни бесам покрупнее не удавалось.

«Я предоставляю вам спорить о первом месте – сказал он своим товарищам – и навсегда беру себе второе». Он говорил потом, что сделать это было так больно, как вырвать здоровый зуб без наркоза. Но он сделал это и стал жить действительной, а не воображаемой жизнью. Ему стало безразлично, что о нем подумают. Важно было то, что действительно есть и что ясно видно Божьему взгляду.

И оказалось, что жить под Божьим взглядом, когда Душа открыта, вся на просвет, поразительно хорошо. И можно быть счастливым в лагере, смотря в белые ночи летом поверх колючей проволоки, и зимой, слушая музыку, льющуюся из репродукторов, когда гуляешь по лагерной трассе в тридцати пяти градусный мороз.

Можно быть бесконечно счастливым, хотя счастье это нелегкое и очень далекое от эйфории.

«Отойди от Меня сатана!» Не о Небесном думаешь, а о земном – сказал Христос Петру, хотевшему избавить любимого Учителя от страшной казни.

Что же такое «Небесное»? Это жизнь Души, всей Души, не жертвующей ни одной своей частицей, – Души, остающейся целой и открытой Божьему взгляду.

Такой была Гришина Душа. И она была больше всего, что им написано. Хотя все написанное прекрасно и очень любимо мной (может потому оно и прекрасно, что является отсылкой к Большему, к Тому, от чего родилось).

Среди отзывов, появившихся в печати после его смерти, был один из числа особенно дорогих мне – отзыв Юрия Зубцова. Там есть такие слова: «Григорий Соломонович как личность был и остается пока мы будем помнить о нем – намного больше всего им написанного». Зубцов говорит, что Померанц

не сводится ни к одной профессии, ни к какому частному определению. Бывают великие полководцы, артисты, писатели, а он был «великим человеком — в самом изначальном и точном смысле этих слов». Я глубоко благодарна за такой отзыв, но хотела бы немного изменить его. Он был великой Душой, сказала бы я. Великодушие — это то, чего он сам в себе никогда не замечал и что было его сутью. Душа заполняла все существо. Он жил Душой.

Душа жила под взглядом Высшего. ВЗГЛЯД спрашивал с него строго. Велел отдать все, что можешь. И он отвечал. Он отдавал. Никто не спрашивал с него так строго, как он сам с себя, ибо он отвечал действительному, а не воображаемому взгляду. Он чувствовал свою жизнь, как задачу вглядывания в неразрешимые вопросы и отвечать всем собой на то, на что точно и однозначно ответить нельзя.

Бог бесконечно больше наших представлений о Нем. Пути Господни неисповедимы. И наше дело — не упрощать их, не приспособлять к своему ограниченному видению, а всматриваться в «Безграничную Действительность» (термин Рильке), и постепенно, шаг за шагом постигать то, что ЕСТЬ. И даже, когда постигнуть до конца невозможно, продолжать всматриваться. Вот как говорит об этом Рильке в четвертой Дуинской элегии:

Не то! Не так! Не надо больше масок. Уж лучше куклы.
Вот те, которых дергают за нитку.
Они не притворяются живыми. Они цельны.
Да, я хочу увидеть куклу и выдержать незрячий взгляд ее.
Я к этому готов. И даже если погаснут лампы
и скажут мне, что кончился спектакль;
Дохнет со сцены серой пустотой
И мертвым сквозняком в лицо повеет.

.....

Нет никого, но я останусь. Все равно останусь.
Мне есть на что смотреть.

Мой долг — вглядеться.

(Перевод мой — З. М.)

Вглядеться в Безграничную Действительность, отбросив все мифы, не принимая кукол за живых людей. Никаких иллюзий.
Есть то, что ЕСТЬ.

Померанцу надо взглядеться в ИСТИНУ, которая Бог. Истина-Бог никогда не была его интеллектуальной (или душевной) собственностью. Никогда не принадлежала ему. Он принадлежал Ей — Истине. Богу.

И потому не было у него ничего «своего», то есть «от себя». Все, что он писал, говорил, чувствовал, было от ВЫСШЕГО, от ВЕЧНОГО.

Полная открытость души и предстояние перед ВЫСШИМ — вот что было смыслом его жизни. При этом он никогда не думал, что достиг ВЫСШЕГО. Напротив — ежеминутно видел бесконечное расстояние между собой и ИМ. Но расстояние это было открытым Путем, той внутренней Бесконечностью, взглядывание в которую он ощущал как ликование творчества. Истинное творчество и было таким взглядыванием внутрь. В То, что не ограничено рамками нашего конечного ума, в То, что разбивает эти рамки и выводит Душу на простор.

Истинное творчество — разрушение наших произвольных построений и предстояние перед Неразрешимым. Не найти окончательное решение, а видеть Бесконечное, Неразрешимое, и идти, и идти туда, куда Оно зовет, выходя в новое измерение, из плоскости — в объем.

«По-настоящему взглядеться в неразрешимое — это не меньше, чем постоянная молитва, или созерцание распятия, от которого у св. Франциска сделались стигматы. В ответ Неразрешимому открывается и углубляется сердце (подчеркнуто мной — З.М.). Я не достиг этой последней глубины. Но меня тянет и тянет к Ней, и мысли мои выются и выются вокруг Неразрешимого. Иногда я решал интересные вопросы; но самое главное, что меня тянет к бумаге, — кружение вокруг Неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас, вчерашние имена недействительны). Попытка, хоть раз не солгать там, где всякая мысль есть ложь, все догматы — только подобия, иконы Непостижимого».

Несколькими строками раньше он пишет: «Созерцание неразрешимого вопроса — один из вечных подступов к Богу. Можно даже сказать, что неразрешимый вопрос — один из ликов Бога».

Это очень важные слова. Божий лик для Гриши был чем-то самым живым, не сотворенным умом, а увиденным сердцем. Он УЗНАВАЛ этот Лик, как узнают любимое лицо. Любые

костюмы, украшения, прически — все отпадало, когда глаза встречались с глазами, взгляд со взглядом. Он часами сидел в Третьяковке перед Рублевским Спасом. И глаза его углублялись так, что вводили в океан Духа. Так же он созерцал и Троицу. Он узнавал Высший образ, отнюдь не сопоставляя с давно знакомыми образцами, узнавал сердцем, заново. «Откуда я знаю, что опыт Томаса Мертона на порядок (или на несколько порядков) выше моего? Но узнал с первой страницы. Почувствовал. Он затронул во мне глубину, на которой я сам, без него, не умею жить. А с ним, за ним, читая его заметки о созерцании, — живу. (...) Почему он не вызвал во мне сопротивления? Самое глубокое, что я сам, без ведущей меня руки пережил, было отодвинуто назад, за порог истинного созерцания. Откуда же я узнал, что он прав?»

Григорий Соломонович говорит далее, что читая Мертона почувствовал себя, как в разговоре со своим первым любимым учителем Владимиром Романовичем Грибом, «при первом молчаливом замечании которого я отбрасывал, не продолжая, начатую цепь мыслей», и далее: «Видимо, оба они затрагивали во мне что-то более глубокое и властное, чем аналитический и конструктивный ум, и я подчинился не им, не внешнему авторитету, а самому себе (подчеркнуто мной — З. М.). Какова бы ни была сравнительная глубина Владимира Романовича и Томаса Мертона, оба они стояли выше меня и в то же время находили какой-то способ говорить изнутри меня, (подчеркнуто мной — З.М.), как будто меня самого поднимали вверх, и вот я вижу, я сам вижу то, чего раньше не видел».

Вот эта способность узнавания обусловлена совершенным бескорыстием так, что его малое «я», его эго растворилось, стало прозрачным, и на месте призраков, сконструированных самолюбием, обидой и всем подобным, проступила истинная жизнь сердца — РЕАЛЬНОСТЬ.

Реально, действительно ценно не именно твое (то, что ты имеешь), а открытая возможность приходить к источнику всего существующего; не накапливание творений, а непрерывность творчества.

Кто такой «нищий Духом»? Тот, кто не останавливает Дыхания. Дух нельзя накопить. Дух можно вдыхать и выдыхать, оставляя место для следующего вдоха.

«Каждый день приходилось искать Единое заново, как будто не было ничего позади, кроме опыта узнавания, т. е. кроме самой способности сердца ВИДЕТЬ и УЗНАВАТЬ. Опять смотреть в Божий глаз, или в глаза икон, или вслушиваться в музыку и искать отклика».

Вл. Антоний Сурожский говорил о том, что настоящая Церковь, в отличие от церковной организации, должна состоять из людей, так или иначе испытавших личную встречу с Богом. «Пусть не такую грандиозную, как у апостола Павла — говорил он — но все-таки личную встречу.» Да, он говорил о людях, вера которых основывалась на опыте сердца, а не на доверии к авторитетам.

Вера Гриши — это те самые несколько шагов в глубину, которые, как бы велики или малы они ни были, являются шагами подлинными, а не воображаемыми. Думаю, что они не так уж малы, эти подлинные шаги, приведшие к личному узнаванию Бога.

Они, шаги эти, привели к полному освобождению Души от всякого зла.

«Зло есть. Но оно есть не на последней глубине. И, уходя в глубину, мы уходим от зла. Чем труднее пробиться сквозь слой, где бесчинствуют призраки, тем прекраснее прорыв узнавания Бога.»

И еще: «От силы нашей веры зависит — перелетим мы через ад, или проползем сквозь него, обдирая руки, ноги, сердце, или вовсе застрянем в отчаянии. Бесконечная вера парит над муками Иова. Я в это верю. Хотя мне лично не все дано».

Вот эти слова «хотя мне лично не все дано» проходят рефреном через все, что он пишет. Он «сделал всего несколько шагов в глубину. Может, чуть больше нуля»; он меньше Гриба и гораздо меньше Мертона... С какой готовностью и даже радостью он видит себя меньшим! Это, и только это дает ему возможность увидеть Большее и приближаться к Источнику общей силы.

Он видит себя не только наименьшим, но и отнюдь не безгрешным, хотя борьба с грехом, со всяческим злом, прежде всего в себе самом — его главное дело. И борьба его успешна. Он предельно спрашивает с себя, он бесконечно ответственен. Он никогда не пасует перед человеческой слабостью, не уступает греху. Почему же чувствует себя грешным? Для прямой мысли это совершенно непонятно.

Хорошо известен рассказ Антония Блума о том, как один прихожанин назвал его плохим христианином.

— Да, но почему? — спросил Антоний.

— Вы не всегда отвечаете добром на зло. Не исполняете заповеди непротивления.

— Хорошо. Представьте себе, что Вы идете со своей невестой, и на нее нападают бандиты. Что Вы будете делать?

— Молиться.

— А если молитва не поможет и на ваших глазах бандит насилует девушку?

— Тогда я буду молиться, чтобы от этого злого дела не было бы злого плода.

— Знаете — сказал Антоний — на месте вашей невесты я бы поискал другого жениха.

Я специально привела этот хорошо известный пример. Он точно иллюстрирует то, что я хочу сказать.

Гриша хорошо знал, что бывают ситуации, из которых без греха выйти невозможно. Не совершить грех здесь было бы грехом еще большим. И он брал на душу грех и знал, что в следующий раз в подобной ситуации поступил бы так же. Может быть, пришлось бы убить бандита, чтобы защитить девушку. А скольких людей надо было убивать во время войны?

А в личной неразрешимой ситуации, когда надо было доставить боль другу и спасти больную женщину, которую любил? Или оставить ее погибать, чтобы не усложнять жизнь ее мужу, который был причиной ее гибели?

Таких ситуаций в жизни Гриши было немало. И он рассказывает о них в главе «Неразрешимое». Он всегда поступал так, что потом не жалел об этом. Иногда выход бывал просто героическим. Так почему же он грешен? В чем грех? Надо бы, кажется, гордиться, что сделал все, как должно.

Вот именно гордиться, по его убеждению, и нельзя было. Даже убив бандита. Даже совершив геройский поступок... не упоение победой, не радость от своей силы и правоты, а горькое чувство, что пришлось это сделать... Иначе нельзя было. Он знал, что снова поступил бы так же. Но как горько, что приходится так поступать. (В давние времена воин, защищавший свою землю, после войны три года не допускался к причастию.) В этом грешном мире приходится совершать грех. И вот только сознание греха может очищать Душу.

Отсюда и рождение его фразы, ставшей пословицей: «Дьявол начинается с пены на губах ангела...».

«Чем-то всегда приходится жертвовать — пишет он — и я делал это беспорядочно, бессистемно, балансируя на лезвие ножа, отказываясь вступать в группы, в редколлегии и т. п., но не отказываясь от свободы своей мысли...»

А в итоге я, пожалуй, и не мог придумать ничего лучшего. Не потому, что непоследовательность хороша, но система, но логическая последовательность еще хуже. Все революционеры были логики.»

Он следовал не заповедям, не правилам, которые узнал извне, прочитал, заучил, а только велению своего глубокого сердца.

Заповеди нужны. Но они для тех, кто не научился заглядывать в глубину своего сердца. Моисей дал десять заповедей. Следовать им необходимо. Однако Христос не раз нарушал заповеди и этим самым по-настоящему слушался Духа, создавшего их. «Я пришел не нарушить Закон, а исполнить», — говорил Он, исцеляя людей в субботу. «Не человек для субботы, а суббота для человека.»

Из всех десяти заповедей Христос выбрал две, считая их важнейшими. Обе они о любви. О любви к Богу и о любви к ближнему. Умейте любить и все остальное приложится вам.

Самым тяжким грехом Григорий Соломонович считал убийство любви. «И есть так много способов убить любовь — недостатком благоговения к естественному чувству близости; неумением сказать и неумением промолчать. Самой маленькой фальшью.»

«Я думаю, что неумение вырастить и сохранить любовь причиняет человечеству больше страдания, чем все политические режимы всех времен. Потому что режимы приходят и уходят, а бездарность в любви остается. Многие нелепые прыжки в утопию от неумения найти полноту жизни в том, что под руками.»

Чего-чего, а бездарности в любви он не знал. Я не знаю человека, умеющего любить так, как он. Любовь его была совершенно освобожденной от эго. Любовь для него была служением. Он не из книжки, не с чужих слов знал, что Бог есть Любовь. И служение Любви было для него истинным богослужением. Бесконечно радостным и бесконечно ответственным. И таким

наполненным, таким вдохновенным!.. Любовь никогда не засыпала в нем, не мертвела. Она не только не умалялась, но возрастала до самой глубокой старости. Она была великим таинством. И я не могу сейчас не привести отрывок из одного из бесчисленных стихотворений, обращенных к нему:

Мой сокровенный, тайный мой
Какою силою немой,
Каким безбрежьем тишины
С тобой мы соединены.
С минуты первой до сих пор
Из глаз в глаза течет простор.
Весь бесконечный небосвод
Из глаз моих в твои течет.
И нету ничего священной
Легчайшего прикосновенья.
Оно, как тихое моление
И тайное богослуженье.
Глаза в глаза, ладонь в ладонь
И разгорается огонь,
Который все солнца зажег,
Который высекает Бог.

Он думал о Непостижимом, о Вечном постоянно. Когда писал об этом, писал, что называется «с жаром и со слезами». Но в юности редко. Написав одну работу, с грустью подумал: «Есть же люди, у которых вдохновение непрерывно... А у меня — раз в несколько лет».

И вдруг это непрерывное вдохновение пришло к нему. Но секрет, или, скорее, тайна в том, что сначала он научился вдохновенно жить, а потом уже писать. Однажды он сказал мне, когда мы сблизились: «Ты нашла себя в том, как ты пишешь, а я — только в том, как живу, как люблю». Сказал он это так просто, так светло, что я подумала: «Ничего лучшего ты мне не говорил еще». Об этом разговоре он писал в «Утенке»: «Мне показалось, что с меня этого хватит. Я не страдал от того, что я не пишу. Я просто хотел глубже и глубже жить» (подчеркнуто мной — З. М.).

И вот, после этого разговора, как фея подслушала, — он стал писать беспрерывно. «Я нечаянно нашел его, (вдохновение — З. М.) бескорыстно прислушиваясь к дыханию космоса, и его вечно живому огню.»

«Хуже или лучше это вышло, но я научился жить перед лицом смерти. Сперва жить, а потом уже писать» (подчеркнуто мной — З. М.).

«Важнее любого отдельного текста стало кружение вокруг истины... и чем дальше, тем больше я поворачивался к Неразрешимому, — к ритму вечных переходов между безмолвным всматриванием — и разгорающимся в груди угольком.»

Да, он научился жить перед лицом смерти, глядя в глаза самому страшному и хорошо зная, что внутри есть что-то, что переглядит это страшное. Жизнь его Духа началась с таких «глядделок». Еще шестнадцатилетним, а потом двадцатилетним юношей он месяцами вглядывался в глаза бессмысленной бездны, упорно ища в ней смысл. Первая вспышка внутреннего смысла уничтожила страх, дала возможность полета над страхом в годы войны. Но вызовы черной бездны продолжались. И он не только не опускал глаз перед ней, — глаза его делались все глубже, все ближе подходил он к безымянной Истине, которой все его переполненное сердце дало имя — Бог.

Есть одна задача у человечества. Может быть самая нужнейшая, самая насущная и самая неосознанная — задача узнать Бога. Узнать Христа, который может появиться в любой момент, когда все уверены, что из «Галилеи ничего доброго прийти не может». Все авторитеты духовные скажут, что Его надо распять. И толпа, только что славившая Его, закричит: «Распни!». Величайшая трагедия длится до сих пор. Она не прекращалась. И если мир все еще стоит, то только потому, что и Воскресение пока еще не прекращается. Все это великая тайна, в которую надо всматриваться и всматриваться. Всматриваться в свое сердце. Не смотреть по сторонам, а глядеть внутрь, вот туда, где находится царство Божье.

Я думаю, Григорий Соломонович — один из тех мыслителей, а, скорее, подвижников, который всматривался внутрь, в эту космическую и нашу собственную Глубину с таким напряжением, с такой ответственностью и с такой любовью, как мало кто в наши дни.

Он принадлежал Церкви невидимой и был верен Ей всей душой.

След, который он оставил в жизни — это строжайшая душевная и духовная честность и великая Любовь. И вряд ли след может быть более светлым.

Римма Запесоцкая

Мой учитель жизни Григорий Померанц

В год столетия со дня рождения философа и культуролога Григория Соломоновича Померанца, нашего выдающегося современника, мне хочется хотя бы кратко рассказать о своем общении с ним и о его роли в моей жизни.

Григорий Померанц. Так было обозначено имя автора на полуслепой копии машинописного текста «Нравственный облик исторической личности», который осенью 1969 года мне дали в нашем университетском общежитии для прочтения. Имя автора было мне прежде незнакомо, и я была поражена содержанием этого текста, написанного на основе антисталинского доклада, который в 1965 году, на излёте «оттепели», Г.С. Померанцу удалось прочесть в московском Институте философии. Начало текста с цитатой из пародийного стихотворения Наума Коржавина о князе Иване Калите, рассуждения автора об историческом прогрессе, который не более прогресс, чем «прогрессивный паралич», и в этой связи о китайском императоре Цинь Шихуанди и индийском императоре Ашоке я запомнила почти наизусть и этим удивила Г.С. Померанца, когда в июне 1983 года состоялось наше личное знакомство.

Впервые я увидела Григория Померанца на трибуне, во время его выступления на конференции «Достоевский и мировая культура». Это было в ноябре 1975 года в питерском музее Достоевского. У меня впечатался в память облик этого необычного оратора, subtilного человека средних лет в костюме кремового цвета, с голосом высокого тембра. И мне запомнилось, что Г.С. Померанц в начале своего выступления упомянул, в связи с дискуссией о творчестве Достоевского, имя в том же году скончавшегося Михаила Бахтина, с текстами которого я незадолго до этого познакомилась. И всё выступление Г.С. Померанца было особенным, не похожим на доклады других участников конференции. Именно «на Померанца» многие годы, пока он ездил на эти конференции, приходило так много народу, что желающие его послушать не вмещались в небольшой конференц-зал, и поэтому в фойе была организована трансляция. Слушатели внимали удивительному оратору,

говорившему не академическим, а общедоступным языком, с множеством небанальных выражений и ассоциаций. Говорил Померанц о духовной проблематике в произведениях Достоевского, оставляя общие и частные литературоведческие вопросы своим коллегам. Я много лет была в числе его заинтересованных слушателей и старалась запомнить каждое слово, каждый жест, не полагаясь только на диктофон, который тоже включала при любой возможности. В перерывах в фойе я наблюдала, как к Г.С. Померанцу подходили люди и задавали вопросы, а он живо реагировал и серьезно отвечал. Но я, несмотря на большое желание тоже подойти к нему и что-то спросить, так и не решилась на это. О личном знакомстве с Померанцем я могла только мечтать, а о более близком общении даже не мечтала — настолько это казалось нереальным.

И всё-таки это знакомство и общение произошло, сбылось... В июне 1983 года Г.С. Померанц и его жена, духовный поэт З.А. Миркина, приехали в Питер, но не на конференцию, а по приглашению близких знакомых, чтобы в частной квартире актрисы Розы Савченко устроить два вечера с чтением своих текстов и последующим обсуждением. Были приглашены заинтересованные гости, их было очень немного, приглашения передавались лично, по цепочке. Я не вошла в число этих избранных, даже не знала о приезде Померанца с женой. Но помог случай — или судьба, ведь нет ничего случайного. Я неожиданно, вместо своей заболевшей подруги, почти чудесным образом все-таки попала на это квартирное выступление Померанца. И на следующем вечере, когда З.А. Миркина читала свои стихи, я тоже присутствовала. «Концы деревьев зареклись / смотреть друг в друга, / только ввысь» — эти стихотворные строки произвели на меня сильное впечатление, но З.А. Миркина сочла их, вероятно, черновыми и позднее не включила ни в одну из своих многочисленных поэтических книг.

Поскольку темы некоторых моих стихов перекликались со стихами Зинаиды Миркиной, я решилась несколько моих стихотворений с сопроводительной запиской и обратным адресом на конверте передать ей около вагона, когда на следующий день, вместе с группой их знакомых, пришла провожать чету Померанцев на Московский вокзал. На ответ я даже не особенно рассчитывала, уже тем была счастлива, что присутствовала на их вечерах и даже передала им несколько своих

стихов, созвучных по мировосприятию. Но ответ я получила, и какой! З.А. Миркина написала, что мои стихи им понравились, и они оба рады найти родственную душу. Г.С. Померанц тоже написал мне несколько строк. Такой горячий отклик казался просто невероятным! Только познакомившись с ними обоими ближе, я узнала, что не одной мне они писали подобные письма и горячо откликались на духовный запрос и тех, кого знали лично, и своих заочных знакомых по переписке.

В их, как правило, совместных письмах, обращенных ко мне, прослеживалась такая закономерность: сначала шли душевные строчки Зинаиды Александровны и тексты ее новых стихов, затем часть письма, написанная Григорием Соломоновичем, в основном с философским и культурологическим содержанием. Иногда основной текст письма был написан убористым и трудночитаемым почерком Г.С. Померанца, а затем шел размашистый почерк З.А. Миркиной. Бывало, они писали мне, не дожидаясь моего ответа, если хотели поделиться чем-то важным, в том числе откликом на события, новыми текстами и стихами.

Вскоре после этих квартирных питерских вечеров чету Померанцев снова пригласили их близкие знакомые, купив им путевки в дом отдыха на Финском заливе, в Репино. И я уже оказалась в компании, которая навещала их там, и мы говорили на разные темы, в основном о поэзии и духовных прозрениях.

Следующим эпизодом нашего общения на первоначальном этапе стала поездка в Москву в январе 1984 года. Несколько человек, и я в том числе, приехали из Питера на ёлочное представление, которое З.А. Миркина устраивала уже много лет подряд в маленькой квартирке на улице Новаторов. И затем я ездила на эту уникальную ёлочную мистерию ежегодно на протяжении почти двадцати лет, в последние годы, когда Померанцы переехали на улицу Обручева, – реже, в силу обстоятельств. Когда я впервые увидела это рукотворное чудо, то была просто переполнена счастьем присутствия на такой удивительной ёлочной мистерии. Г.С. Померанц сидел тогда в кресле около ёлки, рядом с тумблерами и проводами, и управлял переключением сказочных «царств», по знаку З.А. Миркиной, которая рассказывала сказку, специально сочиненную для своего ёлочного представления. Так было многие годы, и каждый раз была новая сказка с постоянными ёлоч-

ными героями и персонажами. И казалось, что никогда ничего не изменится в этом созданном четой Померанцев чудесном сказочном мире, и всегда будет это новогоднее мистериальное чудо, и их душевное тепло будет помогать жить тем, кто имеет счастье знать и любить их.

Много раз, когда я приезжала в Москву на несколько дней, я именно у Померанцев останавливалась, так у нас, по их настоянию, было заведено. Это всегда были для меня счастливые дни интенсивного общения с этой единственной в своем роде супружеской парой равноправных творческих и духовных личностей. Сам Г.С. Померанц настаивал, что в их союзе всегда ставил себя на второе место, но я видела равное взаимное уважение и доверие, и в основе этого была высочайшей пробы любовь двух духовных индивидуальностей. Поражали и служили высоким примером их открытость и доверие к людям. Я воспринимала их как своих духовных родителей, а они меня — как свою названную дочь. Вероятно, поэтому мне, как и некоторым другим людям из их близкого окружения, было предложено называть их по имени, но я долго не могла на это решиться, и только в последние годы жизни Григория Померанца как-то внезапно легко смогла преодолеть этот барьер и стала называть их обоих, как они сами просили: *Гриша и Зина*.

В своей жизни я стараюсь следовать советам и выстраданным формулировкам Григория Померанца. К ним относятся не только широко известные его высказывания, как например: *дьявол начинается с пены на губах ангела; стиль полемики важнее предмета полемики*, но и менее известные размышления и выводы, побуждающие глубже задуматься над вечными вопросами. Например, из книги «Собирание себя»: *для того чтобы выйти с уровня помраченного сознания и увидеть бытие в его целостности, нужны три вещи: вера, рвение и сомнение; обычное наше состояние — это оторванность от глубин бытия; пошлость — это самодовольная оторванность от глубины бытия; человек, действительно ищущий глубину бытия, всюду оказывается не с большинством; путь понимания — это путь просветления страстей через власть музыки и поэтическую игру; мудрость заключается в том, чтобы сознать идеал и по возможности идти к нему; человек может быть некоторым окном, дверью, отверстием,*

через которое чувствуется присутствие духа. И еще пара мыслей Григория Померанца, которые я запомнила из его уст (в моем вольном изложении): *следует идти по следам достойно прожитых жизней и оценивать не статус человека, а качества его души.*

Когда в 1994 году вышла моя поэтическая книжка «Постижение», Г.С. Померанц написал к ней предисловие, где упоминает и «чувство бездны», и «паскалевское чувство бесконечности», о которых размышлял во многих своих текстах. Решаюсь процитировать здесь отрывки из этого предисловия, поскольку такой очень *померанцевский* по содержанию и стилю текст не слишком известен.

В моих стихах, по мнению Померанца, «заново всплывает чувство бездны, с которой русскую поэзию сроднил Тютчев. Чувство, которое может принять облик страха перед бездной зла, дремлющего в душе, и облик страха перед бесконечностью пространства и времени, где тонет без следа наше «я». Это не болезнь, без которой лучше всего обойтись. Это боль, в которой рождается нечто великое, боль, ведущая к радости увиденного вечного света и к радости творческого мгновения, когда удастся замкнуть параболу, летящую из ниоткуда в никуда, – в круг художественной цельности [...] Мартин Бубер, переживший страх бездны в 14 лет и едва не сошедший от этого с ума, сближает паскалевское (для нас – и тютчевское) чувство бесконечности со страхом Божиим. Оно действительно толкает к поискам смыслообразующего начала по ту сторону пространства и времени. Поиски веры начинаются с неверия в окончательность очевидного. Чувству разрыва времени, неожиданному прорыву в вечность «все возрасты покорны». Здесь особый счет начальных и зрелых лет. Зрелость – возвращение в мир пяти чувств, но с каким-то новым, шестым – чувством глубины.

В средневековой китайской притче сжато пересказан путь к зрелости: «Сперва я не знал Учения и думал, что гора есть гора. Потом, познав Учение, понял, что гора – вовсе не гора. Но еще больше углубившись в Учение, я постиг: гора есть гора!». Мало кто проходит этот путь до конца. В православии это называется *трезвением*. Не житейским трезвым отличием предмета от предмета, а чувством вечности, вмещенным в сердце и пронесенным сквозь повседневность.

Вера начинается с неверия в окончательность страдания и смерти. Неверие в неподлинное толкает к подлинной вере. До нее трудно дойти. Поэты, затронутые страхом Божиим, по большей части остаются на мучительном раздорожье, – без полноты неверия в мир обособленных вещей и без полноты веры в реальность Целого.

«Всякая религиозная действительность, – пишет Бубер, – начинается с того, что библейская религия называет «страх Божий», то есть с того, что бытие от рождения до смерти делается непостижимым и тревожным, с поглощения таинственным всего казавшегося надежным.»

Только пройдя через этот страх, можно прийти к действительности метафизической поэзии. [...] Сквозь карамазовский ужас перед бездной зла пробивается отдельными всплесками, вспышками – чувство света, радость духовного опыта. [...]

Пробиваясь сквозь хаос истории и повседневность суеты, поэт ищет свой предначертанный изнутри путь».

Без преувеличения можно сказать, что Григорий Померанц был и остается для меня Учителем жизни, в числе немногих личностей, кого я могу так назвать. В нем присутствовал и был виден окружающим высокий образ человека, который сделал сам себя и полностью состоялся, и чей моральный авторитет многим помог и сейчас помогает жить в недружелюбном и даже враждебном мире. Григорию Померанцу, вместе со своей второй половиной Зинаидой Миркиной, удалось создать круг близких по духу людей и такой свой светлый духовный мир, который притягивал множество людей, не только лично знавших их обоих, но и слушавших их лекции и читавших их эссе, статьи и книги.

Целая вселенная, то особое измерение духовной реальности, которую опытным путем всю жизнь постигал Григорий Померанц, приоткрывается мне и другим с его помощью. Все вечные и актуальные вопросы и проблемы уже не кажутся такими пугающими и неразрешимыми, когда я читаю его тексты, слежу за его размышлениями, с благодарностью вспоминаю наше бесценное для меня общение. И поэтому Григорий Померанц в каком-то высшем смысле и сейчас остается со мной и помогает не терять свое человеческое предназначение.

Марк Харитонов
Годы с Комой Ивановым

1

7 октября 2017 г. умер Вячеслав Всеволодович Иванов. Думаю, представлять этого необыкновенного человека нет надобности, как и объяснять его домашнее, для своих, имя Кома. У меня с Вячеславом Всеволодовичем были связаны многие годы жизни. После его смерти я написал у себя: «Предстоит все еще пережить, осмыслить». И для этого надо было не в последнюю очередь просмотреть, перечитать заново свои многолетние дневниковые записи.

Несколько слов о них.

Больше полувека назад для разного рода записей я стал пользоваться стенографией, несколько отличной от общепринятой. Помимо основного преимущества, скорописи, такой способ в советское время обеспечивал и необходимую безопасность: к таким, как я, тогда могли нагрянуть с обыском, могли проверить в метро содержимое портфеля: нет ли чего антисоветского? Мои закорючки органам было бы не так просто расшифровать и использовать против упомянутых в них людей¹. Вообще можно было писать свободнее, откровеннее, не заботиться о том, хорошо ли я буду в этих записях выглядеть?

С появлением компьютера пришла идея начать кое-что все-таки расшифровывать. По ходу этой работы я задумался, среди прочего, и о возможной публикации: столько в этих записях оказалось интересного и ведь не только для меня. Так со временем возникли дневниковые книги «Стенография конца века» и «Стенография начала века», вышедшие в издательстве «НЛО». На страницах обеих книг не раз возникало имя Комы — но не оказалось многого, что мне помнилось без всяких записей

¹ Для меня было неожиданностью прочесть поздней у Элиаса Канетти, что он в своих дневниках пользовался «видоизменной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем».

и казалось порой особенно важным. Ведь все-таки мало кому довелось в течение почти полувека довольно близко общаться со столь незаурядным человеком, стенографируя разговоры с ним по свежей памяти так подробно и, между прочим, так достоверно. (Воспоминания самого Вячеслава Всеволодовича это могут подтвердить.) Думаю, эти заметки в чем-то дополнят и обогатят представление о нем.

2

Перейду к своей стенографии. Впервые имя Вяч. Вс. оказалось упомянуто у меня в записи 11.1.68: «В ЦДЛ вечер Арс. Тарковского... Выступал Вяч. Вс. Иванов, с невероятным лбом». Помнится, я встречал его в те же годы и на других собраниях (на вечере Н.М. Любимова, где Вяч. Вс. говорил о его переводах М. Пруста, сравнивая их с предыдущими, еще на каких-то), но записи об этом, видимо, остались нерасшифрованными, а может, были утеряны.

Не нашел я и записей о начале нашего личного знакомства. Произошло это скорее всего году в 1971 у Давида Самойлова. Отчетливо помню, как мы вместе возвращались с Вяч. Вс. из Опалихи, где тогда жил поэт, в электричке, и он по моей просьбе объяснял мне, что такое коан.

Начну с относительно позднего эпизода, когда мои близкие друзья, Лев Копелев и его жена Раиса Орлова, вынужденные уезжать в эмиграцию, пригласили меня поехать с ними на их проводы к Раиной дочке Светлане, жене Комы. Я впервые оказался в их квартире. Дальше буду просто цитировать Стенографию, по необходимости сокращая подробности, не относящиеся конкретно к Кома (впрочем, некоторые оставляя).

«30.10.80. Светлана, дочь Раи, вдруг «узнала» меня: «Вы Марк Харитонов? Господи, я вам хотела сказать, как мне нравится ваша проза»... Я, конечно, сразу предложил ей дать свою новую рукопись². И Кома вступил: «Да, мы вас горячо рекомендовали многим людям»...

² Меня к тому времени знали в основном только по рукописям, которые распространяли друзья. Первая моя книга «День в феврале» вышла в 1988 году, когда мне был 51 год, до этого была единственная публикация 1976 г. в «Новом мире» с предисловием Д. Самойлова. Всякий добрый отзыв был особенно ценен.

Из разговоров. Липкин спросил у Комы, почему Христос молился «авва отче», то есть два раза на двух языках произнес одно и то же слово? Кома отвечал, что это сложный вопрос: на каком языке говорил Христос? Вероятно, на арамейском; возможно, где-то существует подлинник Евангелия на древнееврейском языке. И перед смертью, обращаясь к отцу, он вспомнил язык своего детства, а в Евангелии эти слова растолковали для читателя, который этого языка уже не знал, то есть дали сразу и слово, и перевод...

Кома по поводу каких-то воспоминаний о Мандельштаме: «Я помню, Ахматова мне говорила: в 19-м веке уничтожали письма и дневники, заботясь, чтобы не стали общим достоянием личные дела. А сейчас, наоборот, все тащат на свет свои воспоминания».

Еще Кома рассказал историю про Корнелия Зелинского, который в Новый (1958) год при нем целовался с Пастернаком. А чуть ли не через несколько дней напечатал мерзкую статью о его стихах «Ты значил все в моей судьбе», не поняв, что речь в них идет о Христе, и подумав, что это о наших днях, о Сталине и Ленине, что ли; то есть донес. Кома при встрече отказался подать ему руку, так тот в ближайшем выступлении потребовал буквально его ареста, и это имело для Комы довольно неприятные последствия, хотя до ареста по тем временам не дошло. (А рассказано это было к тому, что одно стихотворение Пастернака до сих пор носит посвящение Зелинскому.)

11.2.81. Поехал в Музей изобразительных искусств на лекцию Комы Иванова о стихотворении Пастернака «Бабочка-буря» и «Инфанте» Веласкеса. Замечательный комментарий, где проявились лучшие его достоинства: эрудиция, позволяющая находить толкования и в «Поэтических воззрениях славян на природу», и в живописи Веласкеса, и в неопубликованных вариантах, и где угодно еще. При этом все основательно, умно и глубоко. Меня встретил очень милой улыбкой, сказал, что моя работа была интересна ему со многих точек зрения и хотелось бы поговорить. «В Переделкино вам ехать далеко?» Я сказал: «Пригласите»...

Иванов цитировал мысль Пастернака из письма Элиоту о том, почему он невысокого мнения о Томасе Манне: если Манн имеет 5 эпитетов к какому-либо существительному, он все их приводит; а надо либо найти шестой, либо вовсе отказаться

от эпитетов. Несправедливо к Манну, но важна требовательность подхода...

4.3.81. Вечером поехал в Переделкино к Липкину... От него созвонился со Светланой, она заехала за мной на машине... Рассказывала о здешних проблемах, сложностях. Я понял, что жизнь в Переделкине отнюдь не так спокойна, как могло бы показаться по райской лесной тишине и вызывающей зависть роскоши дач...

А с Комой разговор был очень интересный. Он лежал больной, с давлением 200/150, лицо распухшее, Светлана попросила меня занимать его не более 15 минут. Он весьма хорошо отозвался о повести [«Два Ивана»]. Сомнения литературные: ему показалось, что эта вещь, в отличие от предыдущих (меня заинтересовало, что в отличие от предыдущих), слишком литературна, ориентирована на классическую традицию (хотя на мой вопрос назвать конкретно, чем это близко, он ответить затруднился). А сомнение внелитературное: ему увиделось в моей книге стремление оправдать русскую историю («стремление, через которое я сам прошел»); Иван Грозный немного приукрашен. Все было страшней, патологичней, безвыходней. Я удивился, как широк диапазон расхождений в оценке моего отношения к России, ее истории. И, конечно, помянул Давида³. Он ответил, что Д. слишком решает кое-какие проблемы с самим собой, у него сложные отношения с властью. Для Комы это не новость... И рассказал эпизод. Однажды, когда Копелеву разбили окно булыжником, вообще они жили, осажденные КГБ, от Д. пришло письмо, где он писал, что советская власть молодая и потому в ней многое не устоялось, надо еще дать ей время. Что-то в таком духе...

Что до «Иванов», я возразил ему, что любой преступник и маньяк, как известно, «изнутри» не считает себя плохим и находит для себя оправдания. Полнота образа создается сопоставлением этого самовосприятия с объективностью действий (так палач у меня не понимает, что плохого он делает, и готов подставить собственную спину под собственный кнут). Мне казалось, что на самом деле не хватает этой «шекспиризации» образа, которая дает полноту. Показалось ему также, что я слишком много надежд возлагаю на русского святого, который

³ О полемике с Д. Самойловым по поводу «Двух Иванов» см. мое эссе «История одной влюбленности» в разных изданиях.

не нашел у него внутреннего отклика. Я возразил, что и святость русская оказывается очень ущербной, бесформенной, не способной на сопротивление. Но вообще я действительно искал силу, на которой что-то может держаться, не самоуничтожаясь.

26.5.81. ...Вечером лекция Комы Иванова о Хлебникове. Сбор знакомых: Померанц, Наумовы, Лунгины. В лекции много мне известного (Хлебников как русский юридивый, полемика в связи с этим с Палиевским, который считает Хлебникова не русским явлением), но много и нового (параллель между заумью и глоссолалией, а также детским лепетом, о чем есть, оказывается, исследование у Якобсона; рассказ Лили Брик о том, как она зимой дала Хлебникову деньги на шубу, а он на эти деньги уехал на Украину, где теплей – и т. п.). После лекции зашли к Наумовым, посидели за хорошим столом. Интересный рассказ Комы о волнениях в Грузии (он назвал это «революционной ситуацией», аналогичной польской)... Рассказ о конференции «Монтаж как принцип культуры 20-го века», где Библер говорил о пошлости и посредственности как торжествующем в нашем веке принципе. Кстати, Померанц сказал, что написал недавно эссе о пошлости и хамстве; тема висит в воздухе. Потом заехал к Ивановым взять книжку Саши Соколова... Дал почитать «Провинциальную философию».

28.5.81. Кома Иванов рассказывал о тбилисских впечатлениях и разговорах. К приезду Брежнева строилась трибуна, и началось строительство с установки писсуара. (Рассказывали, что на одном заседании Политбюро он обмочился, не успев дойти до туалета)... Дети несколько дней репетировали представление на стадионе в жару, некоторые получили солнечный удар, их сразу отвозили в больницу. А один упал сверху звезды и разбился насмерть.

(...)

24.6.81. ...Поехал в Переделкино. По пути от станции меня встретила на машине Светлана: оказывается, их на вечер пригласили к Лиснянской на день рождения; меня сразу повели туда. Интересный разговор с Комой по пути, главным образом о Габае. Для него были неожиданностью «культуроборческие» черты в Габае; в личном общении он этого не замечал. Но из писем и высказываний ему бесспорно увиделись черты «хунвэйбинства». При всем том человек несомненно вызывает симпатии. Кома согласен с упомянутым мной мнением, что по-

литикой надо заниматься профессионально. В Габае несомненны черты инфантильности, романтической инфантильности; в такую характеристику ложится и самоубийство – романтически-максималистский, инфантильный выход из ситуации, когда оказывается невозможно осуществить максималистский идеал. Да и многие другие черты психологической организации: постоянное бегство, невозможность устроить отношения с семьей и пр. укладываются в характеристику этого типа. Взгляды его вызывают на полемику гораздо чаще, чем это делаю я; но и не моя задача на каждом шагу спорить. О Якире можно бы сказать резче; есть свидетельства, что его роль иногда выглядела откровенно провокаторской...

Я спросил, как он относится к стихам Габая. Кома считает его бесспорно поэтом; поэтическим в нем можно считать косноязычие, о котором я пишу. Но стихи его неровные, много слабых (у меня отобраны лучшие). Он к концу стал писать лучше и явно до конца не раскрылся.

Моя «Провинциальная философия» Кома понравилась. Я попутно высказал просьбу сообщать мне материал о 20-х годах.

Лиснянская угощала долмой (маленькие голубцы в виноградных листьях). Была хозяйка дачи, Степанова, дочь Марии Петровых, неизвестная мне переводчица Хильда, плохо говорившая по-русски, дочь Инны с мужем, сын Липкина с женой. Разговоры о Солженицыне, современной поэзии и пр. Говорили о том, что уровень современной поэзии необыкновенно снизился. «Вот был такой поэт Бенедикт Лифшиц, – сказал Липкин. – Второстепенный поэт, но ведь лучше Самойлова». – «Да, конечно», – сказал Кома. Меня это не то что задело, но показалось неожиданным. «Вы думаете, что стихи того же Самойлова надолго не останутся?» – осторожно и, наверно, неловко переспросил я Липкина. «Видите ли, – ответил он мне, – решает всегда время. Безусловно можно судить лишь о том, что останется, и если время выберет что-то еще – прекрасно». – «Да, – согласился Кома. – Пока что мне кажется, безусловно останется только Бродский». – «Конечно. Я все больше в нем утверждаюсь. А из умерших – Заболоцкий (если говорить о поэтах советского поколения, то есть начавших после революции)»...

Липкин: «Как-то я встретил циника Катаева, и он мне сказал: «Надо жить здесь 4 месяца и 8 месяцев – там».

Кома: «Он не только вам это говорил. Это его любимая мысль, он охотно повторял ее многим»...

Кома о Солженицыне: «Он, конечно, крупная фигура в публицистике и в общественной жизни. Но насчет его места в литературе я пока не вполне уверен. Куски из «1916» года, напечатанные в «ВРХСД» – это откровенно плохо. Солж. впервые напал на такой материал, как протоколы Гос. думы, и с детским энтузиазмом (в нем есть что-то детское, и для писателя это может быть сильной стороной) стал их обрабатывать. Причем он всем делает выговоры: кадетам, правым, все ему не нравятся. Устраивают его только крайне правые да кубанские землевладельцы... У него удивительное желание выправить и отредактировать историю задним числом, выставить всем деятелям оценки с высоты своего нынешнего знания. Это не новая болезнь в русской литературе. У него есть большое эссе о Николае Втором (примерно как «Ленин в Цюрихе»). Это ужасно. Он ему тоже выговаривает. Ему неприятна всякая интеллигентность. Например, не нравится, что Николай владел тремя языками, иронизирует на этот счет... По сравнению с этим «Ленин в Цюрихе» – последнее, что можно было читать с относительным интересом. Это, по-моему, безусловно плохо. И издатели чувствуют, что книга не будет иметь успеха, уговаривают задержать издание».

31.8.81. Вчера был мой день рождения. 35 или больше гостей, с трудом уместились за столом. Из новых – Кома со Светланой и Попов, тоже со Светланой...

Кома за столом передавал рассказ Давида Самойлова о его наблюдениях над рифмой современной советской («несуществующей», сказал Кома) поэзии. Потом, когда я провожал его на такси, говорил, что у него впечатление общего упадка литературы, культуры, и не только у нас... Я вспомнил замечание Библера, что высшие достижения XX века были совершены в первой его четверти, дальше ничего принципиально нового не произошло. «Это совпадает с моими собственными ощущениями, – откликнулся Кома. – Отчасти это, вероятно, объясняется гнетом массовой культуры, информации. Возможно (я, конечно, не знаю, но может быть) существуют люди, которые пишут в расчете на будущее поколение и просто не отдадут свои работы сейчас в печать»...

(...)

26.10.81. Вечером заехал к Комер, очень интересно поговорил с этим умным и расположенным человеком.

Из разговоров Комер:

«Нынешняя ситуация для меня чем-то загадочна. Я ничего не могу понять. Явные признаки неуправляемости, анархии, все возможно. Мне в каком-то смысле это время напоминает 56-й год. Тогда было много возможностей, которых люди не сумели использовать. Сейчас от каждого отдельного человека зависит больше, чем когда бы то ни было».

(Мне показалась неожиданной эта оценка. Мне как раз наше время кажется временем, когда все попытки уходят в песок. Но, может, он прав.)

«Я одно время активно участвовал в том, что сейчас называется демократическим движением. Тогда организовывались первые демонстрации, протесты против попыток возрождения сталинизма, примерно года с 65-го по 68-й. А потом я отошел по принципиальным причинам. Хотя есть несколько конкретных людей, например, Андрей Дмитриевич, которых я лично очень уважаю».

Мне сейчас непонятна суть демократического движения. Чего мы хотим, какой демократии? Я недавно задумался над этим вопросом. Вот, представьте, что сейчас вдруг удалось ввести демократию. Проведены свободные выборы. И что же? Кого выберут? Что будут печатать? Вы уверены, что будет лучше? Нет конкретного представления о ближайшем пути. Программа – это не то, что в идеале желательно через 100 лет. Программа – это то, что надо бы сделать завтра. Есть у нас такая программа? Знаем мы, что конкретно надо сделать завтра? Сомневаюсь. Но, может, я не прав».

О Шаламове (к которому я высказал свое уважение). «Я с ним встречался у Надежды Яковлевны и тогда говорил ему: вы сами себя опровергаете, говоря, что лагерь ломает человека. Вас это не сломало. Но он стоял на своем. Он пришел физически совершенным калекой, у него была полная дискорреляция (?) движений, как при паркинсонизме, даже еще хуже. И тем не менее, когда в 66-м году намечалась несостоявшаяся потом демонстрация на Красной площади с протестом против попыток возрождения сталинизма, он пошел туда один. А ведь тогда было еще неизвестно, чем это могло кончиться».

Упомянул слух, что Владимов собирается уезжать. Ему нравилась «Большая руда» (которую я не читал). Я сказал, что мне очень понравился «Руслан». Он пожал плечами: «У меня к этой вещи специфическое отношение. Дело в том, что я знал одну такую лагерную собаку. И это было гораздо страшней, чем он описывает. Эту овчарку, натасканную в лагерях, передали в Переделкино, для других надобностей. Она бросалась на людей, это было ужасное зрелище. И кончилось все тем, что она загрызла молодую собачку и стала лизать ее кровь. Тогда мой папа застрелил ее. Действительность очень часто оказывается страшней литературы, и тогда литература не удовлетворяет. Я это ощутил после поездки по Сибири, когда увидел действительно много страшного...».

О Самойлове. «Он единственный раз встречался с Пастернаком. Это было уже после Нобелевской премии, незадолго до его смерти. Дезик пришел к нам, чтобы поговорить с моим папой. Он тогда собирался вступать в Союз, а мой папа был председателем приемной комиссии. Он вообще не один раз бывал у нас в доме, но с Пастернаком пересекся единственный раз. Где-то в прихожей мы оказались втроем. Дезик был сильно пьян, Пастернак им заинтересовался, сказал, что слышал о нем. И вдруг Д. сказал: «А я о вас стихи писал во время войны». «Да?» – спросил Пастернак. И Д. прочел ему стихотворение против Пастернака, смысл которого сводился к тому, что надо знать, на какой стороне баррикад стоишь, и Пастернак – на той стороне. Пастернак был вежливый человек, он какой-то фразой принял это к сведению – и разговор не состоялся.

(Я вспомнил, году в 72-м Д. читал мне главу о Пастернаке, где вспоминал историю этого стихотворения и переоценивал свою позицию: мол, я тогда не понял Пастернака. «А мне он этого не читал», – сказал Кома.)

Упомянули Искандера, Битова... Я заговорил о том, что есть люди, по природе счастливые (таков Самойлов: «Счастливый по природе при всяческой погоде»), Битов мне кажется по природе скорей несчастным. «Способность быть счастливым – это вопрос религиозного отношения к жизни», – заметил Кома.

При мне позвонили из Америки Рая слевой. От Америки они в ужасе. Может, их испортила Европа, верней, ФРГ, с ее чистотой, после которой даже Америка показалась им грязной. Хотя советского гражданина это особенно бы не должно шо-

кировать. Много схожего, до анекдота: на огромные деньги, которыми оплатили их поездку, их поселили в доме с тараканами и с объявлением, что горячей воды нет и не будет в течение месяца по причине ремонта. Кома вообще критически относится к Америке, считает, что в чем-то эта страна действительно напоминает Сов. Союз.

30.11.81. Был у Комы Иванова... Кома собирается в Таллин на конгресс по связям с внеземными цивилизациями, у него подготовлен доклад о лингвистических аспектах... По этому поводу зашел разговор о «летающих тарелочках». Кома считает, что в истории человечества много неясного, что позволяет не исключать возможности вмешательства в земную жизнь космических пришельцев. Нобелевский лауреат Крик считает, что гены жизни вообще занесены из космоса. Не объяснено чисто земными факторами возникновение человека... Необъяснимы внезапные вспышки гениальности в Древней Греции за 5 веков до н. э.... Или тот факт, что Сталин умер очень вовремя; еще несколько дней, и мировая история могла бы получить другой ход: на десятые-двадцатые числа марта была назначена массовая высылка евреев... НЛО стали наблюдать впервые после битвы на Курской дуге – самого крупного скопления военной техники в одном месте... Многие сведения о непонятных явлениях не попадают в печать по негласному договору между державами, потому что достоверная информация о существовании каких-то внеземных сил, которые следят за Землей, может вызвать реакцию населения, непредсказуемую и не поддающуюся контролю властей. Есть же гипотеза о том, что когда-то на нашей земле был поставлен цивилизацией, несоизмеримо превосходящей нашу, эксперимент по созданию жизни, и нельзя исключить, что поставившие этот эксперимент заинтересованы следить за его развитием, и в кризисные времена в эти события вмешиваются.

26.2.82. Заехал к Кома... Он сейчас ходит на заседания какой-то комиссии, названия и смысла которой мне не расшифровал, что-то на самом высоком правительственном уровне: зам. министров, академики, военные. Речь идет о комплексе каких-то научных проблем, которые нужно решить, чтобы, в частности, не отстать от военного потенциала США. Среди этих разных людей есть очень умные, вызывающие уважение, сравнительно молодые (40-50 лет); все всё понимают – но ни-

кто не может ничего конкретно решить, никто не обладает реальными рычагами власти, все начинания вязнут в песке. Приводил примеры... Такое положение может длиться не больше года, и либо все кончится катастрофой, либо надо будет резко менять руководство. Последнее трудней все по той же причине: частичные решения не помогут, а коренные могут выйти из-под контроля. (Катастрофу же можно оттянуть из-за богатства ресурсов, хотя уже трудно сказать, сколько их.) На этих заседаниях ему не приходилось сталкиваться с партийными чиновниками, вероятно, это другая сила...

О враждебных отношениях между милицией и КГБ. «Уголовный характер нашей милиции очевиден. Вы знаете, что у меня убили сестру? По отцу, от его первой жены, она была старше меня года на полтора. Ее убили в центре, у французского посольства, она там жила. Вызвали на улицу и задушили, накинута петлю. Вы знаете мою маму, она человек невероятной энергии. Ходила к Ильину, тогдашнему генералу в Союзе писателей, в другие инстанции, я ходил в милицию. Из разговоров я понял, что выяснять бесполезно. Смотрит человек на меня спокойно, спрашивает, где я живу. В вашем районе, говорит, тоже много нераскрытых преступлений, а в центре особенно. Соседи мне рассказывали, что милиции были известны многие факты, которые они просто скрывали от следствия. Связь милиции с уголовным миром, о чем мы знаем по итальянским фильмом, у нас существует в полной мере, только скрытно. Раскрыть такие дела может только независимый следователь, частный детектив, там обычно так и бывает. И прокуратура там независима от полиции. А в провинции вообще все срослось, в мусульманских республиках ничего распутать невозможно».

«Не знаю, чем кончится эта история, меня впервые за последние 17 лет решили пустить за границу. В Чехословакии должен проходить какой-то международный симпозиум, меня решили включить в состав официальной делегации... Я ничуть об этом, как вы понимаете, не волновался: не пустят, так не пустят. Но в институте волновались. Сказали, что мне надо пойти в райком, и защищать меня послали секретаря парторганизации, который ради этого покинул пьянку в честь своего 50-летия. Сидит женщина-инструктор, еще несколько человек. Листают мои бумаги. Дочитали до места, где я почетный член таких-то научных обществ. «Почему вы 17 лет

никуда не ездили?» – спросила женщина. Я сказал: «Видите ли, у меня больная нога, не так давно мне сделали операцию, теперь я опять могу ездить». Она сказала: «Смотрите, когда будете возвращаться обратно, не повредите вашу ногу». И все. Мой спутник был смущен. Дело в том, что до сих пор все разговоры о моих заграничных поездках отклонялись уже на уровне института, и мой нынешний спутник принимал в этом участие: мол, бессмысленно даже утверждать, все равно райком не пропустит. И вот в какое положение их теперь поставил райком. Это вовсе не значит, что я поеду, но важно, что никто не хочет выглядеть плохо и брать на себя личную ответственность, портить свою репутацию».

25.4.82. ...Вечером заехал к Иванову. Общее ощущение уже близких перемен, неотвратимого кризиса, непредсказуемого будущего. Когда я упомянул, что Хазанов подал заявление на выезд, он сказал: «Зачем же сейчас уезжать? Сейчас здесь будет самое интересное». Говорил о пьесах Петрушевской и Гельмана, которые видел недавно. При общем хорошем впечатлении – чувство, которое он назвал «истеричностью»: крик, как все ужасно, мрачно, безнадежно. А сейчас не это нужно.

Заговорили о судьбе (я последнее время неизменно перевожу разговор на эту тему⁴). Он в это твердо верит. Он считает, что нами кто-то распоряжается, и если ход событий кажется нам случайностью, это только потому, что наш слабый ум не способен распознать закономерности... «То есть вы в принципе религиозный человек?» – спросил меня Кома, и я вынужден был согласиться...

Недавно он выступал в Политехническом музее, где говорил о состоянии науки и называл всю нынешнюю систему ее организации непроизводительной тратой человеческой энергии... Десяток тысяч человек (цифра не преувеличена) не может признать ненужным то, чем они зарабатывали долгое время очень большие деньги...

Рассказывал свою гипотезу о том, что гориллы и шимпанзе – мутанты, в которых выродились предки человека в результате атомного взрыва, который произошел в Зап. Африке, где на территории нынешнего Габона обнаружена необычная цепочка урановых месторождений (бывшие атомные реакто-

⁴ В связи с работой над романом, который стал называться «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (прим. 2017).

ры?). Общий предок человека и человекообразных обезьян до сих пор не найден... Он любит такие гипотезы; вероятно, это стимулирующая игра ума...

17.11.82. ...Заехал к Кома. Он настроен оптимистично. Силы, которые сейчас пришли и, видимо, постараются в самые ближайшие дни укрепиться у власти – это союз армии и КГБ; от них можно ждать деловой заинтересованности... Уже якобы разослана по редакциям и издательствам директива Комитета по печати прекратить ссылки на Брежнева; вроде бы в газетах его уже почти нет. Мне после пышных похорон казалось, что на такую быструю перестройку потребуется время – я всегда недооценивал способность системы мгновенно и эффективно менять память людей. Новые мысли могут быть введены хоть завтра, и никто не вспомнит мыслей вчерашних... Кома исходит из того, что политические события у нас направляются схватками конкретных сил: армия становится на чью-то сторону, КГБ накапливает материал и готовит падение определенных группировок, и схватки эти могут быть жестокими, смертельными; подробности же нашей истории никогда не будут написаны.

Отец Комы объяснял решение Сталина поместить Ленина в Мавзолей (вопреки сопротивлению Крупской и всех членов Политбюро) страхом Сталина перед самозванцами, к которым склонна русская история. Пусть лежит, чтобы все видели: умер...

18.11.82. ...С Ивановыми поехал в Институт славяноведения, где артист Зайцев поставил спектакль по «Стульям» Ионеско... К Кома перед началом спектакля подошла сотрудница, попросила прочесть ее статью. «Когда вам можно позвонить?» – «Зачем звонить, я сейчас прочту», – сказал он. Статья началась с разбора стихов поэта Целана (они цитировались по-немецки), поэтому он показал мне первую страницу, и дальше я попробовал следить вместе с ним, но прочесть толком даже стихов не успел. Он бегло перелистал страницы и отложил, начался спектакль. Но когда действие кончилось, он вернул подошедшей сотруднице статью и высказал некоторые замечания – оказывается, успел прочесть, перелистывая, и прочесть основательно.

5.1.83. ...Заехал к Ивановым. У Светланы оказался день рождения... Немного поговорили с Комой и с другими.

Я упомянул Шолохова (недавно перечитывал первый том «Тихого Дона»). Кома теперь совершенно убежден, что тут плагиат, и похоже, что Крюков – наиболее подходящая фигура автора «Тихого Дона». Рассказывал много удивительных подробностей, я записал их отдельно. (Шолохов заботился об уничтожении всех свидетельств и возможных живых свидетелей плагиата. После того, как родственники Крюкова в 1934 г. подали на Шолохова жалобу, их всех арестовали. Это объясняет, почему уже в 1934 г. он объявил о завершении 4-й книги «Тихого Дона», но опубликовал ее только в 1940 году – ждал, пока их не станет. И т. п. Страшный человек.) Исследования норвежцев (по поручению шведов) о языке «Тихого Дона», где статистически доказывалось, что это все-таки язык Шолохова, Кома назвал жульничеством.

Я вспоминаю, как год назад он говорил на ту же тему более осторожно. Теперь говорил категорически...

Рассказывал, как был в так называемом «центре речи» – месте, где восстанавливают больных после инсульта (он занимается этой темой). У нас в этом достигли даже больших успехов, чем на Западе. Но существует, оказывается, статистика: по количеству инсультов мы вышли на первое место в мире... И похоже, что причина – не перенапряжение от работы, а социальный стресс; у работающих до старости инсульты более редки, чем у пенсионеров. При этом инсульт сильно помолодел.

23.6.84. ...Вечером решил съездить в Переделкино. У Комы застал Тамаза Гамкрелидзе, его соавтора, заглянувшего по пути в Австрию...

Кома рассказал, что во время Тыняновских чтений в Резекне умерла Лидия Николаевна Тынянова, жена Каверина... Я вспомнил Каверина: он все-таки необычайно работоспособен для своего возраста. «Да, – сказал Кома, – это поколение людей было так воспитано. Пастернак, когда разгорелась вся эта свистопляска с Нобелевской премией, работал ежедневно и за неделю перевел словацкую пьесу. Как-то он сказал мне: не было ни одного дня, когда бы я не работал. Казалось бы: поэт, лирик. Известно, что Пушкин работал каждый день с утра, по 4-5 часов».

Рассказал, что Молотову вручили новый партбилет, с сохранением партийного стажа. Я попробовал сострить: а как же ему теперь платить столько взносов? Оказалось, мой вопрос

был вовсе не из области абсурдного юмора: он все эти годы регулярно откладывал в специальную копилку деньги.

Тамара Владимировна рассказывала, как она хлопотала о восстановлении дома после пожара перед начальником тыла Вооруженных сил В., и тот писал резолюции в ее пользу, но они не исполнялись. Оказывается, он не ставил в конце точку. А там был разработанный код: с точкой – исполнять, без точки – не обращать внимания. Известен такой же прием с использованием разноцветных карандашей.

Рассказывала, как хлопотала перед Баруздиным, чтоб опубликовали поэму Бажана «Дебора», о его первой любви к еврейской девушке, трагически погибшей. Спустя время (подробности опускаю) Баруздин сказал ей: все зависит от того, будет ли переводить Шкляревский. «Причем тут Шкляревский? – удивилась я. – Шкляревский переводит хуже всех. Его мог бы прекрасно перевести Самойлов». – «Разве вы не знаете, что Самойлов еврей?» – «Простите, сказала она, – я не ослышалась? Я правильно вас поняла?» – «Нет, вы не ослышались. Кроме Шкляревского, Бажана переводили одни евреи. Если не будет переводить Шкляревский, поэму не напечатает». «Я в таких случаях могу просто показать на дверь, – сказала Тамара Владимировна. Правда, я не пригласила его даже сесть. (Он пришел к ней.) – Но тут я хлопотала не за себя... Он страшный человек». А мне существенным показалось, что он говорил это, не таясь, зная, что Т.В. не сделает из разговора секрета, что это разойдется. Значит, он сейчас даже не прочь иметь такую репутацию. Мрачные времена...

31.6.84. Позвонил Кома Иванов: ему понравилась моя «Книга о судах и судьях»⁵; справившись, есть ли у меня кандидатская степень, предложил мне на основе этой книжки защититься, предлагал свое содействие. Мне было лестно – но зачем это?

6.11.84. [...] Вечером к Городницкому. Искандер с Тоней, Лукин с семьей, Юлик с Ирой, Кома со Светой, Диков с Олей и неожиданно Игорь Губерман с Тамарой и дочкой. Живет сейчас в Малоярославце, бодр, остроумен (хотя, когда смеется, держится за сердце). Повторял, какое это счастье: сидеть среди

⁵ Сборник фольклорных текстов, который я сделал для заработка, вышел в издательстве «Наука» (Главная редакция восточной литературы).

друзей, ходить по городу. «Стоит посидеть, чтобы это ощутить». Юлик очень в тон его настроению спел «Диссидентскую блатную» и «Лошадь за углом». Фазиль читал стихи и поэму...

Чувство дружеского доброго вечера... Кома (как и я) был один из самых молчаливых за столом, со мной заводил разговор все больше о политике, я привлек к разговору Лукина. Общее впечатление: ждать особенно нечего, хотя какая-то глухая борьба чувствуется... Когда мы сидели в машине (они подвезли меня до метро), Кома сказал: «Вообще уже утомляет затянувшееся гниение власти». Рассказал подробности «захвата» дачи Пастернака, когда массу вещей растащили и попортили. Испортили исторический рояль, на котором играл не только Стасик Нейгауз, но и Рихтер, Юдина в день похорон Пастернака. Как милиционер бил и топтал ногами пластинки Нейгауза, а на вопрос, зачем он это делает, сказал: «А что, они по рублю стоят, в магазине есть лучше диски».

13.2.85. ...Лекция Комы о раннем Пастернаке. Он читал много стихов Пастернака и немного комментировал их. Я впервые слышал, как он его читает (Хлебникова он читал обрывками и по-другому) – это производит впечатление. После каждого чтения он даже слегка задыхался. А в конце прочел одно стихотворение «голосом Пастернака» – действительно, очень похоже на записи, которые я слышал. Это был артистический номер. Основная мысль его лекции: в ранней поэзии Пастернака наиболее полно, органично и непосредственно выразились его представления о природе, человеке, художнике, о призвании искусства выражать «счастье существования». Позднее его стремление к простоте и общепонятности было не таким органичным, он «наступал на горло собственной песне». Это не оценка, а характеристика, поздние стихи могут нравиться не меньше и даже больше ранних, но это результат работы и насилия над своей природой.

Я после лекции спросил его: относил ли он представление, что поэзия должна выражать счастье существования, только к себе? «Как ни странно, нет, – ответил Кома. – Он считал, что это вообще сущность поэзии; «мировая скорбь» Лермонтова (которому посвящена «Сестра моя жизнь») – наносное. Он признавал свою неспособность (или нежелание) писать о страшном – о голоде, например, о Ленинградской блокаде, о трагедии войны и т. п. К концу жизни что-то изменилось.

Сравнивать снежинки с крестами Варфоломеевской ночи можно лишь в сравнительно благополучные времена, когда реальной Варфоломеевской ночи нет. Блок мог писать об Апокалипсисе, пока не было реального Апокалипсиса». Некоторые интересные подробности, например, о том, что Пастернак был довольно близким родственником Гейне.

6.4.86. ...Вечером позвонила Светлана Иванова, я поехал к ним беседовать о своей книге («Линии судьбы, или Сундучок Милашевича»). Оба на удивление абсолютно ее не восприняли (соответственно и не приняли). Не было обещанных мыслей «в обе стороны», только в одну. Кома увидел здесь больше всего демонстрацию разных литературных возможностей – и с этой точки зрения отдал мне должное, даже сказал, что я «завершаю литературу XX века», но не понял главного: зачем все-таки этот прием фантиков, что означает провинция и провинциальная философия. «Мне не хватает еще одной главы, где мне показали бы все происшедшее связно, изнутри главного героя». Многие частные и общие претензии были связаны с реалистичностью обоснований: такова ли роль провинции в нашей истории? (Как будто здесь речь просто о реальной провинции, а не о некоем духовном измерении.) И т. п....

8.4.86. ...Полдня потратил на письмо Кома, которое все-таки решил написать, хотя бы ради ясности отношений. В момент, когда я писал, позвонил сам Кома – дать какую-то справку по хеттским законам, для моего перевода. Очень мило с его стороны. Я ему сказал про письмо, он посоветовал напечатать его в двух экземплярах. «А то почта озорует». Сегодня же и отправил...

30.8.86. Приехали гости... Говорил с Комой о возможности показать Залыгину какую-нибудь из своих рукописей. У всех чувство, что нынешнее оживление может быть краткосрочным, это определяет поведение: кто-то спешит в этот просвет что-то протолкнуть, кто-то надеется пересидеть. Положение противоречивое, реформы наталкиваются на сопротивление, по каждому вопросу в верхах идет борьба. Ходят слухи о возможных переменах, ожидают повышения цен. Чернобыль остался незажившей раной, радиация продолжает выделяться, и никто не может предсказать, что будет дальше. «Все понимают, – сказал Кома, – что, если ничего не предпринять, системе грозит гибель в отдаленном будущем»...

15.4.87. Кома на вечере Голосовкера: «Пастернак говорил: рассуждают, выражал ли великий человек свое время, не выражал ли. А потом эпоху называют его именем». (Он был связан с эпохой через себя.)

20.4.87. Вчерашний разговор по телефону с Комой. Есть новейшие гипотезы физиков, что мир когда-то был (а возможно, остался и до сих пор) более чем 4-мерным. Мы живем, окруженные тeneвым миром, который рядом с нами и объясняет многое таинственное. По разным причинам мы не можем этот мир воспринять. Возможно, в этом тeneвом мире находятся центры всех Галактик. Возможно, мы, живя в этом мире, в другом мире играем совершенно другую роль.

Можно себе представить, что именно с тем миром древние или дикари как-то связывали непонятный факт исчезновения души умершего человека. Она вполне может жить дальше в тeneвом мире и может иметь даже материальное измерение.

Другой круг идей развивает немецкий философ-логик Карл Поппер (живущий в США). С какого-то времени он начал писать о трех мирах:

- 1-й — тот, который мы воспринимаем;
- 2-й — мир знаков (литературных сочинений, картин, научных теорий — материально зафиксированных идей);
- 3-й мир — мир идей, которые не воплотились, но существуют.

Нечто похожее имел в виду Манделъштам: «Быть может, прежде губ уже родился шепот» и т. д.

Мне (сказал Кома) это допущение позволяет объяснить, почему разные ученые одновременно приходят к одной мысли. Мир идей саморазвивается таким образом, что какое-то сочинение или книга почти нависает над нами, несколько людей одновременно могут почувствовать это. Как говорили когда-то: божеству уже понадобилось явиться на земле, и оно воплощается. В платоновском представлении о первичных идеях есть, видимо, своя правда.

(Урывочно стенографировано во время разговора.)

14.4.88. ...Позвонил Ивановым, думал удивить их известием о своей поездке в Германию и спросить, что передать Копелевым. Но они испортили мне все удовольствие, сказав, что сами едут... Возможно, мы скоро встретимся у Левы в Кёльне...

Вечером поехал к ним. Очередной анализ политического состояния. Кома предполагает, что где-то в конце марта уже готовилось снятие Горбачева, на ленинградском ТВ читалась обкомовская лекция о его ошибках, были и другие признаки. Но где-то в первых числах апреля при обсуждении доклада Яковлева (который лег в основу статьи в «Правде») Горбачеву удалось добиться перевеса...

«А как вы себе представляете реальный сценарий катастрофы, в чем она будет проявляться?» – спросил я. «По-моему, она уже происходит, – сказал он. – Мы в нее вползаем медленно, поэтому не замечаем. То, что сейчас происходит – это уже развитие катастрофы». В самом деле, подумал я, это может так незаметно и произойти: все меньше продуктов, все больше карточек, меньше топлива, меньше воды, все грязней воздух, хуже здоровье, медицинское образование, гибель лесов и рек, новый подъем алкоголизма, уже на основе самогонарения. «Значит, по крайней мере детям лучше уехать?» – «Да, я всем советую теперь уезжать»...

21.4.88. Утром на похороны Яглома. Сейчас остро чувствуешь, какой это был добрый, активно-дружеский человек... Перед входом в Академию пед. наук – мы шли с Комой – к нам приблизился человек знакомого вида. В момент, когда Кома нас представил друг другу, я его узнал: Андрей Дмитриевич Сахаров. Пожали друг другу руки. В его простом облике действительно есть значительность и благородство...

8.5.88. Köln. Утром Karl Eimermacher сказал, что позвонил Копелев (я созванивался с ним накануне), решил приехать вместе с Комой, Раей, Светой, взять меня к себе. Долго ждал их, стоя на улице.

Их приезд взволновал немцев, Мерхен приветствовал Копелева как президента. Я сразу стал выглядеть чуть ли не Чингизом Айтматовым. Встреча, разговоры. Кажется, Лева совсем не изменился. Обед, прощание. Решили, что я поеду не с Карлом в Бохум, а с Копелевым в Кельн.

По дороге Лева настоял, чтобы мы зашли в Бад-Мюнстер-айфель, почетным гражданином которого он является. (Он здесь бесплатно живет две недели в Kurhaus.) Его узнавали на улице: «Guten Tag, Herr Kopelew!»...

Оттуда мы поехали в Langenbroich в дом Белля. Нас встретила Анна-Мария Белль, сын Винцент, его жена-эквадор-

ка, приемная дочь, тоже эквадорка. Пейзаж подмосковный, подмосковный неприбранный огород, поля рапса, свеклы, дающие, говорят, хорошие урожаи. Бассейн – единственное отличие от Переделкина. На пустыре поодаль паслись коровы. Белль отдал своих коров в аренду местным крестьянам. Дом каменный, но с террасой. Еще дом над гаражом, где Белль работал. Мы посмотрели его рабочий кабинет. Обошли слевой вокруг участка... Он рассказывал об обстоятельствах смерти Белля: у него отрезали от ноги кусок за куском из-за «болезни курильщика»; а главное – нарастающая депрессия. Однажды он сказал, что не хочет жить... Как местный священник служил по нему службу, хотя епископ запретил: Белль официально вышел из церкви и перестал платить церковный налог. Между тем Кома назвал его самым по-настоящему религиозным человеком, которого он встречал. Белль считал, что все в религии надо начать заново.

Оттуда в Кельн. На балконе, где я сейчас пишу, дрозди (Frau Amsel) высидивают 4 яичка, не страшась людей.

10.5.88. Zug Vochum-Bonn. Вчера 6 часов ходили с Комой Ивановым по кельнским улицам и церквям... Долгий разговор. О религиозном чувстве, Кома: «Я не понимаю людей, которым нужно ходить в церковь, которым нужны какие-то посредники и символы. Для меня религиозное чувство играет слишком большую роль, приходится его даже обуздывать». – «Почему?» – спросил я. «Мешает жить». Я заметил, что во время работы над романом был уверен, что со мной ничего не может случиться. Он: «Ну, это естественно». Упомянул я о своей болезни (пришлось объяснить, почему я предпочитаю ходить с правой стороны: оглох на правое ухо после перенесенного в детстве туберкулезного менингита, который лечили только что изобретенным стрептомицином). Он: «Спорный вопрос, не привела ли борьба с туберкулезом и сифилисом к снижению интеллектуального уровня людей. Известно, что эти болезни очень стимулируют вспышки гения». Помянул Бодлера, Блока (что меня удивило). У него был якобы наследственный сифилис, от отца. Рассказывал мне содержание своего доклада о Ницше: влияние идей Ницше на В. Соловьева, Маяковского (которого очень ценит), Горького...

18.5.88. Köln, Flughafen. Утром разговор с Комой илевой. Заговорили о Вольфганге Казаке [немецкий славист, профес-

сор]: в нем есть что-то безумное и истерическое. Кома сказал, что это объясняется примесью славянской крови. Я спросил: считает ли он внутреннюю предрасположенность к счастью или несчастью (которую можно отметить у немцев или, допустим, у шведов, если судить о них по фильмам Бергмана) биологически, генетически predetermined? «По-видимому да, ответил он. Известно, что финно-угорские народности тяжело реагируют на алкоголь. Не случайно в восточных областях Швеции, ближе к финской границе, т. е. где сильнее финно-угорская примесь, больше самоубийств. В отдельных областях Венгрии, независимо от социально-политических условий, процент самоубийств во все времена был больше. Можно считать, что пассивная философия буддизма не случайно связана с распространением наркотиков и запретом на вино. Последние исследования установили, что человеческий организм под влиянием стресса или напряженной умственной деятельности вырабатывает вещества, как-то соответствующие действию наркотиков». О Гессе, который уникален тем, что сумел вылечиться от наркомании и скорей сам, чем с помощью психоаналитиков... Кома, видимо, всерьез учитывает биологические, генетические, нервно-мозговые основы человеческого существования.

Меня вдохновляет выносливость Комы. Вчера у него давление было 220, и все время оно такое, но он пил с нами вечером вермут, утром выпил две чашки кофе, обещал разбудить, сказав, что мало спит, и действительно, когда я в 7 утра проснулся, он уже лежа читал.

4.7.88. [...] Вечером к Иванову, оставил ему экземпляр своего «Сторожа»... Возможно, завтра я запишу фрагменты разговора отдельно, сейчас устал. (3 часа говорили, много и трудно записывать.)

Из записей. Обсуждали прошедшую партконференцию. Он считает, что Горбачев очень хитрыми ходами укрепил свою власть, хотя большинство на конференции были его противники. Трудно по его высказываниям судить о его способностях, намерениях и т. п., но он явно большой мастер аппаратной интриги... Может, на нынешнем этапе это хорошо, но что будет дальше? Нынешнее положение может продержаться еще год-два, дальше возможна либо военная диктатура, либо демократия. Если будет диктатура, надо отсюда немедленно уезжать...

О современном авангарде (по поводу аукциона живописи в Москве). «Это непонятная мне мода. На Западе они очень популярны, но это очень поверхностно и никуда не ведет». Кстати, о том, что сопровождение живописи графическими надписями – признак шизофренического мышления. «Это вне оценок. В искусстве много от шизофрении».

По поводу культурного развития. Показал мне письмо одного лингвиста-немца из Таганрога. Кома вел с ним речь о возможности переезда в ФРГ. Тот считает, что это было бы предательством по отношению к предкам, которые 200 лет жили в России. Воспоминания о русских людях, которые помогали им в сибирской ссылке. Рассуждения о том, что русская культура оказалась на перекрестке трагедий, это придает ей особую значительность и глубину. Я заметил, что давно об этом думал: дает ли трагическая история духовное обогащение? Когда-то мне казалось, что да. Теперь я склонен думать, что это не так просто, что она ведет и к опустошению, отупению. Кома со мной согласился.

Перескочили на разговор о Пастернаке – проблема счастья у него. Тут Кома наговорил мне много интересного, но тонкостей и поворотов мысли я не могу здесь воспроизвести. Он связывал отношение к счастью с христианством как с религией страдания. К концу у Пастернака усиливалось отношение к жизни как к жертве. Сказал, что хочет издать книгу о Пастернаке, но думает, не издать ли ее сначала за границей. Дело в том, что он хочет рассмотреть там психоаналитические аспекты, а у нас это непросто по отношению к кумирам – считается копанием в личной жизни. «А без этого многого не понять».

Рассказывал о своих занятиях Ницше (в связи с Пастернаком и Рильке). Ницше тоже отталкивался от христианства из-за его культа страдания. Интересно происхождение знаменитой фразы Ницше: Когда идешь к женщине, бери кнут. Как-то они пошли сфотографироваться с Лу Андреас Саломе и Рее – у них были странные отношения втроем. До этого он предложил ей выйти за него замуж – уже на грани болезни, много ее старше. Фотографическая декорация изображала карету. Они с Рее впряглись в постромки, Андреас Саломе взяла кнут. Фраза о женщине и кнуте была переосмыслением этой ситуации: мазохизм и садизм естественно связаны.

Заговорил о недопустимости мазохизма в искусстве – а этим отмечены многие наши творцы. Этому противостоял, по его словам, Пастернак.

(...)

2.10.88. Поехал к Ане Наль на день рождения. Кома Иванов сказал, что ему понравился мой «Сторож», единственный вопрос: не слишком ли я всерьез перевожу платоновскую идею о мыслях, существующих до выражения, в техническую реальность? Я ответил, что для меня это не более чем реализованная метафора. Много разговоров о переменах в руководстве (Натан Эйдельман, Крелин). Общая мысль: это классический переворот, более существенный, чем за все предыдущие несколько лет при Горбачеве, проведенный профессионально и так легко, что удивительно, почему Горбачев не сделал этого раньше...

Я сказал Кома: у меня чувство, что у нас накапливается энергия для какого-то творческого (литературного) взрыва, скачка. У нас есть для этого духовное напряжение, которого, может быть, не хватает более благополучным странам. Нам не хватало культуры, образования, традиции, но сейчас и это, кажется, накопилось; можно ждать результата.

11.6.89. Не работал, читал газеты с пропущенными съездовскими речами... Вечером я говорил о съезде с Комой Ивановым. Он более оптимистичен, во всяком случае, в перспективе, но его поразила малая осведомленность руководства о событиях в той же Фергане. Он дважды разговаривал с Горбачевым – у него создалось именно такое впечатление.

13.6.89. ...Позвонил Кома, позвал к себе, я поехал уже поздно вечером. Он настроен, я бы сказал, деловито... Горбачев, кажется ему, не вполне информирован и не вполне понимает, что происходит. При всем том он великолепный тактик, мастер кратковременных маневров, но долговременные его представления сомнительны. Явно хочет личной власти, ему это нравится... Вчера Кома выступал на митинге в Лужниках, зачитывал какой-то текст Сахарова... Кстати, когда я завел речь о «возможности гения», он сказал: «Но вы же видите, сколько незаурядных молодых депутатов на съезде». – «Но это политики», – сказал я. «Страна нуждается сейчас в политиках».

На тему «уроков счастья»: я упомянул Мандельштама, и он заговорил о том, как рано Мандельштам постарел. Я впервые подумал, что, может быть, это тоже внешний признак:

долгая молодость (Пастернак) или ранняя старость, зависящая не только от здоровья, чисто физического состояния.

23.7.89. ...Днем поехал к Кома и с ним вместе на день рождения покойной Раи Орловой (к дочке Копелева). Поговорил с Комой об Абхазии, куда он ездил по поручению самого Горбачева с попыткой предупредить конфликт. Из этого ничего не получилось, но теперь грузины, бывшие друзья, считают его противником Грузии. Он, например, задал вопрос, почему грузины не считают самостоятельной нацией мингрелов – в языковом отношении они так же отличаются от грузин, как белорусы от русских. Вообще грузины, в том числе серьезные, казалось бы, интеллигенты, заняли истерически-националистическую позицию. Абхазцы тоже по-своему неправы... Правых тут нет. Не случайно Фазиль Искандер уклонился от вмешательства в этот конфликт, и его осыпают упреками с той и с другой стороны. Нормальная ситуация для интеллигента. Ничего хорошего впереди Кома там не предвидит...

27.9.89. Lindau. Приехал поездом в Мюнхен. На вокзале меня встретил К. Любарский и сказал, что через полчаса должны приехать Копелев с Комой и Светой. Мы позвали их вместе с собой на Октябрьский праздник, но подошел господин из Тутцинга и увез их. Кома (и отчасти Копелев) успел за 15 минут рассказать некоторые новости и подробности (блокада азербайджанцами железных дорог в Армению и т. п.)... Кронид мрачен, считает, что катастрофа уже развивается... Кома дал понять, что он смотрит на события не так мрачно, хотя все, конечно, может произойти.

4.11.89. Bochum. ...Вернувшись к Копелеву, застал там Кома со Светланой. Кома оказался наиболее оптимистичным из всех, с кем я беседовал: все идет поразительно быстрыми темпами и в нужном направлении. Возможность правого переворота, диктатуры и т. п. не исключена, но маловероятна, потому что никто не предложит альтернативы, не справится с положением, а только усугубит ситуацию, это скажется и на позиции Запада. Решить проблемы невозможно без помощи Запада, без разоружения. Нужно окончательно остановить военные заводы, распустить большую часть армии и т. п. Без этого ничего не получится...

7.11.89. ...Поехал в Гамбург... На перроне еще из окна сразу «вычислил» Ирину Шмид. Удивительно милая женщина. Она

ждала еще приезда Комы и Светланы, которые попросили разрешения переночевать у них по дороге в аэропорт, откуда летят в Рим... Когда, погуляв, мы вернулись на вокзал, оказалось, что Ивановы ждут нас уже целый час — вышла путаница с часом прибытия. Погуляли по прекрасному ночному Гамбургу... С Комой говорили опять о ситуации в стране. Он повторил свои оптимистические высказывания. Но 7 месяцев в этом году он провел за границей и собирается так же жить дальше.

1.7.90. Вечером позвонила Светлана Иванова, сказала, что по ТВ будет выступать Копелев, а потом он приедет к ним, и пригласила меня. Кроме Копелева, там были артист Смехов с женой, потом приехал писатель Кондратьев... Разговор по-неволе о политике... Кома Западом все меньше восхищен, считает, что им тоже предстоит серьезный кризис, назвал себя сторонником идеи социализма (впрочем, слово можно найти другое), во всяком случае, реальный капитализм — далеко не то, к чему стоило бы стремиться; для культуры он во всяком случае не благотворен...

14.12.90. Делал в библиотеке обзор, оттуда в ЦДРИ на выступление Комы Иванова: «XX век: культурные аналогии»... Удивительно много совпадений с тем, над чем я думаю последнее время... Кома все-таки удивительный ум, он умеет мыслить столетиями и тысячелетиями, а в таком масштабе многое видится по-другому и более точно. Есть теория циклов Кондратьева (очень популярного сейчас на Западе русского экономиста, расстрелянного в 30-е гг.). Если верить ей, мы сейчас находимся в конце катастрофического этапа и на пороге духовного взлета. Еще острее ощутил, как мне стало не хватать собеседников такого уровня. Мимоходом упомянул с ним Мераба Мамардашвили: Кома заметил, что его подкосили грузинские события...

31.8.91. Вечером гости: Кронид с Галей, Ивановы с Копелевым, Городницкие, Эдельманы, Gladkova, Тимачев, Ким, Аля, Мирзы, Зиман. Лукин должен был в 7 вечера прилететь из Казахстана, где неожиданно пришлось улаживать дела, хотел приехать, но, видимо, задержался. Кронид должен был давать интервью Российскому телевидению, но устроил сюрприз, пригласив его к нам. Они снимали тосты, застолье, песенки Кима, наш дом... Кронид говорил о парадоксах истории, когда ему пришлось защищать от демонстрантов здания

ЦК и КГБ. Много говорил в микрофон Копелев, я плохо слышал. Я спросил его: «Похоже это на застолье в Кельне?». Он сказал: «Нет». По-моему, ему было хорошо. Кома рассказывал о своем выступлении на пленуме СП России, где он назвал их фашистами, и о стычке в Верховном Совете с Василием Беловым, который протестовал против попытки опечатать помещение СП России. Кома выступал после него как член правления и назвал (опять) союз фашистским, на что Белов кричал: «Я в суд на вас подам!»... Общая тональность разговора о перспективах тревожная: Ельцин снова делает малосимпатичные заявления, атмосфера накаляется, грозит распад и экономическая катастрофа...

24.9.92. Вчера в «Лит. газете» интервью Комы Иванова о диаспоре: как всегда, парадоксальное, интересное, со спорными для меня суждениями о русском мессианизме и евразийстве, противостоящем Западу. Конечно, речь здесь идет о культуре, не о политике. Заинтересовался упоминанием о романе, который он писал весной. Позвонил — и выяснилось, что они завтра (то есть уже сегодня) уезжают. На сей раз, кажется, ненадолго.
(...)

23.12.92. ...Вечером к Кома Иванову. Разговор между прочим об эмиграции. У него остался неприятный осадок после разговора с Л.К. Чуковской, которая с давних пор категорический противник отъездов. Кома считает, что эмиграция обогащает как отдельного человека, так, в конечном счете, мир и саму страну. Какая разница, где будет работать артист, физик или математик, если в другой стране его талант расцветет лучше прежнего? Мировая культура и мировая наука едины; с тех пор, как Россия стала открыта миру, она может пользоваться достижениями своих, как и чужих ученых или музыкантов независимо от того, где они живут. «Ну, пусть в конце концов теоретическая физика в этой стране погибнет, — сказал Кома, очевидно, откликаясь на какую-то реплику Чуковской, — она продолжится в мире, и мы сможем пользоваться ее достижениями». Наверно, в этом есть своя правда. Если отвлечься от того, что культура, наука, мозги и таланты — это еще и богатство, имеющее денежное выражение. И если отвлечься от чисто личной грусти, что с некоторыми людьми я уже не смогу беседовать в Москве, что некоторых музыкантов тоже не смогу здесь услышать, что мои дети ли-

шены будут желанных учителей, а это значит упадок школ, традиции, преемственности.

25.12.93. [...] В пол 11-го вечера неожиданный звонок Лили Лунгиной: «Мы тут сидим с Комой Ивановым и Гердтами, говорим о вас, все хотят вас видеть, приезжайте». Тут же трубку взял Гердт: «Я только что приехал из Израиля, где говорил о вас с Леной Макаровой, она так хорошо о вас написала. А только что я прочел в «Нов. мире» «Провинциальную философию», это очаровательно. Я знаю, что она написана в 77 году, но это, как старое вино, только становится лучше... Берите левака, мы скинемся, приезжайте». И я, как в молодые годы, взял левака (это стоило 4000) и приехал. Славно посидели, поговорили, потом Гердт отвез Кому и меня домой. Кома говорил о невежестве американских студентов. (История Светланы: американец рассказывает о происхождении слова «эврика»: так воскликнул золотоискатель на Аляске, обнаружив золотую жилу. — А откуда взялось это слово? — Это загадочная история. Есть предположение, что это из языка индейцев. И никак не хотел верить греческой версии, пока не показали Britannica... Американский специалист по (русской) женской литературе. — А в чем особенность женской литературы? — Некоторая напряженность к мужскому миру. — Но и у Достоевского есть такая напряженность. — Мужской литературы я не читаю...) Вертелся на языке вопрос, зачем же Кома иметь с ними дело? (Впрочем, и другой вопрос: если они действительно такие, откуда их достижения, в том числе и в науке, и в культуре? Неужели только за счет эмигрантов?) Я спросил его о впечатлениях в Москве. «Сложные, — сказал Кома. — В университете на объявлении о моих лекциях по буддизму была нарисована свастика и написано английское матерное ругательство. Это вызывает некоторую тревогу»... Потом в машине он говорил о разрыве прежних дружеских связей, о недостатке общения как о симптоме неблагополучия. Я пытался выяснить у Светланы, какое общение у них там, понял, что не особенное... Не всегда удается понять Кому. Но я был искренне рад, что меня вытащили чуть ли не ночью и я поехал, как когда-то, в молодые годы. В артистической компании это обычное дело, но мне с утра хотелось бы продолжить работу...

21.5.94. Neuss. Сегодня утром приехали Копелев с Комой и Светой... За обедом и во время прогулки по острову долгий

разговор с Комой обо всем. Он только что был в Неаполе на месте каких-то раскопок, где усугубилось ощущение густоты европейской истории по сравнению с нашей. Первый российский университет появился в 18 веке, а в Париже он был уже в 12-м. Это отставание невозможно перескочить. Наша революция еще не завершена; сейчас мы приближаемся к чему-то вроде Парижской коммуны, дай Бог, чтоб это обошлось без крови и дальше все успокоилось. К разговору присоединился русский физик (услышал разговор на дорожке); он участвовал в ликвидации Чернобыльской катастрофы и высказал мысль, что страна, которая не умеет построить хорошие ватерклозеты, не вправе заниматься ядерной энергией, даже мирными технологиями. Чтобы научиться культуре, потребуется лет 40, раньше нам нечего ждать. Рассказ Комы о новой «безумной» теории, которую пока никто не хочет принимать: возможно, существуют не 4 измерения, а 10, о 6 мы ничего не знаем. Возможно, в какой-то другой Вселенной еще существуют 19 измерений, но у нас они потеряны. Существует на этот счет математический аппарат. Мы не представляем на самом деле, где мы существуем. Одна из популярных статей на эту тему начинается словами: представьте себе, читатель, что в момент, когда вы читаете эти строки, вы на самом деле находитесь на дне глубокого океана или на вершине горы. Это может ответить и на вопрос о существовании потусторонней жизни и т. д. Кома без конца путешествует, пишет свою автобиографию.

13.9.94. Вечером на свою презентацию в Библиотеку иностранной литературы. Дождь, заторы, грузовик обрызгал с ног до головы: черные брюки и белую рубашку. К счастью, оказалось незаметно. Вечер вел Кома Иванов, выступали Ковальджи, Холмогоров, Латынина, Городницкий, Ким, Графов, Перова, Немзер, очень интересно говорил Кнабе (о том, что у меня соединяется потребность личности в автономности и необходимость общественной структурированности).

(...)

25.2.96. Прочел мемуары В.В. Иванова «Голубой зверь». Я много лет с ним общался (мы можем считать себя друзьями), посещал самые разные его выступления: о поэтах, о хлебниковских «досках судьбы», о концепциях Кондратьева, Чаадаева, об «эдиповском мифе» и пр., читал его книгу о двух мозговых

полушариях, статьи о строительстве каналов... — наверно, перечислять можно столь же бесконечно, как упоминает он сам на десятках страниц. Помнится, как я консультировался у него по телефону о каких-то хеттских высказываниях для своего перевода книги «Женщины Древнего мира». А как мы обсуждали на кухне политические новости!.. Это трудно было соединить в одном лишь своем мозгу. Он, конечно, превосходит всех и знанием языков, и обилием (невероятно быстрого, я бывал свидетелем) чтения, и способностью хранить, сопоставлять все в памяти.

Книга хоть как-то прослеживает, выстраивает, объединяет все это неохватное, не уместившееся даже здесь разнообразие. Смысл такого разнообразия — со множеством поворотов, иногда сюрпризов — он прекрасно формулирует сам в конечных словах. «Неожиданности в жизни несут информацию. И оттого нужны для понимания ее смысла. Для дешифровки».

Мне надо бы как-нибудь написать о нем лично, не просто по поводу книги. Немало штрихов, подробностей на этих страницах я узнаю по собственной памяти, по нашим разговорам. Каждый ли из этих штрихов полноценен, может быть развит? Если позволить себе оговорки, кое-что здесь для меня не убедительно. Например, восторги в адрес концепции Федорова — я-то его с карандашом в руке изучал и могу доказать его недуховность, нерелигиозность, несовместимость с представлениями генетики... Все составляется из множества граней, клеток, facets. Но эти разнообразие, вместительность — настолько грандиозны, масштабны, что поверх любых оговорок, сомнений, частных вызывающих восхищение, чувство масштаба. Во многие строки, эпизоды можно вникать, обогащая свое чувство жизни...

Хорошо бы побольше выписать каких-то частных. Даже на общеполитические темы. Например: «Я всегда был противником русского национализма и шовинизма. Мне кажется, что он прежде всего умаляет величие России, которая больше просто нации. Услужливые медведи вроде Шафаревича изображают нас этакими недотепами, которых легко унижить и обидеть».

Но я слышал от него замечания и другого тона. Между прочим, в свое время он упрекнул меня за стремление оправдать в «Двух Иванах» те пороки русской истории, которые оправдания не заслуживают. (У меня эти слова записаны

точней.) Хотелось бы многое с ним обсудить — но вряд ли это теперь возможно.

Восхищает его активность, любопытство. Помню, как мы пешком обошли с ним все романские соборы Кельна, разговаривая про все на свете. И он в любой стране тянулся ходить, смотреть — при своих больных ногах. Как мало он мог спать, насколько больше и быстрее меня читал, вбирал! А вот как он при столь быстром чтении воспринимал художественную прозу? — не берусь судить. Это особый, превосходящий меня, тип человека.

11.7.96. В «Лит. газете» воспоминания Комы Иванова о Фадееве. Возникает образ вполне откровенного мерзавца, соучастника преступлений, совиновника гибели людей, предателя друзей, посредственного, в конечном счете, писателя, властолюбивого литературного начальника. Но все семейство Ивановых, включая самого Кому, поддерживало с ним соседские, дружеские отношения, собутыльничали, обсуждали возможности публикации, премий. И у самого Комы — странным образом никаких суждений, оговорок насчет этих странных, для меня сомнительных отношений. Я бы никогда не мог — и не могу сейчас — поддерживать некоторые отношения. Возможно, это и не позволило мне много лет присутствовать в реальной литературе. Сам Кома, когда дошло до травли Пастернака, отказался подать руку малозначительному, впрочем, критику — и поплатился за это. Но с Фадеевым? Он во всех отношениях незауряден, но сомнения, критический взгляд на себя только прибавили бы к этой незаурядности...

11.8.96. [...] Поехал в Переделкино — у Светланы была выставка в Доме-музее Чуковского. Пообщался с Комой, пытался вызвать его на разговор о «духовных» проблемах мира, но он откликнулся скорее на политические темы. Трудно понять его нынешнее состояние. Забавно было узнать, что он читает курс сравнительной грамматики единственному аспиранту, записавшемуся у него, представителю секты мормонов, который выучил русский язык во время пребывания в Москве, т. е. ничего не смыслит в филологии. На мой вопрос о культурных впечатлениях вспомнил какой-то конгресс выходцев из Китая, которые сейчас набирают силу в мире.

Потом посидели с музейной компанией (Шилов и др.) в небольшом домике возле музея. Кома упомянул слова Окуд-

жавы, приходившего на выставку: «Здесь хоть увидишься с людьми». Я стал расспрашивать, что это значит: мне казалось, что жизнь в Переделкино – возможность для сплошного, ежедневного общения. Меня заверили, что это давно уже не так. По словам Комы, литературная жизнь подравнивается под западные традиции, где мало общаются. Они не ходят друг к другу вечерами в гости. Странно, если так...

20.3.1997. У Комы Иванова. Он передавал рассказ Е.Я.: на юбилей Горбачева собралось 200 человек, и все это были люди, которые чувствовали себя нереализованными. А почему не реализовались? Когда они-то имели возможности?..

Сам он последнее время разбирал бумаги какого-то алектского деятеля: записки, словарь и пр. Впечатление на него произвел успех биологии: клонирование овцы. Широта его интересов несопоставима с моей.

21.1.99. Интересные ответы Вяч. Вс. Иванова на вопросы «Лит. газеты». Он оценивает общественно-политическую ситуацию в стране – и культурную ситуацию в мире.

«Вопреки всем надругательствам над интеллигенцией (политическим в советское время, экономическим в постсоветское) Россия сохранила духовный заряд, отличающий ее от большинства крупных стран». (Среднего русского не устраивают возможности обогащения или продвижения по службе, которые являются мерилом успеха на Западе, – замечает ранее он, – да эти возможности и не так доступны ему, как на Западе; он думает о достижениях гораздо более абстрактного свойства: стать крупным поэтом, дешифровать неизвестную письменность, решить одну из проблем Гильберта.)

Конец века характеризуется повсюду измельчением и рутинностью мысли, почти полным отсутствием гениальных идей, повторением шаблонов... Необходимые для всего человечества новые прозрения могли бы прийти из России, если этому не воспрепятствует коммунистическая, а точнее – национал-социалистическая реставрация».

Близкие мне мысли. А иногда встречаешь идеи, которые я пробовал выразить совсем другими словами, в образах, более многомерных, чем логические формулировки.

21.8.01. День рождения Комы. Поехал в Переделкино. За столом между нами сидел Сергей Петрович Капица, разговаривали некоторое время втроем. Раньше я старался записывать

такие долгие разговоры, теперь не всегда могу выделить для себя существенное. Ну, скажем, рассказ Комы, как его отец в молодости жил аскетом, выходил ночью в лес, садился на пень, и к нему подходили звери, он чувствовал их. А потом он переспал с женщиной, и звери перестали приходить, может быть, потому, что он стал иначе пахнуть. Возможно, об этом уже написано в каком-то его тексте. Рассказано это было в продолжение фразы: «Рационалисты... вы, Марк, как я понимаю, не рационалист?» — «Нет, — сказал я. — Но и вы тоже». — «Конечно! — воскликнул он. — А у моего отца были просто мистические переживания, он об этом писал». И дальше рассказ о зверях. Ну вот, один эпизод все-таки записал, но все невозможно.

Перед уходом зашел разговор о 10-летию путча. Фазиль воспринимает происходящее мрачно, все разваливается, пресутность. Кома, показалось мне, готов был поддержать Фазиля, но прислушивался. Спорить он не любит.

20.8.02. Вчера позвонила Света Иванова, сказала, чтобы мы посмотрели Кому по ТВ. Жаловалась, что устала в Москве от общения. Как хорошо было в Америке: целый день вдвоем, перемолвемся за день несколькими фразами... Я понял, что не стоит докучать им своим общением.

Вечером, не удержавшись, посмотрел ТВ. Кома выступал в компании с академиком Воробьевым и политологом Карагановым, говорили о развитии России после путча (сегодня годовщина его начала). Воробьев нес откровенную чушь. Какая была раньше литература: Тендряков, Паустовский, гениальный Галич, а теперь! Какое было образование! Умней всех говорил Караганов. Кома был в своем репертуаре: Кондратьев поднял на ноги деревню после революции, диктатура началась после 27-го года, когда установилась личная власть. Надо бы задать уточняющие вопросы...

23.6.03. По ТВ Кома сказал, что занимается спасением человечества. Не решаюсь поставить эти слова в кавычки: не ослышался ли? Он пришел к выводу, что человечество может погибнуть. Входит в какой-то международный клуб, который был назван «мировым правительством». Если бы можно было это с ним обсудить, спросить, кому адресует свои выводы это мировое правительство, какие возможны механизмы, чтобы эти выводы стали общим достоянием? Как это соотносится с вычислениями Хлебникова или Кондратьева?

30.6.03. Вечером поехал в музей Цветаевой на вечер Инны Лиснянской по поводу выхода двух книг, ее и Липкина. Встретился с Леной, она усадила меня в первом ряду, рядом с Комой, мы с ним немного пообщались. Я сказал, что видел его по ТВ и услышал, что он занимается «спасением человечества». Он стал говорить, что на ТВ урезали его слова, он подробней объяснял, что имеется в виду. Из этих подробных объяснений я понял, что некий «клуб» заседал в Словении, был приглашен Гавелом, сейчас получил приглашение от датского правительства. «Вы знаете статистику: сейчас 500 самых богатых людей мира владеют половиной мировых богатств? Это опасно. Бюджет Билла Гейтса равен государственному бюджету США. Впрочем, он, в отличие от других, многим помогает». Задать вопрос не было возможности, начался вечер. Кома ушел до его окончания. Сказал мне, что необычайно занят, пробудет в Москве до середины сентября. Возможно, увидимся.

20.6.06. Вечер Комы в кафе-клубе «Билингва». Он выглядел не столько постаревшим, сколько усталым, каким-то отключенным. Читал стихи, очень хорошо, но я лучше их воспринимал, когда следил за чтением по книжке (она продавалась тут же). В особый раздел собраны были стихи о стране, о России, отчетливей проявился его «разрыв» с ней: «Трагический роман с Россией / Оканчивается разрывом» (1976), почти отвлечение: «Недотыкомка! Недооткрыта...» (1980). Мне вспомнилось, как именно в этом году Кома сказал по поводу моих «Иванов», что я слишком снисходителен к России, к русской истории. Интересно, что вперемешку печатаются стихи разных лет, и между ними нет особой разницы. Между чтением стихов он отвечал на вопросы. Например, на вопрос: «Можете ли вы сказать, какой язык более приспособлен для поэзии?». Я бы, не задумываясь, ответил, что любой язык, родной для поэта. Кома, сказав примерно то же, добавил, что древние, умершие или умирающие языки как будто были созданы для поэзии. (Я подумал: может быть, в самом деле, потому что они не были отягощены и усложнены разработанной логикой.) Или: «Что почувствует человек, когда будет присутствовать при смерти русского языка?». Он выразил надежду, что русский язык сохранится, пока «жив будет хоть один поэт». Я об этом, как ни странно, думал, представлял такую возможность теоретически (останется один мировой язык, допустим, английский), но не

углублялся: это будет не при мне, возможно, и люди тогда будут мыслить по-другому. Говорил о концепции Фоменко (опять доброжелательно), попутно о циклической хронологии Хлебникова, о концепции Кондратьева, но это я давно и не раз слышал. Рассказывал, как выступал перед комиссией американского Конгресса вместе с другими приглашенными, в том числе Нобелевскими лауреатами, высказывался по поводу будущей концепции образования. Я еще раз ощутил, какой это незаурядный, глобально мыслящий человек. В августе я, конечно, ему позвоню, поздравлю с 77-летием. (Подсчитал: мы познакомились, а потом подружились, когда ему было немногим больше 40, как сейчас моему сыну.) Поднес ему подписать купленную книгу, он, улыбнувшись, спросил: «Разве у вас ее еще нет?». Света подарила каталог своей выставки фотографий (очень хороший), надписала: «С огромным стажем любви». Подарила книгу своего сына Лени, вышедшую в издательстве НЛО, он пишет под псевдонимом Д. Смирнов.

Я рад был встрече — и грустил об уходящих еще при жизни отношениях. Кома показался мне грустным, я не могу представить его в американском одиночестве. Наверное, одиночестве.

22.6.06. Время от времени возвращаюсь к книге Комы [...] Среди стихов, действительно мастеровитых, виртуозных рифм, настоящее вдруг коснулось, как ни странно, в верлибре: «Берег моря, дышащий воспоминаниями».

Пытаясь проникнуть в смысл темного для меня стихотворения «Памяти Жанны» («Вокруг Бодлера») перечел у Бодлера «Цикл Жанны Дюваль». Впервые мне, как никогда, открылась пронзительность этого цикла. Стихотворение Комы ясней не стало, но я словно неясно ощутил какую-то «остаточную энтропию», о которой он говорит, ссылаясь на концепцию математика Колмогорова — что-то, что остается в поэзии прямо не выраженным, невыразимым. Это невыразимое показалось мне грустным. В стихотворении, посвященном памяти Бродского («По дороге к небу») говорится, что он «распутством загородиться должен, как щитом», и остается, в сущности, одиноким, закрытым «от тех, кто думал, что понимает Бродского стихи». А он в стихах пытался скрыть «ему доставшийся огромный дар». Чувство, что и Кома, за своими титулами мировых академий (как и за не всегда убедительными стихами), пытается что-то скрыть. Я подумал об этом с нежностью — и грустью,

сознавая, что никогда не смогу у него спросить об этом. И никто не сможет. Сегодня раза три пытался дозвониться ему по московскому телефону — он на даче, а дачный телефон от меня очень плохо слышно.

15.8.06. Для Ивановых это день памяти отца Комы. Поехал в Переделкино. В саду уже начали накрывать стол. До приезда гостей немного поговорил с Комой. Еще раз увидел, как он постарел. Сейчас он пишет статью о Маяковском, считает, что его дореволюционное творчество лучше всего отражает тогдашнее состояние России. Заканчивает воспоминания о Пастернаке. Еще раз подтвердил, что выше всего ценит его ранние стихи.

Я подарил Комере журнал «Лехаим» с воспоминаниями о Копелеве, дал почитать в другом номере стихи. «Почему у вас так мрачно?» — сказал он. Я сказал, что хотел бы посвятить ему одно из стихотворений, например, «Дар», если он не против. Он ответил неопределенно, я понял, что посвящать не буду...

Возвращался я вместе с молодой француженкой, которая занимается творчеством Вс. Иванова и Пильняка, в связи с этим интересуется Дальним Востоком. Рассказывала о своих поездках в Кяхту и Туву. «Там все, как в 19-м веке, убого, мрачно».

23.4.08. Открыл в 4-м номере «Звезды» статью Вяч. Вс. Иванова о творчестве братьев Стругацких. Просматривал вначале бегло, захотел было тотчас написать ему: такими интересными показались некоторые наблюдения, сопоставления, мысли о проблемах современной науки. Но потом стал перечитывать внимательно — появились оговорки, вопросы, сомнения. Действительно несравненная эрудиция (он с удовольствием демонстрирует ее в обильных отступлениях, не всегда относящихся к теме), отчасти пересказ уже знакомого. Он соотносит художественный мир Стругацких с научными концепциями, отдавая дань больше их футурологической прозорливости и сюжетам, чем художественным достоинствам. Приводя отрицательное суждение Набокова о Мальро (банальные обороты речи, стертые метафоры), Иванов (который Мальро ценит) пишет: «Граница проходит между «хорошо» (или даже «блестяще») написанным и содержащим исторически значимые наблюдения и мысли... В конечном счете после всех происходящих и готовящихся мировых катаклизмов будут читать прежде всего писателей с великими сюжетами, а не

просто гениальным описанием деталей (как в русской прозе того же Набокова)».

Тут есть над чем подумать. Вряд ли речь идет только о «гениальном описании деталей». Для меня задача великой литературы — сделать жизнь человека (и мысль) более полноценной, богатой. «Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо» — этому учит поэзия.

Кстати, здесь Кома четко говорит об идее «мирового правительства», про которую я его безуспешно спрашивал и которую он разрабатывает «вместе со многими своими единомышленниками по международной группе «Триглав», участники которой начали работу 14 лет назад как эксперты ООН и продолжают ее в составе негосударственной организации... В условиях глобального и значительно увеличивающегося мирового потепления эта задача — самая неотложная... Речь идет о выживании вида в целом».

(...)

21.8.09. 80-летие Комы. Была мысль поздравить его по электронной почте, но мне передали, что меня ждут. Я поехал в Перedelкино. Несмотря на водяную пыль в воздухе, в саду поставили два шатра, были и открытые столы, и столы в доме. Кома встретил меня приветливо, подарки смотреть не стал, я их передал Светлане, она тоже не взглянула, положила на буфет; другие потом подробно свои подарки демонстрировали. Предложил сесть рядом. Я подсел к С.П. Капице, напомнил ему, как несколько лет назад он рассказывал о своей демографической концепции. Он стал говорить про свои новые идеи. К 2050 году население Земли достигнет 10-11 млрд. и потом стабилизируется... Кома передал чью-то концепцию, что к 2050 г. Европа и Америка перестанут играть нынешнюю роль, лидерами станут Китай, Индия и Россия...

10.3.10. Вчера прочел в журнале «Звезда» окончание воспоминаний Комы о Пастернаке: самые драматические события конца 50-х годов, Нобелевская премия. Производит впечатление уровень отношений, уровень разговора, достоверная, предельно уважительная, но без подобострастия, объективная интонация, множество неизвестных мне замечательных подробностей. Особенно последний, философский разговор, ради которого Пастернак позвал к себе Кому перед смертью. Я скопировал для себя выписки.

«Я попытался рассказать Борису Леонидовичу, как можно подобные совпадения попробовать истолковать в духе теории информации, тогда увлекавшей меня и моих друзей-математиков. Мы тогда ее перетолковывали так. Если у каждого события есть своя мера неожиданности, то чем больше эта мера, тем больше сообщаемая событием информация. Жизнь — поток событий — можно было бы понимать как шифр, который, если уметь его разгадать, сообщает нам очень много, нужно только понять, когда случаются события, несущие наибольшее количество информации (какую-то версию этих мыслей, которых я придерживался и позднее, с моих слов пересказал потом Солженицын в «Теленке», вопреки своим правилам конспирации называя меня по имени в тогдашней нелегальной публикации).

Он говорил о том, что манера письма, которой он вместе с другими писателями, художниками и учеными своего времени следовал, не нацелена на передачу мира или его частей. Они как бы скрыты занавесом. И мы пытаемся передать не предметы как таковые, от нас скрытые, а колыхание этого занавеса. Занавес шевелится, и по его движению мы угадываем, что вызывает это движение. Это и есть особенность науки и искусства (в том числе и литературы) нашего века по сравнению с предшествующими. Вспоминая потом этот разговор с Пастернаком, я думал о том, что этот его образ отчасти напоминает уподобление пещере у Платона: сидящие в пещере видят только тени, отбрасываемые теми предметами, которые движутся за ее пределами».

«Он говорил о том, что ему только недавно стало ясно, насколько то, как он занимается искусством, связано с наукой нашего века... В том последнем большом разговоре он как бы излагал мне свое философское завещание, возвращался к своему давнему интересу к истории науки... Он говорил о бесконечно малых величинах и пределах, об аналогиях знанию нашего времени, которые ему открылись в искусстве. Он сказал: «Я только теперь понял, что я здесь как дома, как в лесу — в науке своего времени»...

Пытаясь позже проявить для себя смысл этого разговора, я перечитывал то, как в «Людах и положениях» Пастернак перелагает оставшееся для него неизменным понимание искусства как «безумия без безумного»... Отвлекаясь от себя как личности, писатель с предельной точностью передает свои

субъективные состояния, свою степень смещения восприятия, становящуюся частью субъективности общеродовой — человеческой. Суть нового антропного принципа в физике состоит в том, что Вселенная неотделима от наблюдателя с самого своего начала — еще до того времени, когда в ней (по словам Священного Писания и современных астрофизиков) после ее возникновения зажегся свет. Этот наблюдатель еще не возник, но Вселенная была устроена так, чтобы сделать возможным его появление. Взаимодействие прибора и предмета, им исследуемого, наблюдателя и наблюдаемого было предметом постоянных раздумий Пастернака. К своей любимой мысли о временности и смертности знака и бессмертии значения он вернулся перед самой своей смертью».

Некоторые из этих суждений напомнили мне разговоры с Комой по поводу «Линий судьбы», над которыми я тогда работал. Сегодня я коротко написал ему об этом.

12.9.10. Выступление Комы в Музее Цветаевой. Он говорил о разных обстоятельствах жизни Цветаевой, основываясь во многом на рассказах своих знакомых. Кое-что я знал (рассказ Липкина о дне, проведенном с Цветаевой). Среди новых для меня эпизодов: Б. Пастернак рассказывал о поездке в Париж на Конгресс антифашистских писателей. Первым человеком, который его встретил на вокзале в Париже, был С. Эфрон, который сразу стал убеждать Пастернака не говорить Марине про Сов. Союз ничего плохого: мы должны туда непременно вернуться. (Известно, что ему во Франции грозил арест за участие в политическом убийстве.) Это по-новому объясняет, почему Пастернак не отговорил ее от возвращения. Эпизод с Тарковским, в которого Цветаева была, очевидно, влюблена: ее последнее предсмертное стихотворение, возможно, было связано с этим, как и стихотворение Тарковского 1941 г., еще при жизни Цветаевой. Кома прочел оба, я их впервые, кажется, слышал и впервые услышал такое толкование. Вообще Кома читал много стихов на память, не заглядывая в бумагу, даже по-французски; память его не перестает изумлять...

25.5.12. Хазанов по моей просьбе развернул свой отзыв о Коме, он опирается не только на журнальное интервью. Стоит процитировать. «Меня [...] увлекла эта тяга к многостороннему, многоязычному знанию, всеядность познания, опирающаяся на почти сверхъестественную память, я бы сказал — тоска по

всеобъемлющему знанию о мире, которая снедала людей 16-го века, искавших всеобщую взаимосвязь вещей, символические соответствия и зеркальные уподобления [...] К этому можно прибавить специфический мировоззренческий детерминизм: всё подчинено определённым закономерностям, будущее предопределено настоящим и содержится в нём [...] Когда я узнаю об интересе Иванова к фантазмагориям Хлебникова, к его таблицам, об астрономической периодичности появления великих людей на земле и т. п., мне чудится дух позднего Средневековья, поэзия и замах этого космизма, очарование причудливой смеси мистики и рационализма, реального знания и фантастических грёз». Пожалуй, он нашел слова, которых мне не хватало.

(...)

16.11.13. Поклонники полузабытого поэта Юрия Кузнецова отмечают 10-летие его смерти. Я вспомнил, как шел с Комой Ивановым и Светой к их дому на Олимпийском проспекте. К нам подошли двое, спросили, не знаем ли мы, в какой квартире живет Юрий Кузнецов. Кома немного удивленно ответил, что не знает. «Жить в одном доме с гением и не знать, где он живет», — сказал один.

Когда оба отошли, Света сказала: «Два гения в одном доме — это немного слишком».

ОБ АВТОРАХ

Михаил БЛЮМЕНКРАНЦ (Харьков, Украина / Мюнхен, Германия) — канд. филол. наук, историк философии и культуры, автор книг «Введение в философию подмены» (1994), «В поисках имени и лица» (2007), «Общество мертвых велосипедистов» (2017), ряда статей по культурологии и литературоведению. Составитель и редактор альманаха «Вторая Навигация».

Адриано ДЕЛЬ АСТА (Милан, Италия) — профессор русской литературы Миланского католического университета Святого Сердца. Автор работ о связях литературы с религиозной, философской и культурной традицией, а также о творчестве В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Ф.М. Достоевского, М.А. Булгакова и А.И. Солженицына.

Римма ЗАПЕСОЦКАЯ (Ст.-Петербург, Россия / Лейпциг, Германия) — литератор, редактор. Автор поэтической книги «Постижение», её стихи, эссе, проза и воспоминания публиковались в журналах «Континент», «Вестник РХД», «Крещатик», альманахе «Христианос» и других изданиях.

Андрей ЗУБОВ (Москва, Россия) — историк, востоковед, религиовед и политолог, доктор исторических наук, автор пяти монографий и около 150 научных и публицистических статей. Редактор трехтомного издания «История России XX век».

Игорь ЕВЛАМПИЕВ (Ст.-Петербург, Россия) — доктор философских наук, преподаватель философского факультета СПбГУ, автор книг «История русской метафизики в XIX—XX веках: русская философия в поисках Абсолюта» (2000), «Философия человека в творчестве Ф. Достоевского» (2012), «Политическая философия Б. Н. Чичерина» (2013) и др.

Владимир КАНТОР (Москва, Россия) — доктор философских наук, ординарный профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ-ВШЭ), заведующий Международной лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога (НИУ-ВШЭ), член Союза российских писателей, член Общественного совета Фонда Достоевского, автор ряда монографий: «Изображая,

понимать, или *Sententia sensa*: философия в литературном тексте» (2017), «Русский европеец как явление культуры (философско-исторический анализ)» (2001), «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. Историсофские очерки» (1997) и др., а также статей по проблемам российского менталитета, философии истории и культуры России; переведён на несколько языков. Премия Генриха Бёлля, премия фонда «Литературная мысль» и др.

Лешек КОЛАКОВСКИЙ (Варшава, Польша/Оксфорд, Великобритания) — философ, историк, теолог, политолог и литературный критик. Старший научный сотрудник в All Souls College в Оксфорде, критик марксизма, автор книги: «Основные направления марксизма». Лауреат ряда премий: Эразмуса (1983), Алексиса де Токвиля (1994) и др.

Юрий КОЛКЕР (Ст.-Петербург, Россия/ Лондон, Великобритания) — поэт, критик. Автор пяти стихотворных сборников. Выпустил в 1983 году в Париже двухтомное комментированное собрание стихов Владислава Ходасевича; несколько книг вышли под его редакцией и в его переводе. Последняя книга стихов, «Ветилуя», вышла в 2000 году в Ст.-Петербурге.

Леонид ЛЮКС (Айхштет, Германия) — профессор, доктор исторических наук, заместитель директора Института по изучению Центральной и Восточной Европы Католического университета в Айхштете (Германия), редактор журнала «Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte». Автор книг и статей по истории России, Польши, Германии, а также по истории коммунистического движения.

Инга МАТВЕЕВА (Ст.-Петербург, Россия) — кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и искусства Российского государственного института сценических искусств.

Зинаида МИРКИНА (Москва, Россия) — поэт, писатель, эссеист, сказочник, лауреат премии норвежской академии Бьорнсона. Автор книг «Святая святых» (1990), «Истина и ее двойники» (1991), «Невидимый собор» (1999), «Мои затишья» (1999), «В тени Вавилонской башни» (2005) и др.

Оксана НАЗАРОВА (Мюнхен, Германия) — философ, кандидат философских наук, докторант Высшей школы философии (Мюнхен, Германия), научный редактор издательства «Идея-Пресс» (Москва, Россия), переводчик философской литературы с немецкого языка. Специалист по истории русской философии и философскому творчеству Семена Людвиговича Франка. Автор книги «Онтологическое обоснование интуитивизма в философии С.Л. Франка» (2003), переводчик книги П. Элена «Семен Л. Франк: философ христианского гуманизма» (2012).

Эмилия ОБУХОВА (Ванкувер, Канада) — канд. филол. наук, литературовед, автор книг «Русская кармическая поэзия», книги переводов с английского стихотворений Larry Smeets «Семнадцать стихотворений» и ряда эссе.

Владимир ПОРУС (Москва, Россия) — доктор филос. наук, профессор, руководитель школы философии факультета гуманитарных наук, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Ханс ОВЕРСЛООТ (Лейден, Нидерланды) — доцент Лейденского университета, доктор философии, специалист в области политологии и политической философии, автор книг «Влияние труда «шабашек» на советскую экономику» (1991), «Реформы через коррупцию» (1997), «Разрушение России. Политическая история от Андропова до Путина» (2016) и ряда статей.

Ольга СЛИВИЦКАЯ (Ст.-Петербург, Россия) — доктор филолог. наук, проф. Санкт-Петербургского университета культуры, автор книг «Об эффекте жизнеподобия «Анны Карениной»» (2004), «Повышенное чувство жизни: мир Ивана Бунина» (2004), «Истина в движении: о человеке в мире Толстого» (2009), «В «сопряжении» с Толстым» (2013) и ряда статей.

Виторио СТРАДА (Венеция, Италия) — профессор Венецианского университета, директор Итальянского института культуры в Москве, автор ряда исследований по истории русской культуры и общественной мысли, составитель и редактор альманаха «Россия», лауреат Премии им. Д.С. Лихачева за заслуги в области сохранения культурного наследия России.

Семен ФРАНК (Москва, Российская империя/ Лондон, Великобритания) — философ, религиозный мыслитель и психолог. Участник сборников «Проблемы идеализма», «Вехи» и «Из глубины». Среди наиболее значительных трудов — «Живое знание» (1923), «Крушение кумиров» (1924), «Смысл жизни» (1926), «Духовные основы общества» (1930), «Непостижимое» (1939) и др.

Борис ХАЗАНОВ (Мюнхен, Германия) — в 1984-92 гг. был редактором и соиздателем зарубежного русского журнала «Страна и мир». Автор романов, рассказов, этюдов, статей; переведён на несколько языков. Премия «Литература в изгнании» города Гейдельберга, несколько премий Интернационального ПЕН-клуба, премия журнала «Октябрь» (Москва).

Марк ХАРИТОНОВ (Москва, Россия) — прозаик, лауреат букеровской премии, член Русского ПЕН-центра. Автор романов «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1992), «Возвращение ниоткуда» (1998), «Стенография конца века: Из дневниковых записей» (2002) и других, рассказов, эссе, воспоминаний. Переведён на несколько языков.

Наукове видання

ДРУГА НАВІГАЦІЯ

Альманах
Випуск 15

Відповідальний за випуск	Г. В. Семьонов
Головний редактор	М. А. Блюменкранц
Заступник редактора	Л. В. Сігал
Коректор російського тексту	Г. В. Семьонов
Художній редактор	Л. В. Сігал
Технічний редактор	Л. А. Рябоконт

Science edition

THE SECOND NAVIGATION

Almanach

Issue 15

Manager	G. Semenov
Editor-in-Chief	M. Blumenkrantz
Deputy-editor	L. Sigal
Layout	L. Sigal
Designed by	L. Riabokon

E-mail: blumenkrantz@gmx.de

Підписано до друку 05.11.2018
Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Кудряшов.
Умов. друк. арк. 17,67. Облік.-вид. арк. 17,66.
Наклад 300 прим. Зам. № КС-08/18

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ»
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35
Свідоцтво Державного комітету телебачення
і радіомовлення України
серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.
ел. пошта: distribution.hr.publisher@gmail.com

Друк: ФОП Капуста С. І.
61168, м. Харків, вул. Героїв Праці, 12-Б, кв. 143

Друга Навігація: Альманах / упоряд. М. А. Блюменкранц. — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2018. — 304 с.

ISBN 978-617-7391-40-0.

П'ятнадцятий випуск альманаху Друга Навігація складається з трьох розділів.

Перший розділ представлений статтями, тематично пов'язаними зі столітнім ювілеєм революції 1917 року. У ньому містяться тексти, присвячені аналізу тих далеких подій, роздуми про психологію революційної свідомості і наслідки революційного вибуху у подальшій долі країни. Серед матеріалів розділу переклад з німецької двох маловідомих статей С. Л. Франка.

У другому розділі зібрані статті та есе літературознавчої та культурологічної тематики.

У третьому — статті і спогади про чудових людей, які зробили значний внесок як у вітчизняну, так і в світову культуру. Ці тексти присвячені пам'яті Г. С. Померанца, Вяч. Вс. Іванова і Вітторіо Стради.

Альманах призначений як для фахівців, так і для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами історії, філософії та культури.

УДК 87.66я24

ВТОРАЯ НАВИГАЦИЯ

Философия. Культурология. Литературоведение

ВЫПУСК 15

- | | |
|-------------------------|--|
| <u>Витторิโอ Страда</u> | Революция продолжительностью в три четверти века |
| <u>Витторิโอ Страда</u> | От мавзолея к музею |
| Леонид Люкс | «Последний революционный романтик»? – Лев Троцкий против Гитлера и Сталина |
| Михаил Блюменкранц | Искушение революцией. Заметки о природе массовых движений |
| Владимир Кантор | Революция, или Безумие в облике истины |
| Оксана Назарова | Предисловие к публикации |
| Семен Франк | Большевизм |
| Семен Франк | «Красная» Россия и «Святая» Русь |
| Лешек Колаковский | Тоталитаризм, или величие лжи |
| Ханс Оверслоот | Государство отступает, возвращается семья |
| Борис Хазанов | Эрнст Юнгер |
| Владимир Порус | Тайна Клим Самгина |
| Инга Матвеева | Лев Толстой и русская революция: современный взгляд |
| Игорь Евлампиев | |
| Ольга Сливцкая | Всеединство как основа близости Бунина и Толстого |
| Эмилия Обухова | «Жить как бегущая вода...» |
| Юрий Колкер | Минимы, или Письмо к философу |
| Михаил Блюменкранц | Памяти друга |
| Адриано Дель Аста | «Жизнь прожить – не поле перейти». Воспоминания о живом человеке |
| Андрей Зубов | Витторิโอ |
| <u>Зинаида Миркина</u> | Жизнь под взглядом |
| Ирина Запесоцкая | Мой учитель жизни Григорий Померанц |
| Марк Харитонов | Годы с Комой Ивановым |

ISBN 617-7391-40-0



9 786177 139140 0